



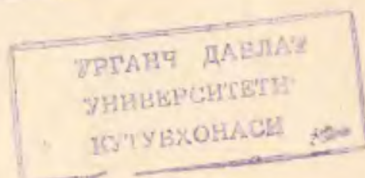
ЭЛЬЗА ТРИОПЕ

# Незванные ГОСПИ

51 - 67 ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ

# НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ

РОМАН



РЯЗАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1960

Печатается по тексту издания

НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ

Издательство иностранной литературы

Москва, 1959

44-631-  
2950

# I

В машине их было четверо: Патрис Граммон вез своего двоюродного брата Дэдэ, Альберто и Сержа в Буазен-ле-Нобль, где у него был домик, недавно полученный в наследство от тетки Марты.

Иль-де-Франс начинал зеленеть. Воздух легкий, едва весомый, как папиросный дымок. Мелькали черепичные и шиферные крыши ферм — неприступных крепостей, стены которых защищали коров да домашнюю птицу. Земля напиталась влагой, набухла и больше уже не принимала воды. Двойные ряды тополей, одетых покамест только в белые шарики омелы, вместо того чтобы обрамлять узкие ручьи, очутились в середине огромного болота. Вода в лужах морщилась от щекотки веселых солнечных лучей. В проломе полуразрушенной стены показался замок, сложенный из розовых кирпичей... Из-за черепичных крыш, как из сборчатых юбок с множеством оборок телесного и оранжевого цвета, вылезла колокольня... А вот прочищенный граблями сад с массой желтых левкоев... И снова поля, мутно-зеленые от весенней воды.

Патрис Граммон уступил руль Альберто, который любил править. Машина мчалась.

— Ты не понимаешь своего счастья,— сказал Альберто.— Родиться и умереть в одном и том же месте.

— Во Втором районе Парижа? Это счастье?

— Там или еще где-нибудь. Но в одном и том же месте. Родиться и умереть в одном и том же месте. Берегись!

Альберто круто затормозил: перед ними в воздухе бешено вертелось колесо велосипеда, как колесо ярмарочной лотереи. Но велосипедист поднялся невредимый. После яростной перебранки Патрис Граммон сел за руль.

— Ты не изменился,— сказал он Альберто,— по-прежнему ведешь машину, как летчик и как испанец. Жизнь мне дорога. К тому же ты не знаешь дороги.

— Я его убью, этого Альберто, — раздался сзади спокойный голос Сержа, — уж который раз он пугает нас на смерть...

Дэдэ, молодой кузен Патриса, тоже Граммон, поносил велосипедиста. Дэдэ знал его, такого-сякого, ездит ночью без света, дождется, что когда-нибудь его задавят, к тому же сейчас он нарочно сунулся под автомобиль. Если бы Альберто не был таким прекрасным водителем, он бы его задавил... Дэдэ хорошо знал жителей этой местности: Вуазен-ле-Нобль был неподалеку.

Вуазен-ле-Нобль расположен на краю босской равнины. В этих плодородных местах не встретишь нищих, оттого что здесь никто никогда не тратился на милостыню. Вуазен-ле-Нобль кормится плодородной равниной Босы, но спиной он прислонился к прибосским рощам, и обитатели его еще не утратили приветливости и доброжелательности. Возможно, потому, что эти качества присущи семье Граммонов, а в Вуазен-ле-Нобле почти все жители носят фамилию Граммон — Граммон с двумя «м», — Граммоны — люди приятные и уживчивые. Вся большая семья Граммонов, как ни странно, производит на свет только мальчиков; о Граммонах можно было бы сказать, что они приносят только мальчиков и никогда — девочек, подобно тому как яблоны приносит яблоки и не может дать груш.

Машина с одним из Граммонов, Патрисом, за рулем, с его кузеном Граммоном — Дэдэ, с Альберто и Сержем проехала через деревню и остановилась у самого последнего домика на краю дороги. Дом — как из мультипликационной картины: белый треугольник между двумя скатами большой черепичной крыши, которые спускались так низко, что скрывались за садовой оградой. На фасаде как раз хватало места для двух окон со свежевыкрашенными в зеленый цвет закрытыми ставнями. «Приехали!» — сказал Патрис и пошел открывать старинные, деревянные, усеянные круглыми шляпками гвоздей ворота шириной почти что с дом. Альберто, Серж и Дэдэ последовали за Патрисом, хозяином дома.

На маленьком дворике как раз хватало места для одного-единственного вишневого дерева и колодца. Вишневое дерево, еще черное, было насквозь пронизано солнцем, стремившимся расположиться на камнях колодца... Дэдэ

Граммон, кузен, направился прямо к окну, выходящему во двор.

— Послушай, Патрис, окно у тебя забухло, наверное, от краски.

Еще с того времени, когда Патрис приезжал сюда на каникулы, он знал, как обращаться с этим окном. У тетки Марты была привычка запирать дверь на ключ, а окно оставлять незапертым. И всегда казалось, что оно разбухло и не открывается, но Патрис знал, как к нему приступить: окно поддалось. Патрис пролез в окно и открыл дверь изнутри. Альберто и Дэдэ вошли в дом; Серж остался во дворе, — замотав шею шарфом, засунув руки в карманы своей канадки, задрав голову к небу, он стоял перед вишней... улыбка бродила по его небритому лицу — весна!

— Серж! — позвал Патрис из двери, — не хочу командовать, но имей в виду: дрова под навесом.

Серж пошел за дровами, Дэдэ качал воду из колодца. Патрис и Альберто разворачивали продукты и накрывали на стол.

После обеда, нагромоздив грязную посуду в каменной раковине, они расположились перед огнем и закурили.

Патрис наблюдал за кофейником, который стоял на теплой плите, — кофе медленно протекало через фильтр, Патрис снял пиджак и остался в черном свитере: широкая грудь, короткие ноги, манера наклонять голову, — понятно, почему мать называла его «мой черный бычок». Ростом он был невелик! Стоя за спиной приятелей, Патрис следил за кофе. Он сказал:

— О чем ты начал тогда, Альберто?.. Когда мы чуть не раздавили велосипедиста... Будто мне повезло, что я родился во Втором районе Парижа?

— И что ты там и умрешь. Я же родился в Толедо, а где умру — неизвестно. А ты можешь надеяться, что умрешь на улице Палестро, там, где и родился.

Альберто говорил с сильным испанским акцентом, хотя без ошибок и даже с некоторым изяществом. Он стремительно встал, длинный и узкий, подобный вынудой из ножен шпаге. Вдруг он горячо заговорил, распаляясь, как сухие сучья, которые только что бросили в камин.

— Я горю, я сгораю,— говорил он.— Что может быть бесполезнее генерала без армии, генерала, потерпевшего поражение? Я не гожусь для терпеливого выжидания и политики. Я не историк, который спокойно отмечает этапы: проигранная война, задущенная революция... этапы?.. Сражения, проигранные на пути к победе?.. Нет, я живу сегодняшним днем и расстояния считаю на километры, а не на световые годы.

Остальные молчали. Патрис поставил кофейник на табурет перед камином и достал из стенного шкафчика оббитые чашки покойной старухи тетки. Серж, откинув на спинку кресла голову с черными штопорами вьющихся волос, отметил с уважением, что кофе превосходен, поставил чашку рядом с собой на табурет и начал тоном вступления к рассказу:

— Я был рядовым бойцом в эспадрильях<sup>1</sup>, а не генералом, но и я знаю, как тяжело быть побежденным. Мы о другом мечтали темными мадридскими ночами. Боже мой! Там мы жили надеждами!

— Сколько понадобилось предателей, чтобы республиканцы были разбиты,— просвистел кузен Дэдэ через свои редкие зубы. (Их было пять братьев, пять белокурых великанов, более или менее беззубых и нисколько не похожих на кузена Патриса, чернявого, с прекрасными зубами...)

— Предатели?..— Серж пожал плечами.— Возможно. В те времена у нас в Интернациональной бригаде мы доверяли друг другу. Мы жили! Мы верили в победу. Предатели... Предателями были вчерашние герои, которые вдруг перестали верить в победу... Прославленные генералы предали Мадрид и Испанию, но мы все еще были там и верили... французы, немцы, англичане, голландцы... мы бились так, как будто дело шло о родной стране каждого из нас...

— Тогда наша родина принадлежала нам!

Альберто сказал это так громко, что спокойный голос Сержа показался теперь шепотом:

— Я хочу рассказать тебе одну вещь, Альберто... Когда я был в Мадриде в начале 1936 года, в «Alianza»<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> На бойцов интербригад не хватало обмундирования; они ходили в «эспадрильях» — род полотняных туфель на веревочной подошве. — *Здесь и далее примечания автора.*

<sup>2</sup> «Alianza» — «Союз» (исп.). Речь идет об объединении испанской интеллигенции.

прибыл грузовик, подаренный французской интеллигенцией; в нем находился ручной типографский станок для печатания фронтовых листовок и киноаппарат. В день передачи грузовика испанцы чествовали тех, кто провожал этот грузовик от Парижа до самого Мадрида. В лице французского писателя приветствовали Францию, в лице немецкого — Германию, приветствовали и шофера, который представлял рабочих Вильжюифа... Чествовали всех. Кроме одной женщины... Она не была «знаменитостью»... она не была из рабочих... и если она и была француженкой, то не по рождению, и имя у нее было не французское. Она говорила по-французски с легким акцентом и никого не «представляла». Она была только сама собой. Она неутомимо стучалась во все двери, помогая собрать средства на покупку грузовика... Она своими руками писала на полотнищах лозунги и нашивала их на его брезентовый верх... Она вынесла опасности и трудности дороги... Но для нее ни у кого не нашлось ни одного слова, и ее никто не чествовал. Можно подумать, что, для того чтобы доблестно защищать чужую родину, нужно прежде всего иметь свою собственную родину, освященную веками... А скажи мне, Альберто, разве эта женщина не рисковала своей шкурой так же, как и все остальные, во имя того же дела? Ведь нельзя отдать больше жизни, а? Родина, да, знаешь, родина... Жизнь можно отдать не только за родину. Доказательство тому мы, все те, кто там был: французы, поляки, немцы, бельгийцы... Мы, французы, хоть и говорили, что защищая Мадрид, защищаем Париж... это было верно... Но все же...

Серж перестал шептать. Он выпрямился и взялся за кофе.

— Конечно,— сказал Альберто,— в общей борьбе против фашизма мы все товарищи, но все-таки человек не может жить вне родины, без нее...

Серж поставил чашку и продолжал своим спокойным, ровным голосом:

— Можно ли отдать больше, чем собственную жизнь?.. А на это тебе возражают: «Да, тебе легко быть героем, не твой дом взорвали». Вы знаете, что именно это и говорили крестьяне южной зоны парижанам, которые там партизанили. Мы имели полное право ответить: «Разумеется, но мы ведь рискуем взорвать также и самих себя, свою драгоценную персону...»

— Человек не может жить без родины,—повторил Альберто.— Он стоял, поставив одну ногу на стул... Он был поистине великолепен.

Серж невесело рассмеялся:

— И между тем ты жив... Так же, как и я. Люди редко умирают или сходят с ума от горя. Мы теряем все, что любим,— родину, жену, ребенка — и продолжаем жить, не сходим с ума, не теряем головы, как говорится.

— Имейте в виду, что это очень хороший коньяк,— вмешался Патрис,— пейте его с благоговением, умоляю вас.— Он наполнил стаканы по кругу.— Это заветное, подспудное вино тети Марты, и не в переносном, а в буквальном смысле: она прятала его за дровами. На днях, когда я разбирался в подвале, я нашел пять бутылок.

— Они у нее от дядюшки Андрэ, из Шаранты,— уточнил Дэдэ.

— Надо тебе сказать, Альберто,— вставил Серж очень серьезно, но в голосе его послышалась скрытая ирония,— что Граммонов можно найти даже в Шаранте. Они покорили Буазен-ле-Нобль и отправились на поиски приключений в самые отдаленные места. Настоящие эмигранты! Представь себе, Альберто, они попали даже в Ланды! Авантюристы, да и только. Выпьем за здоровье отважных искателей приключений, за колонистов, находящихся вдали от родины, в Шаранте. И за здоровье тети Марты. Да будет земля ей пухом. Не обижайся, Патрис!

— Она уже лет десять как выжила из ума,— сказал Патрис и глотнул коньяку,— все были рады, когда она умерла, и она сама в первую очередь.

— Пойдем пройдемся,— предложил Дэдэ,— или я заважусь спать.

Хоть дни и стали длиннее, но двор уже погрузился в тень — солнце перешло на другую сторону дома, туда, где был сад. Сад этот еще походил на пустырь с одной жалкой грядкой, на которой тетка Марта выращивала порей. Несколько замшелых яблонь переплелись голыми ветвями, и только скамейка, прислоненная к стволу одной из них, напоминала о том, что летом здесь бывает прохладная зеленая тень. Но до лета было еще далеко, робкие, косые лучи едва осмеливались пробраться в глубину сада и обласкать расшатанные камни ограды... Дэдэ перелез через высокую стену, словно по лестнице,— не глядя под ноги, становясь на расшатанные камни, как на ступеньки.

— Я ее наизусть знаю, эту стену.

За ним перелезли и остальные. По ту сторону открывался обширный, будто с птичьего полета, пейзаж, чуть закругленный, как гигантский глобус; зелень только начинала проступать, самые первые ее мазки, кое-где проложенные по морщинисто-бурому фону земли. Приятели пересекли узкую вспаханную полосу и вышли на широкую магистраль. Здесь можно было идти рядом, поэтому, естественно, они пошли в ногу и запели: Патрис, Серж и Альберто были вместе в концентрационном лагере. Дэдэ, молодой деревенский кузен, был в их компании приемом.

Когда они вернулись, ночь уже уютно обволакивала домик тетки Марты. Прогулка и свежий воздух пошли им на пользу, они смеялись и пели. Однако в доме было холодно! Патрис принес еще дров, налил своего заветного коньячку, который согревал и слегка бросался в голову... Без лампы, при одном только огне камина, который освещал маленькую комнату и тишину, друзьям было очень хорошо. Они долго сидели молча.

— Ты видел Ольгу, Серж?— голос Патриса прозвучал откуда-то издалека.

— Ольга... Где теперь Ольга? — Казалось, Альберто тоже только что очнулся.

— Я ее видел вчера. Как всегда, в «Терминюсе».

— По-прежнему хороша? — спросил Альберто.

— Царственна. Может быть, как женщина она уже и не та, но по-прежнему — королева.

— Кто это Ольга? — спросил Дэдэ.

— Кто Ольга? — повторил Патрис. — Краткий вопрос. А ответ получился бы длинный.

— Она — видение прошлого, — сказал Альберто, — видение изредка является вам и вновь растворяется...

— Женщина из плоти и крови, и очень несчастная, — сказал Серж. — Не слушай их, Дэдэ. Я ее хорошо знал в прежние времена, на Монпарнасе, когда Монпарнас еще что-то представлял из себя.

— Я знал ее во время оккупации, — сказал Патрис, — и с трудом могу ее себе представить не в героической обстановке. Для меня она сохранила ореол таинственности.

— Расскажите,— попросил Дэдэ, как дети просят о сказке.

— Ты никогда не говорил о твоих встречах с Ольгой, Альберто! — Патрис подвинул к Альберто еще одну бутылку, присланную Граммоном, эмигрировавшим в Шантану.

— Это было, кажется, в тридцать девятом... — зазвучал характерный испанский голос Альберто.

Он рассказывал... О том, как случай, умелый режиссер, заставил их с Ольгой встретиться в вагоне-ресторане, этой своеобразной нейтральной зоне, поскольку эти вагоны называются «международными» и повсюду одинаковы — и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Норвегии. В них только кухня меняется в зависимости от того, какой национальности шеф-повар, да и то еще не доказано, что ростбиф с горошком или жареный цыпленок не одни и те же по всей Европе. Альберто заметил Ольгу за завтраком, она сидела за столиком на четыре персоны, а он за столиком на двоих. Он сразу же пожалел, что не оказался рядом с ней, тем более что она явно была одна и явно не знакома с теми тремя мужчинами, которые сидели за ее столиком: они были поглощены деловым разговором и как бы совсем ее не замечали. Однако в тот момент, когда она сняла перчатки и руки ее появились над столом с голубой посудой, в их разговоре произошла заминка...

— Руки у нее все так же прекрасны, — раздался голос Сержа, утонувшего в темной глубине кресла.

Альберто встал и, расхаживая взад и вперед по комнате, продолжал рассказ.

...Некоторое удивление отмерило паузу в разговоре соседей этой женщины с прекрасными руками. Потом они опять заговорили об Африке, копиях, акциях... Альберто, сидя один за столиком, мог свободно ею любоваться: она сидела со стороны моря, и все, естественно, поворачивали туда голову. Время от времени официанты прерывали нить разговора, который велся за столом Ольги, и один из трех господ даже успел слегка отклониться от темы и заговорил о своем желудке: «Интересно, — сказал он, — почему я страдаю желудком. Ведь я ем в определенные часы, соблюдаю это правило благоговейно и никогда за всю мою жизнь не пропустил ни одного приема пищи!»

Серж и Патрис засмеялись, Дэдэ рассердился:

— Дал бы я ему...

...В этот момент Альберто встретился глазами с женщиной, и она ему улыбнулась, но тут же отвела глаза и стерла со своих губ остатки улыбки, «как будто это было апельсиновое варенье», — сказал Альберто.

— Вот, вот! — подтвердил Патрис, — горько-сладкая улыбка.

...Альберто разглядывал море и женщину одновременно, не рискуя показаться нескромным. Это была не француженка, но, наверное, она жила в Париже... Одна из парижских иностранок, с национальным налетом в одежде, хотя бы самой парижской...

«Да, это верно, — подумал Патрис, — в самых парижских из иностранцев всегда остается что-то экзотичное. Худошавые парижане никогда не бывают такими сухопарыми, как Альберто, они не напоминают Эль-Греко...» Он любовался смуглым, высоким, поджарым Альберто, похожим на сухое зимнее дерево, любовался свободой и непринужденностью его движений, когда он поднимался за спичками, садился, опять вставал...

— Но ты догадался, что Ольга — русская? — спросил Патрис.

— Нет. Я так и не понял, откуда она может быть родом, но я восхищался ее красотой. Необычайные краски, живые, матовые... Что-то от молодой Греты Гарбо. Дэдэ, ты, конечно, не знал Греты Гарбо... Посадка головы, улыбка, плечи, очарование!...

— Невыносимое очарование... — сказал Патрис и, помолчав, добавил: — Невыносимое.

Альберто продолжал рассказ.

...Соседи по столу ни разу не обратились к красавице. Это, несомненно, были какие-то лица, причастные к правительству. Альберто даже показалось, что он узнал одного из них, генерала в штатском, которого он встречал в те времена, когда сам носил форму и был официальным лицом. Все трое, видимо, были в особо важной командировке, иначе они обратили бы внимание на такую красавицу. Возможно, и они сумели угадать в ней иностранку, а иностранка не внушает доверия официальным лицам в особо важной командировке. А для Альберто, как раз наоборот, мысль, что эта женщина, как и он, не у себя дома, была приятна. Он представил себе лицо генерала в штатском, если бы он ему напомнил их прежние встречи, а может быть, тот его прекрасно узнал, хотя на Альберто был

поношенный костюм и он уже не был ни атташе посольства, ни генералом, который... впрочем... его прошлое хорошо известно всем присутствующим... И у него уже не было прежней самоуверенности,— признался Альберто. Женщина поднялась сразу же, как только расплатилась, и с едва заметным кивком в сторону этих господ, которые продолжали разговаривать, не сделав на этот раз паузы, покинула вагон. Альберто вышел вслед, прошел за ней по пятам весь поезд, но она исчезла, растворилась, испарилась... Это было первое явление Ольги.

Альберто замолчал.

— Но вы встретились с ней опять? — спросил Дэдэ, который жаждал продолжения сказки.

Альберто не заставил себя просить, наоборот:

— Да, я ее встретил еще раз... Роман продолжается. Она явилась мне несколько лет спустя... В 1943 году. Меня сбросили с парашютом над каким-то полем. Я хорошо приземлился, ничего себе не повредив. Я отчетливо помню эту ночь и не знаю, почему я помню ее ясней, чем какую-нибудь другую. Пахло водорослями и солью, люди появились тотчас же, как только я оказался на земле, быстро, очень быстро... слишком быстро, как мне показалось. Меня подобрали и молча повели через ватный туман, такой же вязкий и мягкий, как почва под нашими ногами. Мне было страшно. Я не был уверен, что это друзья, мне казалось, что меня поймали. Мы подошли к какому-то дому, меня втокнули в жерло какой-то двери, которая тотчас же захлопнулась за мной. Меня подталкивали, заставляли идти вперед, и во тьме я слышал дыхание, частое, угрожающее... Наконец перед нами открылась дверь, вспыхнул свет, и вдруг все сразу заговорили! Я различал лица, взгляды, мне жали руки, хлопали меня по плечу... Счастье, возбуждение после избегнутой опасности, удача, радость, что врага провели, чувство облегчения! Да, это были друзья! Мы вместе прошли огонь и воду, огонь и воду... Тут я увидел женщину... я ее сразу узнал: это была та самая женщина, которую я встретил в поезде! Она подошла ко мне со стаканом вина в руке. Я был в ее доме!

Дэдэ вздохнул и задвигался на стуле. Он дико завидовал этим трем мужчинам, он завидовал всему — войне, маки и даже концентрационному лагерю!

— Это была она... — продолжал Альберто, — но в то время не полагалось узнавать друг друга. Я поел и,

как животное, заснул в соседней комнате. На заре мне надо было отправляться. Это было второе явление Ольги.

— Но вы уверены, что это была она? — спросил взволнованный Дэдэ.

— Уверен. После освобождения я видел ее фотографии во всех газетах... Я узнал ее имя: Ольга...

Наступило долгое молчание, освещаемое огнем.

— Расскажите еще, — сказал Дэдэ.

Патрис засмеялся.

— Этот младенец еще, пожалуй, влюбится в прекрасную незнакомку. Видите ли, все, что с нами происходит, похоже на нас самих: Альберто романтичен, и что бы с ним ни случилось, всё всегда романтично. И Дэдэ может теперь пасть жертвой этой романтики. Для меня Ольга была Моникой, ее настоящее имя я тоже узнал из газет. Моника была для меня другом, она кормила нас, стирала наши рубашки, полумертвая от усталости приходила в нашу дыру и приносила нам аспирин или фуфайки... Теперь я знаю, что ее зовут Ольгой Геллер, но для меня она осталась Моникой, нашей Моникой... овеванная тайной тех дней, когда не задавали вопросов. И до сих пор я знаю о ней только то, что писали в газетах, когда в 1945 году во дворе Дома Инвалидов ей вручили орден. Но кто она, кто ее друзья, семья, из какой она среды?.. Я ничего о ней не знаю, хотя и встречаю ее иногда, впрочем, очень редко...

Серж зашевелился в кресле:

— В ней нет ничего загадочного... Ты хочешь знать ее родословную? Я могу тебе рассказать об этом, как историк. Во времена, когда перед войной я встретил Ольгу на Монпарнасе, она принадлежала к той среде, которая находится вне какой бы то ни было среды. В эту среду так же трудно попасть, как в Жокей-клуб. Чтобы тебя приняли в нее, надо быть одиноким, жить вне общества, так сказать, вне его пределов, за бортом, не иметь никого, кто мог бы подтвердить твое имя, твое общественное положение... Никого, кто мог бы стать свидетелем в судебном процессе, никаких алиби. Ни отца, ни матери, ни кузенов, ни друзей детства. На Монпарнасе находиться за бортом общества было естественным состоянием. Чтобы тебе стало ясней, Дэдэ, о чем я говорю... там были девушки и юноши из «хороших семейств», люди из народа и княгини, лавочники и крестьяне... Они приезжали из Белоруссии, Чикаго или Мениль-

монтана<sup>1</sup>, из Каракаса и Фуи-ле-Зуа<sup>2</sup>. Из мест столь отдаленных, что судить о том, к какому слою общества принадлежат их сыны, было трудновато. И ты, Патрис, который так любишь «определять» человека, ты не смог бы «определить» происхождение китайца с Монпарнаса — мандарин он или сын кули... у нас очень любят «определять» человека, опрашивать свидетелей его жизни,— во Франции лучше иметь свидетелей обвинения, чем совсем не иметь свидетелей. Имея свидетелей, вы перестаете быть темной личностью... Люди с Монпарнаса образовывали своего рода Иностранный легион, но у них на совести не было другого преступления, кроме того, что они находились вдали от своей родины, родни, порвали со своей средой... Они не были ни изгнанниками, ни эмигрантами, это были паломники, которые приехали в Париж ради отрезка того самого бульвара, где создается живопись. Это были люди, у которых только одна родина — Искусство! Они не могли бы жить в другом месте. Они презирали чужаков, но для них чужаками были не только иностранцы, но и парижане, которые бывали на Монпарнасе в качестве зрителей и разглядывали тамошних завсегдатаев, как дикарей или зверей из Зоопарка... Париж предоставил нам этот уголок... Я говорю вам, потому что я принадлежал к этой среде, хотя занимаюсь музыкой, а не живописью. Париж знал, что делал. Этот город, подобно некоторым артистам, обладает гениальной способностью создавать себе рекламу. Для пополнения своей славы Парижу была необходима также и эксцентричность этих иностранцев, к которым присоединялись и некоторые его блудные сыны. Эта среда, состоявшая из людей, находившихся вне какой бы то ни было среды, была такой же принадлежностью Парижа, как Собор Парижской богородицы и Эйфелева башня. Когда из кучки этих людей фейерверком взвивался гений, то слава его озаряла не какое-нибудь другое, а именно парижское небо.

— Ты забываешь, что для рождения этого гения нужен был Париж,— сказал Патрис.

— Нет, я этого не забываю... Для рождения этого гения нужен был Париж, состав его почвы, Лувр и Пантеон, если тебе угодно. Я хотел только сказать, что Париж посту-

---

<sup>1</sup> Менильмонтан — рабочий район Парижа.

<sup>2</sup> Фуи-ле-Зуа — глухая французская провинция.

пал умно и понимал свою выгоду, а также что в Париже искусство — это родина, ради которой «живут и умирают», как сейчас принято говорить... Жители Монпарнаса, отличительной чертой которых было разнообразие, ибо каждый старался быть единственным в своем роде, составляли тем не менее вполне однородную массу. И если, например, полицейский осмеливался проникнуть в «Ротонд»<sup>1</sup>, все заведомо как один швыряли ему в голову блюда и чашки.

— Но вы ничего не сказали об Ольге, — запротестовал Дэдэ.

— Я ничего не сказал об Ольге? Так ведь я рассказываю все это, чтобы тебе стало ясно, из какой она среды. Чтобы ты мог ее «определить». Ты торчишь здесь со своими коровами и не знаешь даже, что такое Сен-Жермен-де-Пре<sup>2</sup>... А ему куда до Монпарнаса, поверь мне! Полное вырождение: сплошь бездельники и гады. На Монпарнасе работали, а в кафе ходили, потому что жили и работали в мастерской или в гостинице, и кафе после работы было общей гостиной, натопленной — заметьте! Дома-то у нас ведь не всегда бывало тепло... Чашечкой кофе с молоком и рогулькой старались сбить аппетит в компании себе подобных. А Ольга жила и того хуже, даже не в гостинице... Она поселилась в особнячке с другими девушками, все они работали, но остальные принадлежали к вполне «определенному» обществу... благородное происхождение, семья и прочее и прочее. Ольга посещала школу прикладного искусства, потом поступила в рекламную контору... Ее грубо эксплуатировали. Ведь Ольга была человеком незаурядным, а на Монпарнасе такие вещи узнаются сразу. Чертовски талантлива, выдумщица. Девушки, жившие в особнячке вместе с Ольгой, все где-нибудь работали. Хозяйкой этого особнячка была девушка из дворянской и совершенно разорившейся семьи; она кое-как выпутывалась, работая в той же фирме, где и Ольга, и сдавая комнаты... Ольга не общалась с другими жилищами... или они с ней не общались. Каждый вечер она приходила на Монпарнас. В нашей среде ее уважали... Она казалась нам очень добродетельной. Потом она, по-видимому, полюбила кого-то вне нашего круга. И мы ее потеряли из виду.

---

<sup>1</sup> «Ротонд» — кафе на Монпарнасе, где собирались художники.

<sup>2</sup> Сен-Жермен-де-Пре — район Парижа, куда после войны перекочевали с Монпарнаса художники и литераторы.

— Вот видишь, — вставил Дэдэ, — она все же была загадочна...

Все засмеялись.

— Тебе так этого хочется! Она не была обязана представлять на наше одобрение своего любовника. Кстати, может, это был ее муж.

— Муж? — повторил Патрис недоверчиво. — Тогда они жили бы вместе... А ты сказал, что она жила с девицами...

— Послушайте, я не следил за каждым ее шагом. Она была достаточно хороша, чтобы делать все что ей заблагорассудится: взять себе мужа или заставить какого-нибудь мужчину продать душу дьяволу. Во всяком случае, несомненно то, что она годами подыхала с голоду и ни к кому не обращалась за помощью.

— Значит, она все-таки загадочна! — повторил Дэдэ, и опять все засмеялись.

— Мне придется вас выпроводить, — Патрис встал, потягиваясь, — меня вызвали к девяти часам в Кэ<sup>1</sup>, не знаю, что им от меня нужно... Мой отпуск еще не кончился. Надеюсь, что меня не отправят консулом в какую-нибудь Бельгию... Мне хочется поехать в Японию или в Китай. Не затем я закабалился, чтобы сидеть у ворот Парижа.

— Ну вот, я же говорил вам, что все Граммоны авантюристы, исследователи новых земель! Китай! Тогда прими сначала меры, чтобы у нас там было представительство... Когда-нибудь я тебя убью, чтобы научить, как надо жить, — сказал Серж, поднимаясь.

Они допили остатки черного кофе, залили огонь, который зашипел под холодной водой, и выстроились для церемонии отъезда: в лагере и после того, как их освободили, у них вошло в обыкновение перед расставанием или отправляясь на опасное дело, после тяжелого потрясения или после чьей-нибудь смерти, а также в заключение споров и ссор и непременно перед тем, как разойтись, — читать хором хотя бы одну строфу из стихотворения, которое они сделали своим гимном. Они выучили его в лагере. Это был перевод с русского, сделанный сообща двумя заключенными — русским и французом. Француз был поэтом. Оба

---

<sup>1</sup> Кэ-д'Орсей — набережная, где помещается Министерство иностранных дел. Говоря о министерстве, часто ограничиваются названием набережной.

погибли в лагере. Серж записал этот перевод на листке жирной клетчатой бумаги, в которую заворачивали колбасу, украденную на кухне. Это удивительное стихотворение было написано в 1926 году, в нем русский поэт рассказывает, как молодой украинский парень умер в степи за то, чтобы в фантастической стране, по имени «Гренада», крестьянам отдали землю... Каждая строфа заканчивается словами: «Гренада, Гренада, Гренада моя...» И, как это делается с «Марсельезой», Патрис, Альберто и Серж обычно брали из своего гимна всего несколько строк.

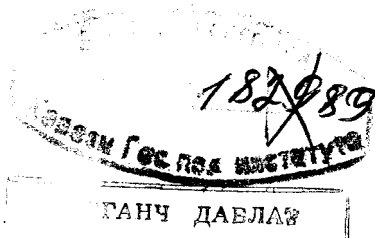
Новые песни  
Придумала жизнь...  
Не надо, ребята,  
О песне тужить.  
Не надо, не надо,  
Не надо, друзья...  
Гренада, Гренада,  
Гренада моя!

Раздался шум отодвигаемых стульев, как будто это расходилась публика, покидая зал после исполнения национального гимна.

В ночном воздухе уже не было ничего весеннего. Серж радовался, что надел канадку. Они забрались в машину, и перед домом Патриса остался один Дэдэ. Он стоял, прислушиваясь к замиравшему шуму, щеки его горели. Потом отяжелевшей, нетвердой походкой двинулся в путь... Идти ему было недалеко, ферма его родителей была в сотне метров от дома тетки Марты. Молчаливый и теплый большой дворовый пес натянул свою цепь, чтобы облизать ему руки. Дэдэ поцеловал пса между ушей. Он был полон смутных порывов и желаний...

Новые песни  
Придумала жизнь...

Он хотел бы скорее услышать их все... И, может быть, еще один Граммон, вместо того чтобы возделывать землю своих предков, готов был бросить родные места ради неизвестной Шаранты.



— Вот видишь,— вставил Дэдэ,— она все же была загадочна...

Все засмеялись.

— Тебе так этого хочется! Она не была обязана представлять на наше одобрение своего любовника. Кстати, может, это был ее муж.

— Муж? — повторил Патрис недоверчиво.— Тогда они жили бы вместе... А ты сказал, что она жила с девицами...

— Послушайте, я не следил за каждым ее шагом. Она была достаточно хороша, чтобы делать все что ей заблагорассудится: взять себе мужа или заставить какого-нибудь мужчину продать душу дьяволу. Во всяком случае, несомненно то, что она годами подыхала с голоду и ни к кому не обращалась за помощью.

— Значит, она все-таки загадочна! — повторил Дэдэ, и опять все засмеялись.

— Мне придется вас выпроводить, — Патрис встал, потягиваясь,— меня вызвали к девяти часам в Кэ<sup>1</sup>, не знаю, что им от меня нужно... Мой отпуск еще не кончился. Надеюсь, что меня не отправят консулом в какую-нибудь Бельгию... Мне хочется поехать в Японию или в Китай. Не затем я закабалился, чтобы сидеть у ворот Парижа.

— Ну вот, я же говорил вам, что все Граммоны авантюристы, исследователи новых земель! Китай! Тогда прими сначала меры, чтобы у нас там было представительство... Когда-нибудь я тебя убью, чтобы научить, как надо жить,— сказал Серж, поднимаясь.

Они допили остатки черного кофе, залили огонь, который зашипел под холодной водой, и выстроились для церемонии отъезда: в лагере и после того, как их освободили, у них вошло в обыкновение перед расставанием или отправляясь на опасное дело, после тяжелого потрясения или после чьей-нибудь смерти, а также в заключение споров и ссор и непременно перед тем, как разойтись,— читать хором хотя бы одну строфу из стихотворения, которое они сделали своим гимном. Они выучили его в лагере. Это был перевод с русского, сделанный сообща двумя заключенными — русским и французом. Француз был поэтом. Оба

---

<sup>1</sup> Кэ-д'Орсей — набережная, где помещается Министерство иностранных дел. Говоря о министерстве, часто ограничиваются названием набережной.

погибли в лагере. Серж записал этот перевод на листке жирной клетчатой бумаги, в которую заворачивали колбасу, украденную на кухне. Это удивительное стихотворение было написано в 1926 году, в нем русский поэт рассказывает, как молодой украинский парень умер в степи за то, чтобы в фантастической стране, по имени «Гренада», крестьянам отдали землю... Каждая строфа заканчивается словами: «Гренада, Гренада, Гренада моя...» И, как это делается с «Марсельезой», Патрис, Альберто и Серж обычно брали из своего гимна всего несколько строк.

Новые песни  
Придумала жизнь...  
Не надо, ребята,  
О песне тужить.  
Не надо, не надо,  
Не надо, друзья...  
Гренада, Гренада,  
Гренада моя!

Раздался шум отодвигаемых стульев, как будто это расходилась публика, покидая зал после исполнения национального гимна.

В ночном воздухе уже не было ничего весеннего. Серж радовался, что надел канадку. Они забрались в машину, и перед домом Патриса остался один Дэдэ. Он стоял, прислушиваясь к замиравшему шуму, щеки его горели. Потом отяжелевшей, нетвердой походкой двинулся в путь... Идти ему было недалеко, ферма его родителей была в сотне метров от дома тетки Марты. Молчаливый и теплый большой дворовый пес натянул свою цепь, чтобы облизать ему руки. Дэдэ поцеловал пса между ушей. Он был полон смутных порывов и желаний...

Новые песни  
Придумала жизнь...

Он хотел бы скорее услышать их все... И, может быть, еще один Граммон, вместо того чтобы возделывать землю своих предков, готов был бросить родные места ради неизвестной Шаранты.

182/89  
ОБЩИН ГОС ПСА ИСТИТУТ

## II

Красавец Карлос, ночной дежурный «Гранд-отеля Терминюс», был не совсем обыкновенным служащим отеля: он не прожил еще и четверти века, знал несколько языков и когда-то учился на факультете точных наук в Филадельфийском университете. Отель предоставлял Карлосу комнату, отопление, освещение и одежду, и Карлос не тужил. Жизнь его текла по точно установленному графику: после ночного дежурства он поднимался в свою маленькую, очень приличную комнату, ложился и спал глубоким сном положенные шесть часов; днем выходил, чтобы поесть и погулять, и, возвратившись домой, брался за учебу. Все, что он зарабатывал — жалованье и чаевые, — уходило на книги, и он жил, погружившись в теоретические расчеты и потрясающие гипотезы. С университетских времен его больше всего привлекало небо, вселенная и ее светила, астральные миры, путешествия на Луну... Теперь он уже не мог наблюдать ночное небо: у него не было ни гигантских университетских телескопов, ни времени — ведь он работал ночью.

Однако ночи, проводимые в «Терминюсе», не были ему в тягость. Ему нравилась тишина большого здания с бесконечными коридорами песочного цвета, с сотнями дверей, за которыми спали умиротворенные люди, к тому же у Карлоса был составлявший ему компанию товарищ, коридорный Фернан, обслуживавший один из этажей. Другие коридорные приходили только к шести часам утра, а Фернан в дни своего дежурства приходил после каких-то собраний, в полночь, и охотно оставался с Карлосом до утра. Ведь Фернана по-настоящему звали Фернандо, и, как вообще многие испанцы, он был полуночник, ел и спать ложился когда придется. А в Карлосе не было ничего испанского, кроме имени, хотя он, по-видимому, родился в Испании. По крайней мере так ему говорили, хотя жизнь, казалось, нарочно заметала за ним все следы.

Позванивая связкой запасных ключей, Карлос обходил по очереди все этажи отеля. Коридоры были длинные, и к концу ночи Карлос, шагая с этажа на этаж, проходил по ним многие километры. Он начинал сверху... На пятом — все спокойно... Карлос спустился по лестнице и прошел до конца по коридору четвертого, по всем его ответвлениям, загибам и сложным переплетениям. Потом повернул обратно и уже подходил к широкой лестничной площадке, когда услышал шум остановившегося лифта... Дверь хлопнула, и навстречу Карлосу вышла женщина в белом вечернем платье... Широкая белая юбка покачивалась вокруг талии, тускло поблескивая в свете ночника. Женщина шла медленно, опустив руки, как будто все люди остались далеко позади и незачем больше с ними считаться, как будто она уже начала раздеваться, волоча за собой меха... Казалось, что платье соскользнет с ее плеч вслед за соболями и на ней останется одно только бриллиантовое кольцо, которое ослепительно сверкало на ее едва прикрытой груди... Карлос прижался к стене, чтобы дать дорогу широкой юбке — всему этому атласу и тюлю. «I beg your pardon»<sup>1</sup>, — пробормотал он. Женщина не повернула головы, только глаза ее, как вращающиеся фары, боком скользнули по Карлосу. «Спокойной ночи», — ответила она. Карлос не отрывал от нее взгляда, пока она не скрылась за поворотом.

Он спустился на третий этаж. Там Фернандо уже расставлял обувь перед дверями.

— Сыграем в белот<sup>2</sup>, Фернандо? — спросил Карлос по привычке.

Фернандо, держа под мышкой башмаки, на подошвах которых были мелом написаны номера, ответил Карлосу, и его испанский акцент звучал настолько карикатурно, будто он говорил так нарочно.

— Сыграем. Хотелось бы знать, где шлялся этот 320-й номер, я потратил четверть часа, чтобы счистить грязь с его мокроступов...

— Ты знаешь женщину, которая только что поднялась на четвертый?

— Да откуда ты свалился? Ты больше года в этом заведении и не знаешь Ольгу Геллер? Она живет здесь с незапамятных времен.

---

<sup>1</sup> Прошу прощения (англ.).

<sup>2</sup> Белот — карточная игра.

— Я никогда не занимаюсь постояльцами, которые спят спокойно,— ответил Карлос,— а эта дама ни разу не шумела по ночам. По-видимому, никто не покушался на ее бриллианты — настоящие или фальшивые. Когда эти дамы и господа встают, я иду спать. Так кто же эта Ольга?.. Я уже забыл, как ее фамилия...

— Ольга Геллер — русская... довольно странная женщина...

Фернандо расставил обувь на своем этаже, и, тихонько разговаривая, они спустились по лестницам и обошли коридоры. Все было спокойно. Дойдя до бельэтажа, Карлос уже знал об Ольге Геллер все, что было известно Фернандо; а Фернандо слышал о ней от Альберто, генерала авиации Альберто, заключенного немцами в концлагерь, героя испанской войны и Сопротивления. Какой человек! Во время войны Ольга прятала у себя Альберто, сброшенного на парашюте во Франции. Мадам Геллер, по-видимому, вела себя героически в годы Сопротивления и после освобождения была награждена орденом Почетного Легиона... Она оказывала немало услуг маки, и, кстати, ей случилось укрыть и английского полковника! Но с тех пор она не совершила ничего такого, чтобы на нее вновь посыпались награды... и это делает ей честь. Но неизвестно, на чьей она стороне... Возможно, она просто ничего не поняла во всей этой истории... или, вернее, вообще в истории... Она уже много лет работает в рекламной конторе и даже стала там директрисой... Она хорошо зарабатывает и спокойно живет в номере 417, том самом, который такой странной формы, что в него не решаются поселять приезжих постояльцев, чтобы их не напугать! Поэтому он и стоит дешевле.

Закончив обход, Карлос и Фернандо спустились на первый этаж, прошли через огромный вестибюль с кожаными креслами и диванами и расположились в закутке, около портье, за доской с ключами. Там уютно мурлыкал газовый камин; весна только началась, и, когда отопление не работало, по ночам в домах бывало холодновато. На столе стоял легкий ужин: колбаса и литр красного вина, которые принес им перед уходом домой Пьер, официант из ресторана. Пьер очень хорошо к ним относился: еда полагалась только Карлосу, Фернандо не имел на нее права, но Пьер знал, когда была очередь Фернандо чистить ботинки, и в эти дни увеличивал порцию, — разрезанная пополам булка,

на каждой половинке по куску колбасы — этого вполне хватало на двоих.

Фернандо не должен был дежурить по ночам, он был обязан приходить только на заре, но, если работа выполнена, дирекция не вмешивалась. И вот Карлос с Фернандо проводили вместе целые ночи вплоть до рассвета.

Этой ночью, как и много раз до того, они сидели вдвоем, а над головой у них, похрапывая, сонно дышал отель. А может быть, это просто попыхивал газ.

— Спокойная ночь, — сказал Фернандо, — и надежный кров над головой!.. Я не понимаю, как может эта женщина, Ольга Геллер, которая пережила оккупацию и видела, что случилось с Освобождением, как она может спокойно сидеть в своем 417-ом, как будто ничего не происходит. Это странно. Уверяю тебя, очень странно.

Так же странно было слушать маленького Фернандо, одетого в полосатый жилет коридорного... он говорил изысканным языком, расцвеченным словечками арга, которые приобретали особую остроту из-за его невероятного акцента.

— На свете гораздо больше людей, которые сидят спокойно, чем людей, которые не хотят сидеть спокойно, — сказал Карлос.

Карлос ел колбасу, густо намазывая ее горчицей, едва отщипывая хлеб. Маленький Фернандо поглощал все подряд, и кадык его ходил взад и вперед на худой шее, как будто он глотал не хлеб, а камни.

— Эта женщина устала, очень устала... — продолжал Карлос, — она не так уж молода, а? И все еще очень хороша. Есть у нее любовники?

— Откуда я могу знать, есть ли любовники у номера 417? Ведь это ты ночной дежурный, а не я.

— Я уже говорил тебе, что интересуюсь только чрезвычайными происшествиями, а когда все тихо, мне что... Если у этой Ольги и есть любовники, они, вероятно, не шумят, приходят до девяти часов вечера и уходят после восьми утра.

Фернандо собрал крошки, высыпал их в рот, потом сказал:

— Что там, за этими дверями, творится! Если бы ты был истым американцем, ты бы стал знаменитым писателем и писал бы потом в своей биографии: переменял не-

сколько профессий, был ночным дежурным в большом парижском отеле... Звонят, Карлос!

Карлос поставил стакан и пошел открывать. Он поднял в лифте двух мужчин в смокингах, от которых разлило вином, прошел впереди них по коридору и открыл дверь их номера. Сто франков на чай. Ладно. Он вернулся в лифт, который оставил открытым, и уже собирался нажать кнопку, чтобы спуститься вниз, когда женский крик штопором пробуравил верхние этажи.. Карлос нажал кнопку. Откуда это? Он остановился на четвертом, быстро пробежал коридор... Здесь царило мертвое спокойствие и тишина... Карлос дошел до конца — около номера 417 открытые тувельки на высоких каблуках стояли в танцевальной позиции. Карлос прислушался — нет, ничего... Он медленно вернулся к лестнице, снова прислушался. Нет, ни вверх, ни вниз — ничего... Везде тишина.

— Что с тобой случилось? — Фернандо уже вытер стол и достал кофейные чашки. — Ты так долго не возвращался, что кофе закипел, досадно...

— Ты не слышал крика?

— Крика? Да что с тобой случилось, Карлос?

— Только не со мной... Кричала какая-то женщина...

— Так пойдем посмотрим!

— Нет, я думаю, что это нас не касается. Если в какой-нибудь комнате окажется труп — дело не мое, я не отвечаю за нравственность жильцов. Но я хотел убедиться, не из комнаты ли мадам Ольги раздался этот крик. Она ведь одна там...

— Смотри-ка, она тебя заинтересовала!

— У нее удивительный взгляд...

— Ты чудака, — заключил Фернандо.

Они молча выпили кофе; стояла та тишина, от которой гудит в ушах. Карлос налил сливовой водки в еще теплые чашки.

— Послушай-ка, старина, мы устраиваем фиесту у одного товарища, испанца, конечно... Будет рис по-валенсийски и гитара. Хочешь, пойдем со мной!

Уже давно Фернандо пытался затащить Карлоса к своим друзьям... Карлос уклонился: фиеста? Нет, ведь, кроме работы и сна, ему хватало времени только на научные занятия, они и были его фиестой. Фернандо смотрел на него с уважением: парню едва исполнилось двадцать лет, а он больше всего на свете любит науку... Карлос внушал ему

уважение, но Фернандо, который был политическим комиссаром во время войны в Испании, не мог понять, как такой человек может стоять в стороне от событий. И не то чтобы ему не хватало жизненного опыта, наоборот, чего только этот ангел не видал на своем веку! Фернандо чувствовал себя старым дураком рядом с этим парнишкой, которому жизненный опыт придавал даже некоторое величие. Для этого юноши мир был судном, которое качает и бросает из стороны в сторону, и он уже научился сохранять равновесие, как моряк, и глаз у него, как у моряка, — острый, пронизательный; он умеет быть всегда настороже — ведь существуют ветры, волны, туман, мины и рифы... Карлос научился плавать, не выходя на поверхность, исчезать, заведя начальство, и снова появляться в удобный момент... Он знал, что такое война и хитросплетение законов и что значит находить себе пропитание. Карлос, такой большой, сильный и красивый, не досадовал на то, что жизнь его проходила в ночных катакомбах старого парижского отеля. Казалось, будто не он охраняет эти невидимые занумерованные существа за одинаковыми дверями, а, наоборот, это его держат здесь в заточении, это его стережет столбчатая гидра... Может быть, он был слишком хорош, слишком драгоценен, чтобы его показывать среди бела дня с открытым лицом? Фернандо был мечтателем, и если когда-нибудь одному из них пришлось бы стать писателем, — а когда человек без конца занимается не своим ремеслом, это может с ним случиться, — то, вероятно, писателем стал бы Фернандо, а не Карлос...

Фернандо снова принялся агитировать за свою фиесту:

— Ты, значит, не хочешь знаться с нами, Карлос! Ведь мы твои товарищи, истинные товарищи... Нужно же все-таки, чтобы ты понял, жертвой чего и кого ты являешься.

— Фернандо, мне некогда.

— Тебе некогда познакомиться со своей родиной или по крайней мере со своими соотечественниками!

Карлос громко расхохотался; смеясь, он раскрывал рот так широко, что видны были не только белые без изъяна зубы, но даже глотка.

— Моя родина? По-твоему, если меня зовут Карлос, я обязан быть испанцем, и не знать истории испанской войны — это все равно, что не знать отца и матери... Но ведь их-то я и не знаю, чужак ты эдакий! Как ты не можешь понять:

я их не знаю. Позади меня только черная бездна! И бывает, что это полное неведение того, что во мне сидит, бесит меня...

— Ты образцовый результат войны... — начал Фернандо.

— Да, — теперь Карлос разговорился, — меня бы на выставку... И наклеить этикетку: «Ребенок, потерянный во время войны в Испании; был помещен в приют, вторично потерян во время бегства из Испании в 1939 году, подобран французскими крестьянами, которые были убиты во время французского бегства 1940 года; еще раз подобран семьей англичан на дороге, около исковерканных трупов своих приемных родителей; отвезен в Англию, где английская семья бесследно исчезла во время бомбардировки; нашел приют в многодетной семье итальянцев, бежавших от Муссолини; затем был передан супружеской паре французов, которые отправлялись в Португалию, а оттуда в Мексику... Взят под опеку американским филантропом, оставшимся для него неведомым... Был отдан в интернат... «блестящие успехи»... Филадельфийский университет, наука. Опять-таки «блестящие успехи». Мне выдали настоящие, добротные американские документы... дали имя. Я мог бы стать вполне правдоподобным американским гражданином... Если бы одна проклятая девчонка не заставила меня наделать глупостей, чертовских глупостей. После этого мне оставалось только пойти добровольцем: меня отправили в Корею... Но есть щели даже в бумажных стенах... И вот я дезертировал! Так я очутился здесь, а ты требуешь, чтобы у меня была родина! Ты меня просто смешишь!

Карлос снова расхохотался, его смех переливался ручьями. Глаза маленького Фернандо обычно были прикрыты короткими жесткими черными ресницами, но, когда он их поднимал, в них сверкал серный пламень Испании...

— Это зависит от тебя... — сказал он. — Биография за биографию. Я ведь тоже «результат войны». Но у меня есть родина. Я знаю, что я испанец. Я знаю, кто мой отец и мать. Знаю, где я родился. И я знаю, что я республиканец, разбитый, несчастный... Я был молод, когда началась война, и единственное, чему я успел научиться, — это воевать! И все же я богаче тебя: у меня прошлое — общее с другими людьми. Я воевал, как и ты, но не в Корее, я воевал на моей испанской земле за свою родину, в окопах и засадах со мной рядом были друзья... Если бы ты

знал тяжесть ответственности политического комиссара, тяжесть ночей... шерстяного одеяла<sup>1</sup> на плечах... В своих собственных рядах приходилось воевать против гололетья, анархии, мародерства; против усталости и отчаянья... И все это перед лицом врага... Можешь ли ты понять, что люди, которые собираются здесь на фиесту, неразрывно спаяны, даже если они и раздрают друг друга на части... Нужно быть с кем-нибудь заодно, Карлос, нехорошо, противоестественно жить оторванно от всех.

Каждая ночь, проведенная с Фернандо, открывала Карлосу что-нибудь новое о том, как движется мир. Они каждый вечер собирались сыграть в белот, но никогда не играли. Фернандо передавал Карлосу все свои знания. Разговор шел о войне в Испании, о ней он рассказывал во всех подробностях, она служила примером — той каплей воды, которая может дать представление об океане. Этот худой, живой, неутомимый, весь собранный человек, чья жизненная сила угадывалась в глазах, этих окнах внутреннего мира, и сейчас продолжал свою работу политического комиссара. В эту ночь он рассказывал о тех, кого одевали, вооружали и вели за собой враги его родины и кто был доволен таким положением вещей. Блокада, оружие, задержанное на французской границе... бомбы над домами, над дорогами и над незащищенными людьми... Голова, разрывающаяся от напряжения, и голые руки...

Глядя на Фернандо и слушая его, Карлос думал, что время не действует как болеутоляющее средство, что ничто со временем не принимает желаемый вид — ни страсти, ни горе... ни «право на жительство иностранца». Вот Фернандо со своими документами эмигранта волей-неволей соглашается на любую работу, жить ведь как-то надо, а профессии у него нет. Карлос тоже докатился до должности ночного дежурного, несмотря на «блестящие успехи» в Филадельфийском университете и знание нескольких языков. Он оказался без документов, с одной только «квитанцией» да апломбом вместо паспорта. У Карлоса не было никакой охоты ходить по коридорам Полицейской префектуры за «удостоверением о праве на жительство» или в Министерство труда за трудовой книжкой. Тем более что он был несовершеннолетним, хотя тщательным обра-

---

<sup>1</sup> У испанцев в народе принято носить на плечах шерстяное одеяло, заменяющее плащ.

зом это скрывал: ему едва исполнилось двадцать лет. Взаимоотношения Карлоса с военной службой были таковы, что он уже больше года жил на неопределенном положении... На что может рассчитывать Фернандо, который говорит по-французски с водевильным акцентом, не владеет никаким ремеслом, не отличается физической силой... Вот оба они и держались за этот отель, где им недоплачивали, но не спрашивали с них других документов, кроме тех, которыми они располагали. Тем не менее у Фернандо вечно были неприятности, он ведь коммунист и партийный работник. Хорошо еще, что его не изгоняют из Франции... Карлос очень любил Фернандо, и ему было больно думать, что у друга опять могут возникнуть неприятности. Как раз об этом и шла речь...

— Уладились твои дела, Фернандо?

— Надеюсь... По правде говоря, мне бы не хотелось угодить ни в «обязательное местожительство»<sup>1</sup>, ни в тюрьму, ни просто в лагерь. У меня не такое уж крепкое здоровье, а я еще хочу увидеть Свободную Испанию! Я столько лет провел в тюрьмах да лагерях, что начинаю уставать... Посчитай-ка, сколько я отсидел во Франции, в Испании, в Германии...

— Нам следует быть сильнее их... — сказал Карлос. Фернандо громко расхохотался в ответ, хотя глаза его не изменили своего обычного страдальческого выражения.

— Браво,— закричал он,— bravo! Вот как человек становится революционером: нам следует быть сильнее их! Пойдем на фиесту, Карлос! Пойдем с нами. Научись понимать слово «мы»!.. Пойми, что значит «родина».

— Ш-ш,— произнес Карлос.— Не шуми так и не говори мне о родине... Это глупо по отношению ко мне. У меня нет родины... В мире и так довольно вещей, которые можно любить, чтобы не заботиться о том, по какой земле ходишь. Что мне земля? Я люблю звезды, небо, неведомые миры, физику. Я люблю философское превосходство математики, ее неоспоримую истину. Стоит соврать, допустить малейшее отклонение от истины — и ошибка скажется тысячу раз... Как если бы ты случайно принял не то лекарство: организм тотчас же запротестует. Вот что я люблю... Если бы я только мог работать в лаборатории, в обсерватории,

---

<sup>1</sup> Удостоверение об «обязательном местожительстве» предписывает жить безвыездно в определенном месте.

если бы у меня было то, что мне необходимо, если бы все не оставалось только отвлеченными выкладками на бумаге, ни опровергнутыми, ни подтвержденными...

Когда Карлос говорил о невозможности продолжать свои научные занятия, Фернандо глубоко страдал. Величие Фернандо было в этой его способности страдать за других. Он хотел помочь Карлосу так страстно и отчаянно, с такой силой, с какой можно желать избавить от боли своего ребенка, прегнать смерть от изголовьья любимого... Фернандо приводила в восторг необычайная воля Карлоса, его способность продолжать занятия наукой с таким упорством, но это же разрывало ему сердце: что ждет Карлоса в будущем? Время учебы уходит, годы идут...

— А женщины? — вдруг спросил Фернандо.

Карлос опять расхохотался во все горло:

— Что, женщины? На улице их полным-полно. Почему ты меня спрашиваешь о женщинах?

— Потому что ты красив и одинок... Это ненормально. Ты бы мог жениться на девушке, которая дала бы тебе возможность спокойно заниматься наукой.

— То есть ты советуешь мне стать сутенером во имя науки?

Фернандо запротестовал... Вдруг Карлосу встретится богатая девушка, и они друг друга полюбят? Пусть Карлос посмотрит на себя в зеркало... Фернандо представлял его себе то в американской военной форме — туго подпоясанным, с выпяченным задом и стянутыми бедрами, в блузе с напуском... то в узких, в обтяжку, штанах, которые из хаки превращались в черные, с шарфом, туго накрученным вокруг бедер, в белой блузе под болеро, а вместо пилотки — черное сверкающее канотье. Карлос плясал, Карлос, в расшитом золотом камзоле, дразнил быка...

А Карлос, в жилете с блестящими пуговицами, на которых можно было прочесть название отеля, в тапочках, чтобы легче было скользить по коридорам, допивал сливовую водку.

— Мне не хватает книг, — сказал он, — мне надо найти способ доставать книги. Существует Национальная библиотека, я ходил туда, разузнавал... Нужен пропуск, всякие формальности... Я никого не знаю, ну никого, просто удивительно... Ты представляешь себе: «Профессия — ночной дежурный!» Я найду какой-нибудь способ, я всегда рано или поздно нахожу способ. Но сейчас я теряю время.

Мне нужно кое-что проверить, я не могу продолжать без этого. Звонят!

Он пошел открывать. Изнемогающая от усталости парочка возвращалась из ночного ресторана. Лифт. Коридор. Дверь. Скажи пожалуйста — пятьсот монет! Должно быть, они здорово устали.

— Я думаю о двух вещах,— сказал Фернандо, когда Карлос вернулся.— Во-первых, Альберто, генерал Альберто, «нежелательный» во Франции и все прочее, знает кучу народа... Я устрою тебе читательский билет в Национальную библиотеку. Я уже говорил о тебе с Альберто... Во-вторых, на первом этаже, в среднем трехкомнатном номере, живет один норвежский ученый. Что, если тебе поговорить с ним? Он здесь две недели, и у него перебивала чуть не вся Академия и Коллеж де Франс. У него хорошая морда. Скорее похож на морского капитана, чем на ученого.

— Как же это сделать,— сказал Карлос,— под каким предлогом...

— Я тебя научу... Он просыпается рано утром, около шести часов, и ему сразу хочется есть... Поэтому с вечера оставляют на этаже завтрак, который надо только разогреть... Вчера я его относил. Там все приготовлено... Отнеси сегодня вместо меня?

— Тогда я побреюсь...

Карлос достал электрическую бритву. Фернандо вымыл чашки и стаканы и поставил их в стеной шкафчик.

— Пойду открою входную дверь,— сказал Карлос, погладив свои выбритые щеки,— пусть стоит открытой к скорому, который приходит в семь пятнадцать, а я тем временем займусь стариком...

— Стариком? Ему нет и сорока!

— Ну, тем лучше... А вдруг он меня выгонит? Вдруг он меня пошлет подальше? Вдруг он пожалуется в дирекцию? Атомные ученые — люди недоверчивые... Вдруг он примет меня за шпиона? Представляешь, жирные заголовки в газетах! За меня ведь некому поручиться. Меня никто не знает, а вся моя жизнь так неправдоподобна...

Фернандо никогда еще не видел Карлоса в таком волнении. По правде говоря, Карлос не столько боялся, что его примут за атомного шпиона, сколько того, что из-за недоверия норвежский ученый не захочет помочь ему продолжать его научные изыскания.

— Послушай,— сказал Фернандо,— может быть, в этот раз и не выйдет, но ты пробьешься, я уверен... Это видно по твоему лицу...

Фернандо говорил правду, он был уверен, что Карлос пробьется. Может быть, страдальческие глаза Фернандо обладали способностью угадывать будущее по лицам друзей. Его погоня за всеобщим благом была столь напряженной, что он провидел будущее там, где другие видели всего лишь гладкое лицо красивого парня. Разве случай, великий вершитель судеб, не похож на нас, как две капли воды? Одного взгляда на лицо человека должно быть достаточно, чтобы определить его судьбу, угадать его биографию. Но алфавит человеческого лица, рук, волос, походки, голоса зашифрован, и поэтому мы называем случаем логическое и естественное развитие биографии.

Для Фернандо во всем существе Карлоса, завязшего в роскошном отеле на берегу Сены, были только благотворные силы. Он хотел помочь этим силам, хотел помочь Карлосу дать им ход.

Карлос и Фернандо пересекли уснувший вестибюль, куда не проникал еще ни шум, ни свет. Карлос прошел вглубь и стал раздвигать занавеси. Фернандо делал то же самое с другой стороны двери... Окна появлялись одно за другим, высокие, как витражи в соборе, но туманно-серые, непроницаемые. У дверей Карлос и Фернандо снова встретились. Карлос повернул ключ и вышел на набережную Сены. Ночь кончалась. Город отбрасывал одеяло тьмы, уже можно было угадать очертания зданий, слышались первые звуки пробуждения — поскрипывание, кашель, шаги, шум колес... Огни погасли. Вот оно — утро! Стоя на пороге своего ночного владения, Карлос потянулся, несколько раз глубоко вздохнул и вернулся в вестибюль. Фернандо там уже не было. Наверное, он пошел разогреть завтрак старому ученому, который был молод, подходил на капитана корабля и должен был заняться судьбой Карлоса.

### III

Маленький домик в колыбели Граммонов Вуазен-ле-Нобле, полученный Патрисом в наследство от тетки Марты, не выходил у него из головы. Когда он был мальчиком, он всегда проводил там каникулы, но теперь дом принадлежал ему — это было совсем другое дело.

Патрис поступил в Консульский отдел потому, что ему хотелось поездить по белу свету. А между тем больше всего на свете он любил Иль-де-Франс. Одно это название для него было песней, историей, жизнью. Пейзаж Иль-де-Франса был для Патриса единственным настоящим пейзажем, всякий другой по цвету, контуру и силуэту казался ему картинкой на холсте или бумаге. Скажем, Прованс. Патрис любил Прованс, но его красота в состоянии непрерывного пароксизма заставляла без конца любоваться собой, занимала целиком ваше время и внимание, была назойлива, как чересчур крепкие духи. Когда Патрис выезжал из Парижа на своей маленькой серой машине, каких тысячи на дорогах Франции, то стоило ему увидеть первые пригородные сады, маленькие домики и длинные каменные ограды, за которыми стоят полуразвалившиеся прекрасные особняки прежних времен, построенные еще тогда, когда предместье было настоящей деревней, с лесистыми холмами и полями... стоило ему снова увидеть это небо, эти тополя и платаны — и он начинал мурлыкать, как кот в облюбованном им старом кресле. Патрис чувствовал, что растворяется в этом пейзаже, как капля дождя, возвращающаяся в землю. Он уже сейчас, при жизни, ощущал неразрывную связь с этой землей, которой в один прекрасный день его предадут навеки.

Патрис был способен остановить машину у самого обыкновенного сеновала и погрузиться в созерцание чешуек дырявой крыши... Тут были разнообразнейшие оттенки

черепицы, то под слоем зеленого сочного мха, то лишь тронутой его голубовато-серым кружевом, сквозь которое просвечивали желтый и коричневый цвета обожженной глины... Гигантские тополя, изъеденные омелой, возвышались над крышей сеновала, как колокольня над церковью. Поль Элюар утверждал, что омела — признак здоровья дерева! Патрис улыбался при мысли о Поле, он знал его в Америке, где занимал в Мехико небольшую консульскую должность. Поль был очень болен... Патрис отрывался наконец от созерцания крыши, Поль ускользал из его мыслей, он включал мотор и, напевая, ехал дальше.

Холмистые, округлые вересковые пустоши были еще коричневато-серыми, и можно было подумать, что находишься в горах, вдали от всего и от всех. А через сто метров появлялась деревня, обжитая парижанами, — с белыми заборчиками, плющом на старых камнях, занавесочками, окошечками. Вот мэрия, памятник погибшим... Дальше — уже не так привольно: здесь — большие именья, деньги, традиции, здесь охотятся с гончими, по краю дороги на целые километры тянутся надписи «частное владение», до самого конца лесного участка, где снова появляются поля и вогнутое у горизонта небо.

И, наконец, маленький городок, столица Вуазен-ле-Нобля. Настоящая маленькая столица, где все еще ведутся работы по восстановлению разрушений 1944 года... Здесь — средневековые серые дома и новые яично-белые постройки, которые показывают размеры бедствия. Большие дома с широкими оконными проемами — стиль реконструкции 50-х годов — обрамляют главную улицу. Кондитерские, парикмахерские, сияющие витрины, бензиновые колонки, которые похожи на живопись Фернана Леже, как раньше, не так давно, живопись Леже была похожа на бензиновые колонки. Прекрасный готический собор задущен свежей белизной маленьких и больших домов с вывесками агентств по продаже недвижимого имущества, мясных лавок, торговли зерном, упаковкой и канцелярскими товарами... В крупнейшем агентстве по продаже недвижимого имущества работает самый красивый из Граммонов, удачнейший представитель их рода...

Да, это настоящая маленькая столица, со своими тайнами в глубине лабиринта старых узеньких улиц и модными кафе, где стоят столики из пластмассы «формика», диванчики из винила, а на стойке — никелированные аппараты,

сделанные по моделям последней выставки хозяйственного оборудования; главная улица узка для потока машин, с двух сторон вливающегося в город по центральной магистрали; от грохота автомобилей улица содрогается, как легкий временный мост. Они ревут, фыркают и чуть не сталкиваются в ее узком коридоре, а спокойный городок занимается своими делами, не оглядываясь на то, что с ревом и грохотом его пересекает...

Патрис сворачивает с центральной магистрали, огибаёт площадь и выезжает на прекрасную дорогу, которая ведет в Ваузен-ле-Нобль, к домику тетки Марты.

Все Граммоны из поколения в поколение были земледельцами или учителями. И женились тоже только на девушках из семей земледельцев или учителей. Один Патрис, проучившись два года в Нормальной школе<sup>1</sup>, сбежал в Южную Америку на маленькую консульскую должность. Стать преподавателем после стольких лет лишений для его родителей и смертельной скуки для него самого... Нет, Патрис хотел повидать белый свет, поездить, выбрать себе по вкусу один пейзаж, потом другой — и на земле и в литературе; выбрать девушку, сад, изведать весь неисчерпаемый мир. И вернуться в Ваузен-ле-Нобль, к себе, в дом, ставший теперь его собственным. Он вернется с другого конца света, чтобы увидеть, как луч солнца ложится на колодец во дворе, он наверное знает, что увидит его, он заранее знает, где окажется этот луч в определенный час дня и как солнце, передвигаясь, перейдет из двора в сад и осветит стену. Ему хотелось увидеть чужое солнце на небоскребах Нью-Йорка и Москвы, в Тибете и на Эльбрусе, на швейцарских и канадских пастбищах... и вернуться в Ваузен-ле-Нобль к своему давнишнему другу-солнцу, отдыхающему на колодце во дворе. Когда Патриса приняли в состав консульских служащих, он добился, чтобы его послали как можно дальше, а добиваться он умел — он был умен и ловок. Истый французский мелкий буржуа, который мало что получил от семьи, разве вот роскошное имя — Патрис! Патрис Граммон — с двумя «м» и без дворянского «де». Хорошая французская фамилия, которая если не помогала, то

---

<sup>1</sup> Нормальная школа — учебное заведение, которое готовит педагогов и дает соответствующее звание.

и не мешала ему получать чины, назначения на государственные посты и в случае чего попасть на мемориальную доску жертв войны в своей деревне. «Фамилия играет большую роль в жизни,— говорил Серж, ероша свои черные, штопором выющиеся кудри,— во Франции не любят окончаний «ов», «ский», «о» и «ян»... Поверь мне, ты счастливчик! Хотя твое счастье естественно». В общем счастье, какому завидовал Альберто,— родиться и умереть в одном и том же месте!

Едва только Патрис отправился на Восток, как война заставила его вернуться во Францию. После войны, в горячке Освобождения, Патрису, отбывшему заключение в немецком лагере, не могли отказать в назначении, которого он добивался. Он сразу же получил повышение, а так как он был человеком добросовестным, аккуратным и не боялся канцелярщины, то быстро поднялся по административной лестнице. После долгого пребывания в Рио, где он был вице-консулом, Патрис находился сейчас в отпуске, и поскольку в Китай, по крайней мере в настоящее время, попасть было невозможно, то, вернувшись в Париж, он закинул удочку насчет Японии. Он должен был получить повышение, место консула...

Патрис остановил машину перед милыми его сердцу старыми воротами.

— Мосье Патрис,— крикнула ему г-жа Пато, показавшись в окне дома напротив,— я вынесла матрац во двор. Он проветривается, для гигиены.

— Спасибо, мадам Пато.

Г-же Пато до всего было дело. Она помогла тетке Марте отойти к праотцам, а теперь, когда тетки уже не стало, проветривала ее матрац.

Патрис толкнул ворота. С прошлого раза трава зазеленела. От удовольствия он замер. Вишневое дерево... камни колодца... и солнечный луч, не опоздавший на свиданье. Патрис был прост и естествен со всеми, кроме самого себя. С самим собой он кокетничал: например, непритворное удовольствие, которое он испытывал при виде освещенных солнцем камней, удваивалось от сознания, что он способен столь тонко чувствовать. Он был как бы свидетелем своей собственной непосредственности и любовался ею, чтобы не сказать, что он любовался самим собой. Он обласкал двор долгим, пристальным взглядом своих небольших черных глаз. «Мой черный бычок...» — говорила его мать, настолько

же светловолосая, насколько чернявы были ее сын и муж. Когда Патрис стоял в своем маленьком дворике, слегка опустив голову на широкую грудь, крепко поставив короткие ноги, он, больше чем когда-либо, напоминал бычка, выпущенного на арену и застывшего на месте, прежде чем броситься вперед. Женщины, с которыми Патрис имел дело, хорошо знали его долгий, пристальный взгляд, который побеждал их без труда.

Патрис любил женщин так же, как чужеземные страны. Он любил любить и любил себя самого, когда любил. У него были романы, но его никогда не оставляло чувство самосохранения, в этом бычке было также нечто от тореадора. Он выскальзывал из женских рук, как мыло в воде. Возможно, Патрис просто походил на многих средних французов, какие существуют и по сей день,— он позволит себе полюбить по-настоящему только тогда, когда решит жениться и когда сможет, как ему казалось, отдаться чувству, ничем не рискуя. И, может быть, именно это противоречие между кажущейся самозабвенной увлеченностью с его стороны и невозможностью для женщины им завладеть делало его таким привлекательным и обеспечивало ему легкий успех у женщин, любви которых было трудно добиться. Других он не признавал.

Все еще преисполненный радости жизни, Патрис через окно впрыгнул в дом. Он ехал к приятелю, который жил в десяти километрах от Буазена. Только ради удовольствия заглянуть к тете Марте, в ее, в свой, домик он принял это приглашение. Патрис поднялся на чердак, спустился в подвал, открыл и вновь закрыл ставни, потом погляделся в зеркало над каменной раковиной и провел мокрой гребенкой по своим блестящим черным волосам, после чего у него сразу стал аккуратный и свежий вид. Несмотря на то, что ему было уже около сорока, Патрис нашел в себе сходство с веселыми, улыбающимися молодыми людьми, которых изображают на рекламах холодильников или непромокаемых плащей...

Патрис катил, напевая:

Не надо, не надо,  
Не надо, друзья...  
Гренада, Гренада,  
Гренада моя...

Патрис ехал к своему приятелю Дювернуа, который был безызвестным писателем, ставшим летчиком, или знаме-

нитым летчиком, ставшим писателем. Патрис встретился с ним во времена Сопrotивления, они принадлежали к одному сектору. В тот день, когда Патрис попался, он был с Дювернуа, но летчик умудрился бежать, проявив невероятную смелость. Во время войны и Сопrotивления он заслужил славу национального героя.

Патрис повернулся спиной к Босе. Лес нашептывал ему шелестящие сказки, но он не хотел их слушать, он опаздывал... Замок, в котором жил Дювернуа, находился у опушки леса, за рощицей. Заброшенный, облупившийся замок... Розовые замки в стиле Людовика XIII нехороши в запустении, запустение идет только благородному серому камню. Грустно было смотреть на замок со шлейфом из неподвижных деревенских домиков. В пятидесяти километрах от Парижа вы вдруг оказывались в местности, как бы забытой в складке земли... Патрис проехал вдоль стены, обогнул ее, и перед ним вырос главный фасад; все ставни были закрыты, замок возвышался над террасами, которые спускались к воде дерновыми площадками, превратившимися в заросли чертополоха. Кругом все было неподвижно. Этот замок всегда казался Патрису волшебным, как бы застывшим во сне. Когда-то он любил приходить сюда и подолгу сидел в липовой аллее — таких гигантских лип Патрис нигде никогда не видел; аллея окружала замок параллельно его крепостной стене. И вот в этом замке, который всегда был необитаем, поселился его приятель Дювернуа. Владетельцы замка были родственниками Дювернуа. Они говорили, что слишком стары и не могут заниматься восстановлением замка, а молодое поколение предпочитало южные владения и позабыло о необитаемом замке. Но Дювернуа не смущало царившее там разорение, он мог обходиться без воды и не боялся сквозняков; ему нравился пол из вытертых плит и каминь из резного камня, в которых можно было уместиться стоя и жечь деревья целиком, он предпочитал все это современным удобствам заново оборудованных ферм с их пластмассой и мазутным отоплением. Дювернуа подвизался в области самого фантастического изобретения человечества — авиации, но он ненавидел прогресс в виде стандартных сборных деревенских домиков, железобетона и крошечных прямоугольных садигов под Версаль.

Патрис оставил машину у решетки и пошел через парк. Нигде никого не было видно. Левое крыло, сказал ему Дювернуа по телефону. Патрис поднялся к левому крылу

и вошел в одну из многочисленных дверей, которые, по видимому, никогда не запирались. Он очутился в огромной кухне, темной и холодной, под железным колпаком — громадная плита, величиной с две двуспальные кровати. Он пошел наудачу по коридору, через какие-то проходные чуланы и неожиданно в большом зале с деревянными панелями, кое-где еще хранившими следы позолоты, увидел голого до пояса Дювернуа, который упражнялся с боксерским мячом.

— Сейчас... сейчас приду, — крикнул ему Дювернуа, — пройдите, пожалуйста, туда...

Патрис вошел в соседнюю комнату. Комната большая, беспорядок... кровать, чертежный стол, вокруг музейного, столика, инкрустированного слоновой костью, несколько провалившихся кресел в стиле Людовика XVI, обитых ветхим шелком в лохмотьях... Высокие окна без занавесей выходили на окруженный деревьями луг, на котором мирно паслись две лошади. Вошел Дювернуа. На нем были фланелевые штаны, лыжная фуфайка с закатанным воротником... Этот лысый черт Дювернуа был неподражаемо элегантен, весь вытянутый в длину — ноги, руки, лицо, морщины, зубы. Он был небрит, и синева покрывала его продолговатые щеки.

— Работаете? — спросил Патрис, пожимая ему руку.

— Вы же видели!.. Нет, без шуток, сижу над одной мелочью. Небольшое приспособление для самолета.

Он показал на чертежный стол. Слегка удивленный, Патрис промолчал. Он приехал, чтобы поговорить с Дювернуа относительно его романа, и Дювернуа это знал... Теперь он вдруг делает вид, что не понимает, — может быть, роман не получается? Но ведь еще совсем недавно Дювернуа пригласил Патриса к обеду для разговора о романе и чтобы получить от него некоторые сведения, нужные ему для этого романа. Роман об изгнанниках, оторванных по той или иной причине от родной земли... Дювернуа полагал, что Патрис, который работал в различных консульствах, мог бы ему рассказать о людях, с которыми он там имел дело... Ведь за границей консульство — до некоторой степени родина? Возможно... Но Патрису трудно было представить себе консульство с этой точки зрения... Для лирических излияний место неподходящее... и родина-мать там не протягивает вам свои нежные руки! Руки у консульства административные, то есть недоверчивые и жесткие; когда они тебя обнимают, то это скорее для того, чтобы схватить,

чем приласкать! Дювернуа настаивал: ведь есть же фактическая сторона — интересные случаи, любопытные биографии... Нет, Патрис не находил решительно ничего, что могло бы помочь романисту... Но позднее, когда он вспомнил об этом разговоре, ему пришли в голову кое-какие соображения, и поскольку Дювернуа ему позвонил... Поэтому-то он и приехал.

Но они говорили о том, о сем, и, казалось, Дювернуа совсем позабыл, зачем Патрис у него, и не упоминал о своем романе. Патрис же не хотел быть нескромным, он терпеть не мог нескромных людей, и поэтому ждал, чтобы Дювернуа сам заговорил на эту тему. Одной из причин замкнутости Патриса с женщинами была их нескромность. Под предлогом любви они всегда выпытывают у вас всю подноготную. В такие минуты Патрис становился далеким, таинственным и непроницаемым, как стена. Как будто в нем крылись бездонные глубины. А глубин никаких не было. Просто он хотел поставить на место каждого и каждую, кто пытался проникнуть глубже поверхности. Поэтому Патрис вполне сочувствовал Дювернуа, когда тот вдруг становился холоден и неприступен, не допуская интимных вопросов. Наконец Патрис рискнул:

— У меня есть для вас кое-какой материал, может быть, интересный...

— Пожалуйста... — Дювернуа откинулся в кресле и, почти в горизонтальном положении, опустив подбородок на грудь, глядел на Патриса снизу вверх.

— Ну вот, — сказал Патрис, ободрившись, — вы знаете Сержа Кремена, вы встретили его как-то со мной во «Флор»<sup>1</sup>...

— Высокий грустный парень с черной гривой?

— Он самый... Он родился в Париже, но его родители эмигранты. Отец был русским революционером. Он бежал из Сибири в 1907 году. Был убит в 1915 году во французской армии... Серж занимается политикой, социальными проблемами... Коммунист. Я вам, наверное, рассказывал, что мы были вместе в концлагере, в Маутхаузене. Это замечательнейший человек. Он меня всячески кроет за то, что я живу как слепой и глухой.

— И вы действительно слепы и глухи?

---

<sup>1</sup> «Флор» — известное кафе на Сен-Жермен-де-Пре.

Патрис улыбнулся:

— Не думаю... Но для того, чтобы заставить меня принять в чем-нибудь участие, для того, чтобы я стал на чью-то сторону, мне нужно нечто столь же грубое, отчетливо видимое и неоспоримое, как присутствие врага на французской земле. Перемены министерств меня не волнуют, и я не полезу в драку «за» или «против» Пино, или Мендес-Франса, или Мориса Тореза.

— А между тем я видел вашу подпись под призывом против войны во Вьетнаме...

Патрис почувствовал, что краснеет. Не потому, что он подписался под призывом, а из-за этого слова: подпись. Не хотел ли Дювернуа сказать, что имя Патрис Граммон ничего никому не говорит и что его подпись вдвойне бесполезна? Не то чтобы Патрис страдал из-за неизвестности своего имени — ему это и в голову не приходило, но он спорил с Сержем об эффективности подписей вообще. Серж не сомневался в их пользе, считая, что коллективные подписи играют роль и что, между прочим, они заставляют самих подписавшихся выяснять свои отношения с собственной совестью. Он категорически отрицал, что инициаторы пытаются скомпрометировать тех, кто подписался, и отрезать им политически пути к отступлению... «Зачем нам, — внушал Серж, — согласно твоему подлячему выражению, «компрометировать» людей? — Серж очень любил слово «подлячий», которое сам изобрел, а Патрис неизменно говорил ему: «Нет такого слова — «подлячий». — Согласно твоему подлячему выражению, — невозмутимо продолжал Серж, — «скомпрометированные» люди уже не могут принести нам никакой пользы. В такого рода кампаниях мы любим иметь дело с достойными реакционерами, которые себя зарекомендовали как таковые. Если уж и они начинают волноваться, все видят, что это дело не доходное», — заключал он.

— Я согласен, что моя подпись ничего не стоит, — сказал Патрис.

— Я совсем не это имел в виду, — Дювернуа встал, чтобы достать со шкафа бутылку джина и два стакана. — Мне приходится ставить бутылки повыше, чтобы моя достойная прислуга не осушила их в рекордный срок. А шкаф для нее слишком высок, и тут нет ничего, на что она могла бы взобраться... Я не жалею спиртного, но мне не хотелось бы, чтобы ее хватил удар, пока она натирает у меня пол.

Это вызвало бы толки в нашей деревне!.. Нет, я не то хотел сказать... Я сам — достойный реакционер, с точки зрения коммунистов... И я тоже подписался вместе с ними против войны в Индокитае, хотя пиастры меня несколько не интересуют. Я подписался также за освобождение Анри Мартена, — мне надоело превосходство этого унтер-офицера, против которого мы были бессильны, пока он героически торчал в тюрьме. Такова же была позиция Жильбера Сезброна<sup>1</sup>... Я, видите ли, против системы, которая способствует фабрикации героев. Из-за нацистов у нас чуть не восторжествовал коммунизм... Встречающий противодействие фанатизм создает героев, которые с радостью дают себя истязать. Но вы хотели рассказать мне о другом...

Казалось, Дювернуа во что бы то ни стало хотел избежать слова «роман». И Патрис вдруг разозлился на этого самоуверенного господина, который сидел развалившись, вытянув у него под носом свои аристократические ноги. Он почувствовал желание перейти в наступление и поддразнить Дювернуа. Глядя на него, Патрис думал о Серже, своем истинном друге. Да, напрасно он считал раньше, что их дружба неестественна, как дружба выросших вместе собаки и кошки: такие друзья — явление противоестественное, подобная дружба не предусмотрена природой. Случайная дружба людей, сведенных случаем — в школе, на даче, а также и в лагере, даже в лагере... По выходе оттуда с течением времени начинаешь отдавать себе отчет, что дружба возникла не по свободному выбору, а по стечению обстоятельств. Да, именно так говорил себе Патрис время от времени, когда Серж становился слишком настойчив со своим коммунизмом. Но, несмотря ни на что, вот уже больше восьми лет они трое — Альберто, Серж и Патрис — были тесно связаны друг с другом, хотя и встретились в лагере совершенно случайно и дружба их была вызвана стечением обстоятельств.

— Да, — сказал Патрис, — я хотел рассказать вам всем о другом... Я начал говорить о Серже, потому что в прошлую нашу встречу вы говорили о романе... Вы попросили меня подумать о людях, которые могли бы вам пригодиться. И вот... я надеюсь, что я не нескромен... я подумал о Серже. По происхождению он русский еврей. Лично я люблю евреев. Всегда говорят только о явных

---

<sup>1</sup> Жильбер Сезброн — известный французский писатель.

недостатках этой национальности, но никто еще ничего не сказал об ее удивительных душевных качествах — сердечности, самоотверженности, жертвенности...

— Это сделаю я,— ответил Дювернуа.— Очень скоро. Возьмите хотя бы эту историю в Москве, когда врачей обвинили в убийстве их великих людей, когда их называли «убийцами в белых халатах»... Среди них было много евреев. Антисемитизм, средневековые в самой «прогрессивной» в мире стране! Меня это восхищает.

— Вас это восхищает? — Патрис поглядел на Дювернуа с любопытством.— Их выпустили. Меня как раз восхищает то, что их выпустили. Но, признаюсь, я окончательно сбит с толку! Кто их осудил? Кто их спас? После смерти Сталина там все стало еще более непонятно.

— Во всяком случае, они как будто не собираются очень долго носить траур по гениальному отцу народов...

Наступило молчание. Патрис смотрел в окно на пологий склон луга, где призрачные лошади растворялись в сгущавшихся сумерках. Они держались бок о бок — голова одной на шее у другой.

— Небо приближается,— сказал Патрис,— оно спускается к нам...

Снова наступило молчание. Может быть, они ждали, чтобы небо приблизилось к ним.

— Вы говорили о вашем друге Серже...

— Да,— Патрис все еще смотрел в окно.— У Сержа есть русские друзья. Русские или только родом из России. Семейные связи. И потом, до войны, он бывал на Монпарнасе, где встречаются самые различные люди... и русские эмигранты тоже. Между прочим, Серж хорошо знал некоего Сашу Розенцвейга, сына врача из Киева. Мать Сержа была очень близка с семьей Розенцвейгов, и, когда Серж был ребенком, он часто играл с Сашей и его сестрой. Оба мальчика поступили в один и тот же лицей, и там произошла странная вещь — Саша Розенцвейг, несомненный еврей, вступил в «Аксьон Франсез»!<sup>1</sup> Надо послушать, как Серж об этом рассказывает! Мальчики дрались чуть ли не насмерть. Саша перешел в другой лицей. А потом наступила война, и родители Розенцвейга были отравлены газом в немецком лагере... Когда мой Серж вышел из лагеря, он познакомился в своей ячейке с одним ученым,— по-види-

---

<sup>1</sup> «Аксьон Франсез» — партия монархистов.

мому, очень крупным ученым, который оказался мужем оставшейся в живых дочери Розенцвейгов. Чем же занимался во время оккупации ее брат... Сашу арестовали, как и всех, но его очень быстро выпустили, и как он выпутался — покрыто мраком неизвестности. Теперь он журналист, халтурщик, светский хроникер и пьяница... К тому же игрок... Он живет у сестры в комнате для прислуги на шестом этаже. Но Серж, который время от времени навещает семью сестры Саши, никогда его там не встречает. У сестры есть дети, которые, по-видимому, обожают Сержа. Должен вам сказать, что Сержа все обожают. И вот... Я подумал, что Саша мог бы вас заинтересовать.

— Действительно, — задумчиво сказал Дювернуа, внимательно слушавший Патриса, — странная история... «Королевский молодчик»! Но... что бы вы там ни говорили, Граммон, вы все-таки интересуетесь коммунизмом?

Патрис почувствовал, как его охватывает все возрастающее раздражение: Дювернуа нарочно заговорил о другом, чтобы поставить его на свое место.

— Да, коммунизм меня интересует. Хотя теперь куда меньше, чем по выходе из лагеря.

— Да... Я понимаю. После Освобождения мы все размякли от счастья, мы были изнурены и преисполнены нежности. Не правда ли? Мы любили наших ближних, у нас было невероятно много друзей. Тогда и у нас могла быть «испанская грусть», как у паренька из вашей песни.

— Вы еще не забыли? — Патрис рассказал когда-то Дювернуа о стихотворении, ставшем их гимном; это было в начале Освобождения, может быть, сразу же по возвращении из лагеря. Несмотря на небрежную манеру и отсутствующий вид, Дювернуа, оказывается, ничего не пропустил. Он, наверное, все записывал в писательскую «записную книжку».

— Да, я помню, — сказал Дювернуа, — вы рассказали мне об этом в те времена, когда мы любили наших братьев коммунистов и, несмотря на смертельную усталость, жили надеждами.

— Это не совсем так, — Патрис чувствовал, как в нем растет озлобление против Дювернуа, — люди не созданы для того, чтобы прожить всю жизнь, уцепившись за определенный клочок земли, как дерево... я хочу сказать — те, кого обуревают желание узнать другие страны, другие

пейзажи, другие языки... другие нравы... те верят также, что люди не созданы для того, чтобы жить всегда так, как живем мы в нашей старой Европе. Я любопытен, и я оптимист. Поэтому я и интересуюсь коммунизмом.

— Как дилетант... Вы говорите языком путешественника прошлой эпохи, эпохи дилижансов. Я уверен, что, если бы вы женились, вы были бы одним из тех мужей-атеистов, которые обожают, когда их жены ходят в церковь.

Издевается он над ним, что ли?

— Нет,— сказал Патрис,— хотя бы потому, что я никогда не женюсь.

Он не будет откровенно говорить с человеком, который явно над ним издевается.

— Значит, вы никого не любите? — спросил Дювернуа серьезно.

— Насколько мне известно, нет.

— Не знаю, должен ли я назвать вас счастливым или несчастным! Что касается меня, я люблю.

Дювернуа встал, подошел к окну и, повернувшись спиной к Патрису, прислонился лбом к стеклу, за которым уже наступила темнота.

— Где бы я ни был, в небе, или в этом запущенном замке, или с женщинами на другом конце света... Я люблю.

«Уж не сон ли это»,— подумал Патрис... Казалось, что спина и голос принадлежали не Дювернуа, а совсем другому человеку, и человек этот говорил:

— Я так несчастен, что готов пустить себе пулю в лоб, и в то же время счастлив, как ни один человек на земле. Знаете ли вы, почему я здесь, почему я живу в этом запущении? Я жду. Ее нет в Париже. Что можно делать в Париже, когда ее там нет? Зачем Париж и все, кто в нем живет, когда ее там нет!

Патрис молчал. Как странно... Вдруг открыть сокровенные тайны своей жизни совсем чужому человеку. Патрис почувствовал, что смягчается. Значит, любовь так же неотвратима, как смерть? Неужели подобное может наступить и его? Патрису не хотелось этому верить, как не хочется верить, что когда-нибудь наступит смерть. Станный человек Дювернуа... Может быть, на него подействовал джин. Что он говорит?

— ...другие находят, что она уже не молода, что в ее красоте есть что-то неестественное, пугающее. Но для меня — достаточно звука ее голоса, и я покорен... Перед

ней у меня нет ни гордости, ни самолюбия. Мы подходим друг другу так же мало, как китайская пагода к этому лугу... А между тем это длится, длится уже пятнадцать лет, и я все еще не получил отпущения, и нет мне помилования, и отбываемое мной наказание не будет заменено смертной казнью...

Патрис, невидимый в наступившей темноте, думал о том, что мадам Х..., его связь с которой длилась уже шесть месяцев, очаровательная женщина и что ему будет приятно ее увидеть завтра вечером... Они пообедают вместе, потом пойдут к ней. Он подумал, что бросит ее так же безболезненно, как во время путешествия комнату в гостинице...

— ...из-за нее и для нее,— говорил голос Дювернуа,— я хочу написать эту книгу: она — не француженка. Она не изгнанница и не «перемещенное лицо», просто женщина, которая не рождена для того, чтобы прилипнуть к земле, как дерево...

Дювернуа обернулся, наткнулся в темноте на стул.

— Я держу вас в темноте, простите меня! — Он повернул выключатель, и хрустальная люстра загорелась под потолком, свет едва проходил сквозь пыльные подвески и слабо освещал большую комнату. — Надо вам сказать, Граммон, что эта болезнь у меня хроническая, так и живу... — Он наполнил стакан Патриса и снова, вытянув ноги, запрокинув голову, с отсутствующим взглядом уселся в кресло. — Но книгу я хочу написать для нее... Ваше стихотворение, украинец и его тоска по Испании... вы не знаете, как часто я их вспоминаю. Когда я слышу слова, которые поражают, как слова этого стихотворения, я говорю себе... Часто я себе говорю... Зачем писать, когда другой уже сказал то же самое... и так хорошо, намного лучше, чем я смогу это сделать! Но то, что хочу сказать я,— не похоже на эти стихи... Знаете ли вы строчки Клоделя:

«...И что для меня все ароматы изгнания, когда пальцы пахнут листом орешника, который я растираю...»

Вот моя цель... Вот что я хотел бы сказать... И тем не менее я благодарен вам за «испанскую грусть» и за все, что вы мне рассказали сегодня. Знаете ли вы, что эти стихи говорят мне гораздо больше о коммунизме, чем все их газеты?

В самом деле... Но что ему до коммунизма, этому Дювернуа! Чего он все возвращается и возвращается к нему! Зачем ему коммунизм?

— Но я думал, что вы мне еще что-то хотели рассказать,— повторил Дювернуа в то время, как Патрис, потягивая джин, рассеянно молчал.— Вы так внимательно занялись моими делами, Граммон...

— Это вполне естественно,— возразил Патрис. Теперь он упрекал себя, что принял за развязность и спесь застенчивость и душевное целомудрие Дювернуа.— Кроме того... Помните ли вы женщину, с которой мы встречались в Нормандии? Монику... Впрочем, это глупо... Как вы можете ее не помнить, когда она спасла вам жизнь!.. Но я не знаю, известно ли вам ее настоящее имя... Ее зовут Ольга Геллер.

— Ну да, разумеется, конечно, я помню... Мне потом сказали, что она работает в ГПУ. Советская шпионка.

Пораженный Патрис поставил стакан на стол:

— Работает в ГПУ, Моника?

— Ну да,— повторил Дювернуа,— отчего это вас так потрясает! Что здесь такого удивительного? Меня предупредили об этом еще в армии. Офицеру не полагалось общаться с ней, даже если она и не была непосредственно опасна... Это касается также и административных, и министерских служащих, уверяю вас... Но что вы хотели мне рассказать о ней? Теперь ведь я не в армии, я — частное лицо.

Патрис был растерян:

— Что я могу сказать... Меня никто ни о чем не предупреждал... Для меня она по-прежнему Моника, наша преданная, верная, милая Моника! Вы помните? Она так много для нас делала... И я никогда не встречал такой смелости, даже у мужчин... И как хороша при этом!..

— Она все еще хороша?

— Для меня — да. Может быть, она и изменилась с тех пор, но я этого не замечаю... Ведь прошло уже лет десять? Моника — шпионка!

— А что она делает сейчас? — спросил Дювернуа невозмутимо.

— Она спряталась от всех... Несмотря на необычайные подвиги и ордена... Получает большое жалованье в рекламной конторе. Моника — шпионка... это безумие...

— Но, милый друг, не могло же у русских не быть шпионов, так почему не Ольга Геллер?... Одинокая женщина, без определенной среды... А помните, как она говорила о России, с каким энтузиазмом!

— Да, я очень хорошо помню... Но, скажите мне, разве в эпоху Сталинграда хоть кто-нибудь говорил о России без энтузиазма? — И Патрис сухо добавил: — К тому же Моника, или, если вам больше нравится, Ольга Геллер, — француженка: у нее французский паспорт.

— Разве? — Дювернуа посмеивался. — У эмигрантов паспорта ничего не значат, какой дадут, такой и есть.

— В общем, — резюмировал Патрис, — я начал говорить с вами о Монике, забыв, что вы ее знаете... Оказывается, вы ее знаете гораздо лучше, чем я... Если бы она вас интересовала с точки зрения романа, вы бы вспомнили о ней и без меня, — Патрис сознательно ввернул слово «роман»: нечего церемониться с этим типом... Застенчивость? Скромность? Какая ерунда! И он добавил: — Весь наш разговор не имеет смысла... Вы знаете, я и литература...

— Наоборот, я как раз очень благодарен вам, что вы мне напомнили о ее существовании... Уверяю вас, что теперь я могу с ней встречаться вполне спокойно, сейчас это вполне удобно, более того, она может мне помочь...

У Патриса все еще было ощущение, что Дювернуа разыгрывает его, и он с известным удовлетворением объяснил ему, что встретиться с Ольгой не так-то легко. Если для Дювернуа это действительно важно, только в таком случае он может попробовать их свести...

— В чем препятствие? — спросил Дювернуа тоном старшего по чину офицера.

— Ни в чем... просто Ольга видится только с друзьями, и если она скажет: «Я не хочу», — то ничего не поделаешь. Она не в армии и вольна поступать как ей заблагорассудится.

— А если вы мне поможете встретить ее как бы случайно?

— И не подумаю! — Этот господин, может быть, воображает, что он, Патрис, будет с ним заодно против Ольги? Все же он добавил: — Еще неизвестно, увижу ли я ее сам, а если увижу, то когда и где...

Он чуть не добавил, чтобы уколоть Дювернуа, что единственный, кто бы мог наверняка устроить свидание с Ольгой, — это Серж, потому что Ольга очень любит Сержа... Но он удержался, что-то ему помешало, как будто, назвав Сержа, он бы его этим предал. К тому же он заранее знал ответ Сержа: «Ольга не предмет изучения для летчика-романиста...» — или что-нибудь в этом роде. Дювернуа

встал, чтобы закрыть окно; ведь в конце концов еще только весна, и, несмотря на выпитый джин, он начал ощущать, что в комнате прохладно.

— Так что же вы предлагаете? — Дювернуа закрыл также и высокие внутренние ставни.

— Я? Ничего. Я вовсе не стремлюсь, чтобы вы увиделись с Ольгой.

Патрис уже не скрывал своего неудовольствия: он вовсе не хотел, чтобы этот писатель-летчик вообразил, будто он стремится стать посредником между ним и шпионкой. Бедная Ольга! К тому же Патрису наплевать на этот роман. Дювернуа не Виктор Гюго.

— Что с вами, мой друг? — Дювернуа подошел к Патрису и положил ему руку на плечо. — Почему вы пришли в такое волнение? Я не желаю ничего плохого вашей Ольге Геллер! Вы мне дадите ее адрес? Нет?..

— Нет. Все, что я могу для вас сделать, это передать ей записку. Она сама решит... Если она захочет вас видеть, она вас увидит...

— Прекрасно. Сейчас напишу...

— Дювернуа смахнул какие-то предметы — бумаги, конверты, рисунки — со своего рабочего стола и стал царапать что-то на листке валявшегося там ватмана. Потом вложил его в большой плотный конверт. Жесты его были непринужденны, он ходил, как гимнаст, обращался с вещами, как жонглер... ни одного лишнего движения. Как в балете. Патрис с антипатией любовался им.

— Вот, — сказал Дювернуа, протягивая ему конверт, — что бы там ни было, я не считаю, что работать для своей страны — гнусное ремесло. Моника была замечательной женщиной! А Ольга Геллер осталась ею. Для меня.

Патрис посмотрел на часы и встал:

— Уж очень поздно... Мне пора. У нас, во Франции, мы всегда пытаемся «определить» человека... — он бессознательно повторял слова Сержа, — и если это не удастся, мы готовы поверить чему угодно: что он — шпион или еще что-нибудь тому подобное. Я не разделяю вашей точки зрения, я не люблю шпииков. А Ольгу я очень люблю.

Дювернуа проводил его через парк, до решетки. Ночь была темная, они шли ощупью, осторожно, чтобы не оступиться и не свалиться в бассейн с водой.

У машины Дювернуа пожал Патрису руку:

— До свиданья, дорогой друг, заезжайте, когда будете в этих краях. Я не забыл «испанской грусти»... и всего остального... Поверьте мне. Я вам очень признателен.

— Не за что,— Патрис захлопнул дверцу, включил фары, и в тот момент, когда под высокими сводами тополей появилась дорога, замок, парк и Дювернуа исчезли во тьме.— Спасибо за вечер...— Машина тронулась.— До свиданья... Если Ольга вам ответит...

Конец фразы затерялся в шуме мотора.

Патрис ехал на большой скорости прямо в Париж. Он был в плохом настроении. Даже в любезности этого Дювернуа было что-то оскорбительное. Он подумал о Серже и почувствовал, что к сердцу его прилила волна истинной нежности.

#### IV

Усевшись перед карточным столиком с изъеденным молью и закапанным свечами зеленым сукном, Саша Розенцвейг — тот самый Саша Розенцвейг, о котором Патрис рассказывал Дювернуа, — растрепанный, в ночных туфлях и пижаме, строчил статью о вчерашней премьере. Пышный спектакль, весь Париж, дипломатический корпус, министры, Лоллобриджида... Спектакль происходил скорее в зале, чем на сцене... Саша проверил по своим заметкам: итак, Лоллобриджида была в белом, корсаж в блестках обрамлял наипрекраснейшую грудь нашего века... В свое время была Мистингет со своими знаменитыми ногами, теперь Лоллобриджида со своим бюстом... Кто еще? Мосье Ланжерон<sup>1</sup>. Марсель Ашар<sup>2</sup>... Полиньяки... Мосье и мадам... нет, этих он не будет называть, это доставило бы им слишком много удовольствия... мосье и мадам Мориак, конечно; Орсон Уэллс. Кто же еще?.. Ольга Геллер... Нет, это уже никому не интересно... Хотя она была очень элегантна. Может быть... Да, платье от Баленсьяга... Так, Ольга Геллер, ведь в газете могут сами выбросить Ольгу Геллер, если она им не ко двору. Кто еще? Саша глотнул кофе, принесенного в термосе от сестры Мишү, которая жила на первом этаже. Итак, Ольга Геллер... Да, еще Рита Хейуорт! Ну не дурак ли он — забыл Риту Хейуорт! И ее Али Хана... Мартин Карол и Христиан Жак. Ну и прекрасно, этого достаточно. Он опоздает в газету. Саша умылся, не очень тщательно, натянул штаны, пиджак из твида... красоту он обычно наводил на вечерам, когда надевал смокинг и шел в театр на премьеру или на светский вечер... После этого он проводил час-другой в клубе.

---

<sup>1</sup> Ланжерон — бывший префект полиции, театрал.

<sup>2</sup> Марсель Ашар — известный драматург.

Ложился он обычно часа в два-три ночи и вставал в полдень. Тогда-то он и писал свои заметки, потом бежал отнести их в газету. Оттого, что режим его был противоположен режиму соседей, он никого никогда не встречал, не слышал и жил спокойно. До последнего времени, так как недавно в комнате рядом — на шестом этаже, где обычно находятся комнаты для прислуги, — умер человек.

Саша всего несколько раз видел своего соседа, когда тот, как тень, проскальзывал по коридору. Теперь тень эта умерла. Несколько дней на шестом царила суматоха, и женщина, помогавшая по хозяйству Мишу — сестре Саши, уступившей ему комнату для прислуги, потому что у нее таковой не было, — эта женщина рассказала Саше, что ищут наследников его умершего соседа. Потом она сообщила ему, что полиция обнаружила законную жену покойного, которая жила в незаконном браке с другим мужчиной, и что жена унесла все вещи своего покойного мужа: кровать, стол, стул и чемодан. А комната рядом с этой тоже освободилась, потому что служащая ПТТ<sup>1</sup>, которая ее занимала, переехала — она вышла замуж. И хозяин он-то не теряет времени — продает обе комнаты вместе в полную собственность.

Суматоха на шестом этаже возобновилась с удвоенной силой — приходили смотреть комнаты. И когда Саша вышел с портфелем под мышкой, он встретил на лестнице несколько человек. С тех пор как эти комнаты освободились, Сашу, как если бы он всем пожертвовал для родины, терзала мысль, что такой человек, как он, не имеет средств на покупку этих жалких комнат на шестом этаже... В самом деле, что случилось с роскошным Сашей Розенцвейгом? Из-за войны он потерял не только среду, биографию, но и волосы, девичий цвет лица, нежный рот и пылкий темперамент хвастуна-гуляки, который заставлял его бывать повсюду, где шло веселье, где прожигали жизнь. С биографией, которую он себе придумал, с его мнимыми благородными предками — балтийскими баронами, как утверждал он, — с ними покончено, развеяны все его рассказы о несчастьях, постигших его семью, бежавшую от большевиков, об их сожженных и разграбленных владениях, о картинах, лошадях, библиотеках... После его возвращения из Сталага в 1941 году сфабрикованное им прошлое рассыпалось

---

<sup>1</sup> ПТТ — Почта-телеграф-телефон.

в прах: «королевский молодчик» Саша Розенцвейг, преданный Франции Петена, как некогда графу Парижскому<sup>1</sup>, превратился в сына Мойши и Беллы Розенцвейг, вывезенных в немецкий концентрационный лагерь.

Да, после возвращения в Париж ему пришлось скрываться, не показываться даже в своем квартале, не говоря уже о доме, где консьержка сообщила ему об участии его родителей... Всю жизнь Саша страдал из-за родителей, из-за них он терпел унижения и всеобщее презрение. Он по своей природе испытывал всегда потребность быть на стороне победителей — людей сильных, красивых, а добиться этого он мог только ценой лжи. Родители сыграли с ним злую шутку: они были русскими евреями, эмигрантами. Лучшие бы им умереть на месте в своем родном Киеве, чем бежать, захватив с собой Сацу, которому было только два года... Лучшие бы им погибнуть там, чем превращать сына в человека без родины. Толкованию патриотизма Саша научился у «королевских молодчиков», которые задавали тон в лицее. Патриоты — это те мальчики, у которых есть машины, исторические замки, лошади, аристократическое чванство, показное рыцарство, которое Саша ценил превыше всего. Они имели право третировать вас и называть «метеком»<sup>2</sup>. Саше невыносима была мысль, что он «метек», и он страстно завидовал любому маленькому Дюпону, который был «натуральным» французом и которому не к чему было натурализоваться. Ему невыносима была мысль, что у него нет родины, как у всех, он страдал от того унижительного положения, в которое это его ставило. Отсутствие родины было для него подобно физическому недостатку, дурной болезни. Что он должен был любить — неизвестную ему Россию, Францию?.. И Саша не любил ничего, не было такой земли или дома, который он любил бы, и, чтобы не погибнуть от унижений, он принял самую театральную из всех поз, вступив вопреки всему в партию «королевских молодчиков».

Это было самое меньшее, что он мог сделать, чтобы не погибнуть от унижения. И, соответственно, он переделал свою биографию. Но он забыл про Сержа, который учился вместе с ним в лицее и хорошо знал его семью. У Сержа, хотя он тоже был сыном эмигрантов, не было и тени ощу-

<sup>1</sup> Граф Парижский — титул Филиппа Орлеанского, претендента на королевский престол.

<sup>2</sup> «Метек» — оскорбительная кличка иностранцев.

щения собственной неполноценности, и он не видел разницы между собой и другими детьми, будь то дети парижан, бретонцев или басков. И когда Саша начинал говорить о своих предках — прибалтийских баронах, — Серж над ним издевался или приходил в ярость. И они дрались отчаянно, дело дошло до того, что при переходе в следующий класс Саша добился от родителей перевода в другой лицей.

Отец Саши был врачом. Первую революцию — февральскую — он одобрил, но в октябре, по его мнению, перехватили через край. Убрать царя, охранку, прекратить преследования и уничтожить «черту оседлости» — это он приветствовал, но ликвидировать счет в банке — совсем другое дело. В Киеве происходила резня — красные, белые, интервенция, блокада. Доктору Розенцвейгу и его жене удалось бежать, захватив с собой Сашу. Они прибыли в Париж чуть живые.

По мере того как Саша рос, ссоры между ним и отцом учащались. Подросток был вспыльчив и полон горечи. По вине родителей он остался без родины... Не иметь родины! Это так же ненормально, как не иметь матери! А у Саши была мать, мать, обожавшая своего сына. Подумать только, что это она родила эдакого красавца, перед которым, как ей чудилось, не сможет устоять ни одна женщина: какие у него глаза, мускулы, голос, смех... Саша снисходительно принимал заботы матери и мучил ее. А к отцу он испытывал только презрение и отвращение. В отце его все раздражало, даже сила воли, проявленная доктором, когда он заново сдал все экзамены на медицинском факультете, чтобы получить диплом и право практики во Франции.

— Политическая эмиграция всегда существовала, — говорил отец. — В этом нет ничего позорного и унижительного. Я ненавижу большевиков, и Советский Союз не может быть мне родиной... Как не была для меня родиной и Россия, где убили во время погрома моих родителей...

— Твоя родина всегда будет там, где ты сможешь зарабатывать деньги, — ответил ему однажды Саша.

— Вон! — зарычал отец. — И не смей кланяться у меня эти деньги...

Как ненавидел Саша своего отца! «Убир-р-райся!» — вот уже семнадцать лет, как его отец живет во Франции, а все еще не умеет произнести как следует звук «р». В разговоре делает ошибки. «Убир-р-райся!» Развалившись на своей узкой и жесткой постели, Саша курил папиросу

за папирсой. Он ненавидел свою кровать, свою комнату, квартиру, дом... Приемная с тремя жалкими креслами из поддельной кожи и репродукциями Дега на стене... Почему именно Дега? А старые номера журналов на круглом столике... Он ненавидел длинный темный коридор, который пропах супом — вечно этот суп из капусты и рубленые котлеты, а Саша, как истый француз, любил только бифштексы с жареной картошкой. Стол в столовой, покрытый ковром, который то снимали перед едой, то снова стелили... Скатерть с пятнами, салфетки в кольцах, диванчик, на котором спала бабушка. Была ведь еще и эта напасть — бабушка. Комната, которую Саша так ненавидел, досталась ему после жестокой борьбы — за счет бабушки. Что касается сестры Саши Мишелины — Мишу, моложе его на два года, которая родилась уже здесь, во Франции, то она спала в конце коридора «в шкафу», как она говорила, — в закутке, из которого кровать высывалась в коридор. Все было безобразно в этой квартире, которая была как-то бессмысленно растянута в длину: бесконечный коридор, грязные крашенные стены, закопченные, облупившиеся потолки с черными пятнами пыли над батареями... Почему все обязательно должно было быть безобразным? Можно ведь быть бедными и иметь вкус! Ни одной красивой вещи во всем доме... «Я не выношу уродства!» — говорил Саша матери, если она пыталась остановить его, когда он с пятнадцати лет начал по вечерам уходить из дому. Саша уходил каждый вечер. Мать вложила все свои надежды и сбережения в диван-кровать, книжный шкаф и бюро, которыми она обставила комнату Саши. Со свойственными любящим матерям иллюзиями она серьезно надеялась, что мебель поможет ей удерживать сына дома. Но Саша, как и раньше, продолжал уходить и имел еще жестокость сказать матери, что с помощью стола и стула с улицы Сент-Антуан<sup>1</sup> нельзя создать гармоничного интерьера... И что ни обивка из зеленого репса на диване-кровати, ни обтрепанный плюшевый коврик, который она принесла сыну из своей супружеской спальни, не могут придать его комнате фешенебельного уюта. Все это не скроет стен невыразимого грязно-коричневато-бежево-серого цвета и потолка, на лепных украшениях которого скопилась многолетняя копоть. Тем не менее он попытался заставить мать купить занавеси

---

<sup>1</sup> Улица, на которой расположились мебельные магазины.

и новую лампу на бюро вместо лампочки с рефлектором, которую ему приходилось прикреплять целой системой веревок. «Скупость отца переходит все границы!» — говорил Саша... Мать обещала помочь, но, и сдав экзамены на аттестат зрелости, Саша все еще не получил ни занавесей, ни лампы. А чего стоила драма с телефоном, который находился в кабинете отца, так что в часы приема Саша не мог им пользоваться! На все его жалобы мать отвечала тиком в щеке, все усиливавшимся по мере того, как проходили годы и усугублялись семейные раздоры.

Итак, светлый дуб не помог. Саша уходил и пропадал до поздней ночи. Разве мог светлый дуб смягчить его отвращение к друзьям родителей — эмигрантам, кое-кто из которых доходил до того, что говорил по-еврейски. Что мог поделаться Саша с Мишу, которая чувствовала себя дома как рыба в воде, за столом без конца рассказывала растроганным родителям истории о герлскаутах, а дружила только с еврейскими девочками.

У Саши не было друзей евреев. После того как он переменил лицей и ему уже нечего было бояться разоблачений Сержа, он завел друзей по своему вкусу. Мать не ошибалась: Саша подростком был удивительно хорош собой. Большие серые глаза, прямой нос, цвет лица, как у молоденькой девушки, и при этом сложен, как атлет. И он не был лентяем, у него была поразительная память и способности к некоторым наукам, особенно к истории: он знал всех королей Франции на память, как если бы они были членами его семьи. В новом лицее, где не было Сержа, Саша сразу сблизился с группой детей из «хороших семейств». Среди них идеалом для него стал Гюи. Саша обожал Гюи до боли, которая заставляла его сжимать зубы и кулаки. У Гюи было все, чего не было у него — Саши. Знатное имя, неразрывно связанное с французской землей, подлинные предки, исторический замок, много денег. А у Саши в подтверждение его рассказней, без которых он умер бы от стыда, была только привлекательная внешность. Может быть, именно из-за этой внешности оказалась возможной его дружба с Гюи.

Саша проводил каникулы в семье Гюи. Родители Гюи, у которых он был единственным сыном, с удовольствием наблюдали, как мальчики ездили верхом, играли в теннис или боролись. Они смеялись над политическими убеждениями подростков: в семнадцать лет мальчики перестают

играть в индейцев, в двадцать — они становятся «королевскими молодчиками» или уже перестают ими быть... Надо, чтобы молодежь перебесилась. Сами они интересовались литературой и искусством и признавали только интеллектуальное превосходство. За столом отец Гюи вызывал мальчиков на политические разговоры из одного только удовольствия полюбоваться их юным пылом; его забавляли дифирамбы, расточаемые Гюи и Сашей графу Парижскому, их выпады против «метеков» и евреев. При чем Саша проявлял наибольшую горячность.

А когда «королевские молодчики» выходили на бульвары с криком: «Францию французам!» — Саша был деятельнее и крикливее всех. «Смерть евреям!» — кричал Саша, и полицейский комиссар, проверявший для проформы документы молодых людей, когда их приводили в участок после очередной вылазки, пожимал плечами, отдавая нансеновский паспорт этому красивому парню, который надрывал себе глотку и рисковал быть побитым, требуя, чтобы Франция принадлежала французам.

Поступив в университет, Саша переехал в отель. Он учился на юридическом факультете, так же как Гюи; кстати, Гюи платил за его комнату в комфортабельном небольшом отеле на авеню Оперы — Саша, конечно, не собирался жить в Латинском квартале! Никогда ни Гюи, ни другие сверстники не приходили к Саше домой, — он рассказывал им об удрученном состоянии отца, бывшего гвардейского офицера, который стыдился бедности и убожества... Если бы Саша догадывался, если бы он только мог предположить, что Гюи знал... Гюи был существом исключительным. Он не сказал Саше, что встретил его однажды в ресторане, где Саша праздновал чье-то рождение с родителями и их друзьями — единственный случай в своем роде. Гюи понял все, но ничего не сказал. А потом Гюи убили на войне, и Саша так никогда и не узнал, какого друга потерял в нем.

Саша без устали развлекался. Он был рожден для кутежей. Незаменимый сотрапезник, дамский угодник, в пять часов утра он был свеж, как роза, и готов начать все сначала и продолжать без конца — и пить, и ходить по публичным домам, и играть на бильярде, и ехать на Центральный рынок, чтобы поест там лукового супа, и организовать налет на помещение коммунистической партии, и дергать за бороду всех встречных бородачей... Он был чем-

пионом глупых и опасных пари... Когда не было Саши, его компания не знала, чем себя занять, чем развлечься. Вдруг Сашей и Гюи овладел азарт, и страсть к игре целиком и окончательно их поглотила. Они играли в закрытом клубе. Вскоре у Саши случилась неприятная история, долги, которые Гюи нечем было заплатить. Надо было во всем признаться отцу, а Гюи этого не хотел. Тут подвернулась война. И все в общем сошло бы прекрасно, если бы родители Саши еще раз не сыграли с ним злой шутки, оказавшись в концлагере. Мишу, уже вышедшая замуж, бежала с детьми в южную зону.

Вернувшись из лагеря, Саша, бродя по улицам и не находя себе пристанища, встретил одного журналиста, отца своего соученика по лицею. Сын журналиста был убит, и, воспользовавшись волнением, охватившим при встрече с ним отца, к тому же еще и пьяного, Саша провел у него первую по возвращении ночь в Париже. Потом... Потом, чтобы тот оставил его у себя — идти-то ему было некуда! — Саше пришлось решиться на унижительное признание — рассказать, что его родители были заключены в лагерь, что прибалтийские бароны существовали только в его, Сашином, воображении и что ему теперь приходится скрываться. Ему ничего не оставалось, как признаться во всем человеку, который был ярким роялистом и антисемитом. Но у Саши не было выбора...

Первые дни он жил в постоянной тревоге: что, если старик его выдаст? Но тот его не выдал. Он был абсолютно одинок, убит горем и после смерти сына пил горькую. «Ты можешь остаться здесь», — сказал он в первый вечер и втолкнул Сашу в комнату, которая выходила во двор. Должно быть, там раньше жил его сын. В скромной квартирке царил чудовищный беспорядок, везде валялись окурки и пустые бутылки. Саша провел здесь долгие месяцы. Он научился пить. И работать за старика, который все больше и больше спивался, — его грозили выгнать из редакции. Потерять во время эвакуации жену, потом сына, погибшего на фронте, а теперь быть вынужденным работать в гнусной нацистской газетенке... от всего этого старик обезумел. Этот реакционер под носом у немцев скрывал еврея, родители которого были в концлагере, и делал он это скорее всего ради родителей, потому что сына он презирал и называл его не иначе, как паршивцем... Ирония заключалась в том, что этот антисемит и реакцио-

нер стал союзником преследуемых, тогда как преследуемый, Саша, стоял за преследователей. Когда старик встретил Сашу на Монмартре выпивающим в компании эсэсовцев, он выгнал его. Но Саша к тому времени нашел другое прибежище, да и Освобождение было уже близко.

После Освобождения дело могло обернуться для Саши скверно... Поступили обвинения бывших заключенных Сталлага, находившихся там вместе с Сашей. Деятельность Саши в Париже во время оккупации оставалась неясной. Но судьба несчастных родителей, отравленных газом, охраняла их непутевого сына, обвинения разбивались об еврейскую фамилию — Розенцвейг — и душегубку. Саша переживал в это время приступы отчаяния, доходил до мысли о самоубийстве... Он был жестоко одинок. Гюи исчез где-то на полях битвы во Франции, банда «королевских молодчиков», и до войны не слишком дружная, теперь окончательно распалась — одни утихомирились, другие на время притаились.

Саша предложил свои услуги левой газете — старик научил его ремеслу журналиста, — и его приняли, чтобы помочь парню, родители которого были удушены в нацистском лагере. С течением времени и изменением обстоятельств он перешел в другие газеты, более доходные. Почему ему было этого не сделать, он ведь не был коммунистом. И «прогрессивным» его тоже нельзя было назвать. Ему поручили дневник происшествий, судебную хронику... И, наконец, он поступил в качестве светского хроникера в газету с большим тиражом. Он занимался гетаке<sup>1</sup>ом, историческими романами, используя светскую хронику. «Светская бригада»<sup>2</sup>, — острил его зять, муж сестры Мишелины — Мишу. Мишу, вернувшись из южной зоны, заняла и старую квартиру и предложила Саше комнату для прислуги на шестом этаже, чтобы он не разорялся на номер в скверном отеле. Больше она ничего не могла для него сделать, у нее была семья: двое ребят и муж-ученый — сухой и сдержанный человек, у которого вовсе не было чувства долга в отношении родственников! Бюро из светлого дуба, которое продолжало стоять на своем месте в бывшей Сашиной комнате, было слишком велико для его теперешней норы, но туда пере-

<sup>1</sup> Ремэке (ремэйк) — анонимная переделка чужого произведения (англ.).

<sup>2</sup> «Светской бригадой» называют отделение полиции, на обязанности которого следить за высшим обществом.

несли его кровать, которая показалась ему еще более жесткой и неудобной, чем в былое время. Бюро из светлого дуба служило профессору, мужу Мишу, а над ним — над Сашиним бюро — висели теперь на стене вместо семейных портретов Маркс и Сталин. Но сейчас Саше и это было безразлично... Не то чтобы он их любил, коммунистов, просто ему было на них наплевать. Как и на все остальное. Слишком он много испытал. Когда профессор был в Сорбонне, в часы его лекций, Саша спускался к Мишу. Они усаживались в кухне за некрашеным столом, и Мишу приготовляла чай по-русски и гренки с вареньем. Маленькая, угловатая, чернявая Мишу стала большой полной женщиной. У нее была нечистая кожа, как у многих брюнеток, и всегда растрепанные волосы, словно она только что встала с постели. Ее голос стал походить на голос их покойной матери, хотя она произносила «р» на французский лад. Она так же, как и ее мать, верила, что дети считают ее своим лучшим другом, что они ей поверяют все свои тайны. Саша с удовольствием приходил к сестре на кухню, он теперь любил чай по-русски, холодные котлеты и голос Мишу с интонациями матери. В этой квартире, где он провел детство, хотя она была все такой же грязной и безобразной, он чувствовал себя почти дома. Это было что-то вроде родины, с тайной взаимосвязью между местом, вещами и человеком, который провел среди них все свое детство...

Дети Мишу — мальчик и девочка — бегали по Парижу, у них были друзья и интересы, о которых мать даже не подозревала. Племянник и племянница, росшие у Саши на глазах, не обращали на него никакого внимания: «Добрый день, дядя Саша, добрый вечер, дядя Саша»... Приходящая прислуга, которую Мишу посылала время от времени убирать у Саши, беспокоилась о детях, родившихся при ней. Она рассказывала «бедному мосье Саше» — она всегда называла его «бедный мосье Саша», — что в один прекрасный день мадам и мосье дождутся от детей неприятностей. Они не понимают, что делают, когда соглашаются, чтобы мальчики и девочки жили вместе в лагерях, покупают детям скутер и разрешают носиться на нем перед домом, по всему бульвару Распай, так что треск доносится до самого Лион-де-Бельфор! Даниэль правит, а Натали сидит сзади — Натали всего тринадцать лет, она ходит в шотландских штанах и черных чулках — настоящий клоун! И если бы еще все это делалось шито-крыто, но нет, безобразничают

у всех на глазах, все их видят: жильцы, лавочники и уж, конечно, консьержка. Наверное, это дети сказали молодым людям из своей компании, что на шестом этаже, рядом с Сашей, есть свободные комнаты. Там уже начали ремонт. Прислуга выражала Саше соболезнование, что он не может воспользоваться освободившимися комнатами, там ему было бы так хорошо! Только одна эта женщина и жалела «бедного мосье Сашу». Она же занималась его бельем, гладила время от времени его пиджак из твида, фланелевые брюки и смокинг хорошего покроя, который для светского хроникера такой же рабочий инструмент, как скрипка для скрипача. Благодаря ее заботам, когда Саша появлялся в свете, у него был вовсе не жалкий вид; может быть, он был немного молчалив, немного желт из-за больной печени, но нисколько не жалок. А когда он выигрывал в клубе, к нему возвращалась его былая жизнерадостность. Саша жаловался и скрипел зубами только наедине с самим собой. «Да,— говорил он себе, особенно по утрам, когда его будил шум за стеной,— я не имею права даже на мизерную, но спокойную комнату для прислуги...» И жалобам не было конца.

Саша оценил своего умершего соседа только тогда, когда его потерял. Когда этот сосед был жив, он все равно шумел не больше, чем мертвец. Теперь, когда его не стало, Саша обнаружил, как тонка перегородка, отделявшая его от соседей. С тех пор как Саша работал в вечерней газете, он все чаще стал ходить в клуб, потому что мог сдавать свои заметки по утрам. Но теперь ему не помогало, что его образ жизни не совпадает с обычным: рядом шел ремонт,— рабочие, черт их возьми, стучали, пели, разговаривали,— и Саше все было слышно! Когда в полдень Саша выходил в коридор, он видел их в проеме снятой с петель двери — старик и его подручный, оба в одежде цвета извести, забрызганные белым по белому от головы до эспадрилий на ногах. Они сидели на ящике, зажав литр вина между коленями, и старательно жевали, высоко подняв локоть и держа наготове нож, которым по кусочку отрезали колбасу. От этого зрелища Саша чувствовал физическое недомогание: он был антирабочим, как другие бывают антисемитами.

Однажды Саша увидел в том же дверном проеме молодую парочку: девушку и юношу, которые любовались белыми стенами. На ней были балетные туфельки, лодочки без каблука, которые так идут очень молодым и очень стройным девушкам, в них все они выглядят моложе пятнадцати лет. Прямые волосы дождем падали на плечи, тоненькая талия, восхитительная грудь под тесно облегающей черной фуфайкой,— это был прелестный экземпляр ходячей модели 1950 года. Парня Саше не удалось разглядеть, он увидел только его большую руку на плече у девушки и широкую, крепкую спину.

В этот день, вернувшись домой, Саша, как только положил портфель, подошел к маленькому зеркалу: да-а-а... если так будет продолжаться, он скоро станет лысым. Волосы потускнели, и спереди в них появилась какая-то курчавость — наверное, именно эти и выпадут раньше других. Его прекрасные, такие большие, такие серые глаза налились кровью, да едва ли они и были еще серыми, большими и прекрасными. Он слишком часто пропускал стаканчик в баре, держал спиртное и дома и тоже выпивал по стаканчику, приходя и уходя,— это отмечало время. Если бы хватило денег, он постепенно спился бы, хроническое безденежье в этом смысле было полезно. Саше вовсе не хотелось умереть от цирроза печени, и он предпочел бы не пить. Если бы Мишу не была, как всегда, растяпой, она познакомила бы его со своей лучшей подругой, весьма состоятельной вдовой фармацевта... Саша не видел другого выхода, кроме женитьбы на деньгах, но при такой морде с этим надо было торопиться. Он проводил ночи в клубе не потому, что питал иллюзии насчет подобного способа выйти из затруднения, наоборот, если бы не проигрыши, он жил бы безбедно. Саша был силен в бридже и покере, но любил только баккара, а игрой в баккара не прокормишься. Но ему нравилась лихорадочная атмосфера игры...

С некоторого времени он стал ходить в тот самый игровой дом, где бывал с Гюи, когда они были студентами, и где с ним случилась неприятность... С тех пор утекло много воды, она многое смыла в памяти людей, и от Сашины неприятностей в клубе осталось только воспоминание, что мосье Розенцвейг был старинным завсегдатаем этого дома. Он приходил в смокинге — и это нравилось, — выпивал стаканчика два в баре, чем-нибудь закусывал и садился за карточный стол. Ему случалось делать большие ставки

и выигрывать, но он не успокаивался, пока не спускал всего выигрыша и даже немного более того. Вот ему и приходилось давать как можно больше материала в газеты — ведь есть-то все-таки надо каждый день.

Но с некоторого времени у Саши появилась новая страсть, ради которой он оставлял даже игру: Саша начал писать. Писать по-настоящему. Не те ежедневные заметки, которые он должен был поставлять в хронику, и не подробные истории о любовных связях и смерти Гитлера или частной жизни наложницы Короля Солнца или стального магната... Саша начал писать для себя. И это его увлекало, как бывало вино, карты или женщины. Хотя о женщинах он теперь думал редко. Да, ежедневные писания так наводстрили его перо, что он излагал на бумаге со скоростью мысли все, что хотел, — фразы складывались как бы сами собой, механически, машинально: благодаря ежедневной обязательной гимнастике он наловчился исписывать страницы без размышлений и помарок. «Автоматическое письмо»<sup>1</sup>. Только в данном случае наоборот — автоматизм питало не подсознание, а определенные и реальные факты. Подобно тому как наполняют мясорубку мясом или мельницу кофе, Саша наполнял свою голову убийствами или свадьбами, и их описания выходили из-под его пера перемолотыми, готовыми для печати. И вот как-то бессонной ночью, когда он томился в безысходном одиночестве на своем шестом этаже, ему вдруг пришла в голову мысль о запасном выходе — возможности написать роман.

Автобиографический. В биографии Саши было достаточно материала, чтобы «оплевать могилы»<sup>2</sup>, и он начал писать. Он целиком отдался писанию. И вселенная, которая всегда замыкалась от него, вывешивая надпись: «Only for white people»<sup>3</sup> или «Off limits»<sup>4</sup>, то изысканно, то грубо выпроваживая его, оставляя в одиночестве, безродным изгнанником, эмигрантом, отторгнутым от родной почвы... вселенная как бы смягчилась, начала ему поддаваться. Саша писал, стремясь, придерживаться голой истины, не

---

<sup>1</sup> «Автоматическое письмо» — творческий метод сюрреалистов, он состоит в том, чтобы писать не задумываясь, следуя подсознательной мысли.

<sup>2</sup> «Плюю на могилы героев» — название нашумевшего французского романа, написанного после второй мировой войны.

<sup>3</sup> «Только для белых» (англ.).

<sup>4</sup> «Вход воспрещен» (англ.).

желая ничего прикрашивать. Он смотрелся в зеркало, которое сам отполировал, и отдал свою судьбу и будущее в руки героя, который уже перестал быть самим Сашей. Если бы Дювернуа когда-нибудь последовал совету Патриса и решил воспользоваться биографией Саши Розенцвейга, ему пришлось бы немало потрудиться, чтобы его герой оказался на уровне Сашиного.

Вот уже два месяца, как рукопись Саши находилась у издателя. Ожидание ответа, на который становилось все меньше надежды, не способствовало улучшению Сашиного настроения.

## V

В комнату рядом с Сашей въезжали новые жильцы. Пошла возня хуже прежнего... По утрам его будил шум в коридоре, где пыхтели люди, чем-то стучали, задевая за стены и двери... Привезли кровать, газовую плитку, шкаф... Им еще нет двадцати лет, а они женятся,— говорила прислуга. Оттого что рассчитывают на родителей, а что хорошего вечно рассчитывать на других... Когда появятся ребятишки, денежки выкладывать опять придется дедушке и бабушке. Разве можно потакать всем капризам молодежи, как это делает сестра мосье Саши... Бедный мосье Саша мог бы воспользоваться тем, что молодожены провели к себе воду, и сделать отвод. Душ, уборная... Эти сорванцы ни в чем себе не отказывают, а такой человек, как мосье Саша, довольствуется тазом с кувшином и ходит в ватерклозет на том конце коридора, как все...

Но когда жизнь вошла в колею, соседи оказались очень тихими, совсем не беспокойными. После переезда они должны были — если верить прислуге — сдавать экзамены. Они поднимались без шума,— во всяком случае, они не будили Сашу, который по утрам спал самым крепким сном. Спозаранку они отправлялись на факультет, и когда Саша случайно оказывался дома в неурочный час, он едва улавливал за стеной бормотанье да шелест страниц. Когда он возвращался поздно ночью, молодые соседи, должно быть, уже спали, а между их спальней и Сашей была комната, где они ели и где в нише помещалась газовая плита.

Понадобилась перемена в ритме его жизни, чтобы Саша оказался дома, как раз когда у соседей были гости. В этот вечер у Саши была температура. Мишу налила ему в термос горячей воды, чтобы он приготовил себе грог, ему при-

шлось позвонить в редакцию, предупредить, что он заболел, и, изнемогая, задыхаясь, он поднялся на шестой этаж. Еще в коридоре он услышал музыку, смех и шум передвигаемой мебели: у соседей были гости. Катастрофа!

Выпив крепкого грогу, Саша разделся и лег. Но рядом стоял такой крик и шум, что заснуть было невозможно. Вот когда Саша понял, что стена была всего лишь тонкой дощатой перегородкой. Он слышал все так, как будто сидел за столом вместе с гостями. Это было похоже на радиопередачу, с той разницей, что нельзя было повернуть ручку и выключить радио. Звон посуды, ножей и вилок... Передай мне сэндвич с паштетом... Пирог на славу... Кто принес эту бутылку, ну и хорошо вино... Легкий удовлетворенный шумок не прекращался. Саша задремал, но взрыв хохота заставил его подскочить. От ярости он чуть не постучал им в стену, чтобы они замолчали. Но фосфоресцирующий циферблат его часов показывал всего девять, — они имели полное право спокойно ужинать. Шум снова сделался однородным, но раз уже Саша проснулся, ему нечего было надеяться заснуть в девять часов, когда он привык ложиться в три-четыре часа утра... Он слышал, как голоса за перегородкой перекрещивались, смешивались... Какой-то низкий бас перекрывал время от времени все остальные голоса... А у одного из них голос ломался... Девушки... настоящий птичник. Саша различал щебечущий голосок Алисы, своей соседки, он к нему уже привык, и бургундский выговор ее мужа — Жана, вернее, Жанно... У них там, наверное, полно народа. Неожиданно бас загудел громче и заставил замолчать всех остальных.

— Говорю вам...

Но тот голос, который ломался, перебил его на высокой ноте:

— А я тебе говорю, что эпическая поэзия берет верх! Долой индивидуальную лирику! Нам нужны грандиозные темы! Пусть поэзия приведет нас к сердцевине мира!..

Голос девушки:

— Ну, поехал! Опять ты со своей эпической поэзией...

— Ты никогда не даешь мне довести мысль до конца...

Девушка:

— Доводи свою мысль до чего угодно, только постарайся кончить свои рассуждения до утра. И ты всегда перебиваешь Ролана, он хотел сказать...

Раздался общий смех по поводу чего-то, чего Саша

не видел, и кто-то что-то сказал, чего он не расслышал и на что мальчишеский голос взволнованно ответил:

— Конечно! Если бы мне случилось изменить любимой женщине, я бы застрелился!

Смех, восклицания. Саша невольно улыбнулся.

И опять роскошный бас:

— Это очень здравая мысль, которая делает тебе честь, Пэпэ. Чего вы смеетесь? В прежние времена убивали женщину, которая изменила, или мужчину, с которым она изменяла. Куда возвышеннее убить самого себя за измену Любви!..

— Браво, Ролан! Спасибо, Ролан!..

Разговор становился все оживленнее, и Саша не мог за ним уследить... Ломающийся голос продолжал отчетливо:

— ...Вы никогда не даёте мне довести мысль до конца... Моя эпическая поэма в четырех частях и двенадцати эпизодах об истории Сопротивления...

— В свободных стихах без каких-либо помех!..

— Без рифм и смысла...

— Без конца и без начала!

— Без средств к существованию!

— Без смягчающих обстоятельств!

— Без критического начала...

Они кричали и смеялись все разом. Во что они играли? Саша прислонился горячей головой к прохладной стене... Сюрреалисты, дерьмо... Бас опять возник из общего шума:

— ...Это только перевод... Небольшое стихотворение... Чтобы проникнуть в самую сердцевину мира, как ты говоришь... Все твои громадные фрески уместились здесь на одной странице...

— Будешь ты читать или нет?

— Давай, Ролан!

— Погоди, погоди... Я хочу вам сначала объяснить... (мало-помалу наступило молчание, нарушаемое легким позвякиванием посуды). Ведь это перевод... Для русских тут все ясно. Представьте себе: двадцатые годы. Степь весной, зеленый океан молодой травы... Конный отряд Красной Армии, украинцы, они ведь рождаются верхом на коне, патрулируют по степи. Все спокойно, враг притих. Эскадрон несется рысью, переходит в галоп и запекает песню, которую пела тогда вся Россия, разрушенная, голодная, зажата блокадой и пушками: «Эх, яблочко, куда котишься...» Идя в бой и возвращаясь с боя; и на галопе, и на

рысях, и шагом эскадрон пел: «Эх, яблочко, куда котишься...» Но молодой парень, скакавший рядом с поэтом, пел другую, никому не известную песню... Устремив глаза на землю, которую он отвоевал, на молодую траву, покрывавшую родимую степь, молодой парень мечтал... Он мечтал о сказочных краях, — и кто знает, — может быть, он только что научился читать? Он узнал, что есть такая страна Гренада, прекрасная, благородная страна, о которой можно мечтать. И вот он покинул свой дом, покинул семью, чтобы и в Гренаде землю крестьянам отдать. Шальная пуля сразила его, пока он мечтал... Просто так, мимоходом. Ей нечего было делать здесь, совсем в другую сторону шел ее путь. Тело мечтателя соскользнуло с коня в весеннюю траву. Даром пропал солдат, даром пропала пуля... и оборвалась мечта...

Задвигали стульями...

— Натали, садись сюда...

Смотрите-ка, его племянница, то-то Саше все чудилось, что ему знаком этот голос! Ей давно пора быть в постели, этой сопливой девчонке.

— Алиса, дай ему чего-нибудь выпить...

Саша услышал даже бульканье жидкости — слишком громкое, как в кино.

— Подвинься немного...

— Нет, это красное... Давай, Ролан.

И снова бас:

— Это стихотворение было написано в 1926 году. За десять лет до войны в Испании! Имя поэта — Светлов. Название — «Гренада». Внимание!

Наступила тишина. Ролан читал стихи.

Мы ехали шагом,  
Мы мчались в боях,  
И «Яблочко»-песню  
Держали в зубах.  
Ах, песенку эту  
Доныне хранит  
Трава молодая —  
Степной малахит.

Но песню иную  
О дальней земле  
Возил мой приятель  
С собою в седле.

Он пел, озирая  
Родные края:  
«Гренада, Гренада,  
Гренада моя!»

Он песенку эту  
Твердил наизусть...  
Откуда у хлопца  
Испанская грусть?  
Ответь, Александровск,  
И Харьков, ответь:  
Давно ль по-испански  
Вы начали петь?

Скажи мне, Украина,  
Не в этой ли ржи  
Тараса Шевченко  
Папаха лежит?  
Откуда ж, приятель,  
Песня твоя:  
«Гренада, Гренада,  
Гренада, моя»?

Он медлит с ответом —  
Мечтатель-хохол:  
— Братишка! Гренаду  
Я в книге нашел.  
Красивое имя,  
Высокая честь —  
Гренадская волость  
В Испании есть!

Я хату покинул,  
Пошел воевать,  
Чтоб землю в Гренаде  
Крестьянам отдать.  
Прощайте, родные!  
Прощайте, семья!  
Гренада, Гренада,  
Гренада моя!

Мы мчались, мечтая  
Постичь поскорей  
Граматику боя —  
Язык батарей.  
Восход поднимался  
И падал опять,  
И лошадь устала  
Степами скакать.

Но «Яблочко»-песню  
Играл эскадрон  
Смычками страданий  
На скрипках времен...

Где же, приятель,  
Песня твоя:  
«Гренада, Гренада,  
Гренада моя»?

Пробитое тело  
Наземь сползло,  
Товарищ впервые  
Оставил седло.  
Я видел: над трупом  
Склонилась луна,  
И мертвые губы  
Шепнули: «Грена...»

Да! В дальнюю область,  
В заоблачный плес  
Ушел мой приятель  
И песню унес.  
С тех пор не слыхали  
Родные края:  
«Гренада, Гренада,  
Гренада моя!»

Отряд не заметил  
Потери бойца  
И «Яблочко»-песню  
Допел до конца.  
Лишь по небу тихо  
Сползла погода  
На бархат заката  
Слезинка дождя...

Новые песни  
Придумала жизнь...  
Не надо, ребята,  
О песне тужить.  
Не надо, не надо,  
Не надо, друзья...  
Гренада, Гренада,  
Гренада моя!

Все бешено заплодировали. Саша нашел, что стихи совсем неплохи. У баса был прекрасный голос, он хорошо читал. С точки зрения журналиста, это было небезынтересно... Стихи оттуда... За перегородкой шум голосов, все говорят одновременно:

— Как хорошо... до слез!.. Ты меня сметишь своей эпической поэзией, фресками! Вот это фреска так фреска... Но я никогда не говорил, что... Не надо быть марксистом, чтобы понять: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»... Это не политическое выступление, именно поэтому это —

стихи... «Гренада, Гренада, Гренада моя...», сказочная страна... Как это хорошо, как хорошо...

Саша уже ничего не мог разобрать, как если бы микрофон стоял слишком близко к говорящим. К тому же он чувствовал, что температура у него все поднимается, а рядом этот шум, такой шум... И снова бас, который заглушал все остальные голоса:

— Мне его дал Серж Кремен...

Не может быть! Саша сел на постели и приложил ухо к перегородке, чтобы не потерять ни одного слова из того, что там говорилось: Серж! Значит, это притон коммунистов, коммунистическое отродье...

— ...Он вывез его из концлагеря. Один русский перевел его вместе с французским поэтом. Оба они умерли. Серж и его друзья считают эти стихи своим кредо... Это их боевая песнь...

— Поразительно, что это написано в 1926 году!..

— Ты здорово читаешь!

— Не надо быть марксистом...

Саша горел. Они не виноваты, они еще дети. Он узнаёт руку Сержа, этого вестника несчастья, этого рецидивиста, этого развратителя молодежи. Этого «метека». В своем озлоблении против Сержа Саша невольно перешел на свой старый жаргон, вернулся к своим старым убеждениям: бедная Франция, она допускает, чтобы иностранцы путали ее мысли, оскверняли ее душевную чистоту... Подумать только — кости и тело какого-то Сержа смешиваются с французской землей... Саша впал в неистовое бешенство печеночного больного, которое еще усугублялось жаром и гриппом. Давненько он не вспоминал чистоту расы, королей Франции вообще и графа Парижского в частности... Теперь он выкрикивал все это про себя, как привычные ругательства, чтобы отвести душу. Он рычал: «метек», дерьмо, сволочь! А рядом музыка вмешалась в разговор, заглушая слова... Должно быть, они танцевали, но разговор продолжался:

— Говорю тебе, если рассуждать логически, можно предсказать будущее...

— Ты думаешь, твой Светлов, или как его там, рассуждал, как политик? Вовсе нет, он рассуждал, как поэт...

— Как поэт, он мог рассуждать с такой силой лирического выражения потому, что он рассуждал политически правильно... Что такое лирика?

— Лирика — то, что потрясает...

— Любовь в поэзии не обязательна, это неверно... И если тебя потрясает русский парень, отдавший жизнь за крестьян Гренады, я повторяю, если ты потрясен...

— Ты почувствовал нежность поэта к этому парню, который пошел воевать на украинской земле за то, чтобы в Гренаде землю отдали крестьянам?

— И который мечтал, как мечтают люди, только что научившиеся читать...

Саша горел, и ему казалось, что он болен именно из-за этой музыки, из-за этих отрывочных фраз, что все это бред, большое воображение, кошмар... Коммунисты тут, совсем рядом с ним! Он никогда еще не видел, какие они в своей компании. Голова у Саши кружилась, кровать кружилась, комната кружилась... «Откуда у хлопца испанская грусть?.. «Гренада, Гренада, Гренада моя!» Он должен околевать здесь в одиночестве, а те, за стеной, поют и танцуют, спорят и смеются. Их много, а он, Саша, совсем один. Саша стал шепотом повторять слово «одинок». Он был одинок, он всегда был одинок, за бортом, отщепенец... Сколько он пережил тоскливых празднований 14-го Июля, в которых не участвовал, как иностранец! Пока наконец не сдружился с Гюи и остальными и не получил право ненавидеть день 14-го Июля уже коллективно... Да, но ценой лжи, ценой непрерывной лжи. Один, один... Всю жизнь он бродил по ничьей земле и получал удары то от одних, то от других на этой опустошенной, страшной земле, где солнце вставало только затем, чтобы осветить заграждения из колючей проволоки и покинутые траншеи... Да, он одиноко бродил по этой бредовой земле. Куда бы он ни пошел — направо или налево, вперед или назад, — всюду в него будут стрелять, и пули поразят его прежде, чем он сумеет объяснить... А он всю жизнь хотел только одного: разделять с другими их незыблемые, установившиеся убеждения. Точку зрения господствующую, подавляющую. Саша завидовал своим соседям, страстно завидовал. Ему хотелось быть с ними, поддакивать им, проникнуться их духом, пойти еще дальше, перегнать их, оттеснить слабых, недостаточно убежденных, которые не на все готовы. Саша горел. Что, если постучаться к соседям? Он представил себе, как он сидит среди них, аплодирует... «Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...» Он скажет им: «Чего вы ждете — надо вешать буржуев на фонарях!» Но там с ними его племянница и племянник, они, наверное, уже предостерегли других:

«Не доверяйте старому пентюху рядом с вами! Это наш дядя Саша, фашист! Русский еврей — верноподданный французской короны... Просто смех!» Тень Сержа с распростертыми крыльями, как гигантская летучая мышь, заметалась над ним... Саша горел. Никогда и никуда не принимали его без обмана... Всегда находился кто-нибудь, кто предупреждал: «Остерегайтесь — он был в «Аксон Франсез»... «Остерегайтесь — он еврей, его родители были отравлены газом!» И всегда наступал день, когда отношение к нему внезапно менялось... При таких условиях он не мог принадлежать ни к какому кругу, ни к какой партии, и ему оставалось только идти к людям, которым наплевать на все и на всех. На нем было клеймо ренегата и предателя, в то время как он жаждет... нет, в то время как он жаждал верой и правдой служить тем, чья сила наполнила бы и его жилы и позволила бы ему считать себя царем творения... «Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...» Почему он обязан считать себя евреем, когда они ему чужды, он знал только несколько человек, которых встречал у родителей. Он не принадлежал к ним ни по культуре, ни по внешнему своему виду. Его мать высидела лебедя, он был гадким утенком, и тому подобное... «Гренада, Гренада, Гренада моя...» Не хватало музыки. Саша был способен к музыке, он любил музыку, но родители обучали игре на фортепьяно Мишу, которая не могла отличить «На мосту в Авиньоне» от «Брата Жака»... А может быть, он стал бы великим музыкантом — и тогда он был бы сам себе обществом и партией, ему не надо было бы иметь других убеждений, кроме музыкальных... Он был бы окружен поклонниками и поклонницами... Вместо этого страшного одиночества, когда все от него отшатываются... Но он им еще покажет, чего он стоит! Роман... Он вложил в этот роман всю свою жизнь... а от издателей — ни слова, хотя они давно могли бы собраться ответить... Как они шумят там, за стеной!.. У Саши раскалывалась голова. Бред. Раз он никому не нужен, он сам найдет выход... Мысль, что все зависит теперь от мнения какого-то интеллигента, рецензента из издательства, была для него как нож острый... Ах, одиночество и вся эта белиберда, попытки выйти из одиночества, присоединиться к тому или к сему, вступить, примкнуть... все это уже отошло в прошлое, далеко, далеко... В эту ночь он всего лишь играл комедию. Все это было уже в прошлом, как тот день, когда его, шестилетнего, первый раз повели в театр, как первая женщи-

на, первое столкновение с полицией на бульварах, как выкрики: «Францию — французам!...» А теперь, когда ему уже знаком концентрационный лагерь, эсэсовцы, бордели, когда каждый божий день перед ним взвигается театральный занавес... Ах, в одиночестве была своя прелесть! За свою жизнь человек иногда меняется, как будто он родился заново. Теперь он только делал вид, что страдает, на самом деле он был рад своему одиночеству. Скорее бы только эти злодеи-издатели ему ответили... Голова у Саши раскалывалась.

— Мне пора домой, моя мать не ложится спать, пока я не вернусь. После смерти отца она стала очень нервна...

— Ну что ж, очень жаль...

— Но вы все-таки вымойте посуду... Не может же Алиса одна убирать за вами!

— Скорее... Натали, ты живешь в этом доме... Даниэль, ты что, считаешь — это ниже твоего достоинства?..

— Все-таки странно... У Гастона отец умер месяц тому назад, у Жанно — два месяца, а теперь у Пэпэ...

Звяканье посуды, ножей, вилок, они занялись там уборкой, наверное, теперь скоро разойдутся...

Грустный и задумчивый голос:

— Сколько пап потеряли...

Общий взрыв хохота... Ха-ха-ха-ха! Эти ребята прямо-таки возмутительно циничны!

— Но я не то хотел сказать! — протестовал голос...

— Да, да... Не огорчайся, Пэпэ!

— Ты просто поэт, у тебя так нечаянно получилось... Пэпэ, это же не имеет значения... Не вздумай плакать...

Саша задыхался от злости. Они смеялись, эти чудовища смеялись в то время, как он подышает. Так же вот умер его сосед, тень его соседа... Светящийся циферблат показывал пять минут первого. Это возмутительно, так шуметь по ночам. Они, должно быть, ставили посуду в шкаф, который упирался в перегородку, — это было невыносимо — тук, тук, тук... Трах! Разбили что-то... Наверное, целый поднос!..

— Пэпэ! Не ной, пожалуйста, это же только ножи и вилки.

— Ах, мне всегда так не везет, мне всегда так не везет...

— Перестань скулить, всего-навсего один стакан разбился, стакан из-под горчицы... Говорю тебе, перестань извиняться — только стакан из-под горчицы!..

Саша вскочил с постели, босыми ногами на ледяной пол, и стал искать что-нибудь потяжелее, ничего не нашел

под рукой, схватил башмак и изо всех сил стукнул каблуком по перегородке: по ту сторону вдруг наступила такая тишина, что у самого Саши перехватило дыхание. Еще больше, чем на выключение радио в разгар передачи, это было похоже на убийство. «Ага,— сказал сам себе Саша,— я им заткнул глотку!» Но вдруг опять взрыв голосов, крики... Нет, они еще были живы там, за стеной:

— Что это?! — кричали они. — Морду набить... Еще только двенадцать... Кто это?.. Кто?.. Ах вот как... Он не мог отправиться куда-нибудь подальше... Может быть, у него там дети спят... Да я же тебе говорю... Нет! Врываться к людям в дом!.. У вас повсюду родственники, даже под крышей... Бросьте! Ведите себя, как будто ничего не произошло...

Ах вот как? Как будто ничего не произошло? Саша поднял башмак и еще раз хватил каблуком по перегородке... На этот раз ему ответили сразу же невероятным шумом: птичьими криками, лаем, мяуканьем и такими яростными ответными ударами по перегородке, что она вся содрогалась.

— Молчать! — зарычал Саша.

— Гав-гав! — ответили ему.

— Мы уходим! — прокричал тонкий девичий голосок...

Саша еще несколько раз стукнул в перегородку и снова лег. Его знобило, он весь дрожал. За стеной больше не обращали на него внимания — там расходились. Он слышал взрывы смеха, сутолоку — должно быть, они разыскивали свои пальто и кашне... Теперь все происходило уже на площадке лестницы:

— Не шумите на лестнице, консьержка страшная скотина... Выключатель налево на площадке... Смотрите не ошибитесь на третьем, там живет один тип, который не переносит шуток... До свиданья, Жанету, моя девочка... До свиданья, Ролан, твои стихи очень хороши... Пэпэ, ты забыл свой берет, держи... Даниэль, спустись с ними, чтобы открыть им дверь... Ну, не сукин ли сын?

Это длилось бесконечно. Саша стучал зубами. Шаги и приглушенные голоса начали удаляться, и, наконец, дверь у соседей захлопнулась...

— Брось, родная, мы уберем все завтра... Иди скорее, я уложу тебя в постельку, ты совсем бледненькая. Сейчас я закрою дверь... а сосед... что на него нашло... ему место в сумасшедшем доме... Каков подлец...

Молчание. Саша скорчился в постели, ноги у него были

как лед. Он бормотал. Францию — французам! Ха-ха! Италию — итальянцам... Англию — англичанам... Убирайтесь восвояси, кто бы вы ни были, «go home»<sup>1</sup>, кто бы вы ни были... Каждый у себя и за себя... Подметайте сор у своих дверей. «Go home», «Home, sweet home!»<sup>2</sup> Дом, родной дом! Где ты? Родина! Vaterland!..<sup>3</sup> Все это только имена существительные... Ерунда... Раздеться, догола обнажить все свои язвы, ничего не скрывать, даже самого позорного, и не получать ответа целых два месяца...

Плачут не только дети...

---

<sup>1</sup> «Уходите домой!» (англ.). Французы обращались с этими словами к американской армии Риджуэя, расположившейся во Франции. «Go home» писали огромными буквами на стенах и мостовой.

<sup>2</sup> «Home, sweet home!» — английская песня.

<sup>3</sup> Родина!.. (нем.).

## VI

— Все дело в классовой принадлежности, — сказал Серж, когда Патрис рассказал ему о своем посещении летчика-романиста Дювернуа.

— А между тем, — возразил Патрис, — до сих пор мы понимали друг друга. Между нами всегда было взаимное доверие... А в этот раз он даже разоткровенничался, что совсем не в его привычках, уверяю тебя... И вдруг, когда он заговорил о Монике... об Ольге, я хочу сказать... я почувал врага.

— Это вопрос классовый, — повторил Серж, — к тому же Дювернуа определенно из Второго отделения<sup>1</sup>, это ясно. А Ольга имеет такое же отношение к ГПУ, как ты. Когда у женщины необычная биография, ей немедленно приписывают невесть что, — ты сам об этом говорил. А когда эта женщина к тому же еще и русская и не «белогвардейка»... Ясно. Бедная Ольга. Значит, не без причины она стала всех чуждаться.

Патрис был в плохом настроении. Ему не хотелось окатиться замешанным в какую-нибудь историю. Серж ничем не рисковал, ему все равно нечего было терять, он был коммунистом и потому на подозрении, а Патрис занимал пост, который требовал безупречной репутации. Он не собирался рисковать своей карьерой из-за чужих дел, которые его в конце концов совсем не касались.

— Да, наверное, у нее есть на то причины, — сказал он таким тоном, что Серж ему ответил:

— Иди ты знаешь куда...

— Захочу и пойду...

— Ну и катись!.. — Серж отодвинулся от стола, — они обедали, — и засунул руки в карманы. — Лично я, друг милый, не считал бы преступлением, если бы Ольга работала в

---

<sup>1</sup> Второе отделение — французская контрразведка.

ГПУ. Я ее «защищаю» так же, как я «защищал» бы арийца, про которого сказали бы, что он еврей, чтобы напортить ему. Я вовсе не нахожу, что это само по себе позорно, как тебе, может быть, показалось. Когда говорят, что Ольга советская шпионка, это делают не только для того, чтобы причинить ей неприятности, но и для того, чтобы скомпрометировать Сопротивление... Ты прекрасно знаешь, что все мы были подкуплены Москвой... Как суп, нравится? Ну ешь.

Патрис снова принялся за суп. Нигде и никогда он не едал таких супов, какие готовила мать Сержа.

— Ты становишься совершенным идиотом,— продолжал Серж немного мягче,— ты водишься с невозможными людьми— с какими-то летчиками, со светскими женщинами... Мало тебе заниматься дерьмовым ремеслом, ты еще выбираешь себе друзей среди наших злейших врагов. Но может быть, у нас с тобой и враги-то уже не общие...

— Возможно,— сказал Патрис упрямо. Он не позволит Сержу делать из него дурака.

Вошла мать Сержа, неся блюдо, на котором дымилось вареное мясо с гарниром из овощей. Маленькая худенькая женщина с лицом, покрытым паутиной морщинок, сквозь которую глядели глубоко посаженные черные глаза. Глаза Сержа были только слабой копией этих глаз, потому что если про его глаза можно было сказать, что они большие, то глаза его матери были огромны. «Сидите, сидите, Патрис»,— сказала она, рокоча русским «р»... Поставив блюдо, она опять скрылась в кухне. Так было всегда, она никогда не садилась за стол с друзьями своего сына, появлялась только, чтобы подать на стол, а после еды уходила в соседнюю комнату, откуда раздавался стук ее швейной машинки. Патрис очень любил бывать у Сержа, он любил и стол, покрытый старенькой клеенкой, и буфет, битком набитый вареньем, наливками, песочным печеньем, и старый продавленный диван, на котором он спал по возвращении из лагеря, и мягкие удобные кресла... На диване, креслах и даже на стульях были всегда надеты забавные чехлы из сурового полотна, безукоризненно чистые, хотя вечно смятые, сбитые набок... Над бюро висела увеличенная фотография: отец Сержа в форме рядового солдата, с пышными усами. Старое бюро было покрыто сукном, а не кожей, на нем стояла мраморная чернильница и бронзовые безделушки... В комнате еще хватало места для маленького рояля Сержа. Все это вместе, включая большие настенные часы и барометр

из резного дерева, а также комнатные растения, совсем не походило на французскую квартиру.

Когда Патрис вернулся из лагеря, квартира его родителей на улице Палестро была заперта, родители бежали в южную зону, и он не знал, где их искать... Он поселился здесь, здесь он пережил счастье возвращения, счастье, какого ему больше уже не испытать! И как коротко оно было по сравнению с трехлетним ужасом лагеря. Какие дни и ночи провел он на этом диване... Серж, похожий на труп с провалившимися потусторонними глазами, какие были у всех в лагере, ходил взад и вперед по комнатам, а мать Сержа ухаживала за ним и за Патрисом, следила за их сном, питанием, доставала им лекарства. Встречи со старыми друзьями, женщины... Как все это уже далеко. Сейчас напротив Патриса сидел откормленный, постаревший Серж, и на столе между ними стояло блюдо с мясом. А сам Патрис разве не постарел, не пополнил? Правда, Серж постарел больше, он слишком много работал. Часами просиживал за роялем, сочиняя марши и кантаты, в свободное время занимался хором, а также устраивал концерты, празднества то на Зимнем велодроме, то в своем райкоме. Патрис не пытался вникать в смысл таинственных слов, которые Серж так часто употреблял: райком, обком, сто двадцатый, сорок четвертый<sup>1</sup>. Он не спрашивал разъяснений у Сержа, так же как Серж не пытался вникать в его консульские дела. В остальном они еще достаточно хорошо понимали друг друга — Серж оставался все тем же невозмутимым Сержем, самым равнодушным тоном произносившим убийственные формулировки. Любимым выражением Сержа было: «Я его убью» или «Я тебя убью», — и говорил он это тоном информации, не повышая голоса.

— Я его убью, твоего Дювернуа, — сказал Серж, — я читал его романы! Они мне не нравятся, хотя он талантлив, скотина. Но я не доверяю людям, которые любят природу и животных, не все они святые Франциски Ассизские, имей в виду.

— Он хороший парень.

— Хороший парень? Прекрасно. Я с ним не знаком. Но я не представляю себе, чтоб этот хороший парень смог написать об эмигрантах... И прежде всего о каких эмигран-

---

<sup>1</sup> Сто двадцатый, сорок четвертый — номера домов, где помещаются парижский горком и ЦК Коммунистической партии. У французских партийцев вошло в привычку называть эти организации по номерам домов, в которых они расположены.

тах? Он напишет о людях Кобленца... о том, как они оплакивают свое потерянное добро и привилегии. И ничего другого он не сможет, понимаешь ты, не сможет написать, твой хороший парень. Он напишет о князьях и о белогвардейцах. Даже о «перемещенных лицах» он не возьмется писать, потому что ему нравится другое... Эти дичающие люди...

— Разве говорят — «дичающие»?

— Эти дичающие люди, лишённые свободы, которые спят на соломе, за колючей проволокой... Каково бы ни было их мировоззрение, они пострадавшие. А твоему Дювернуа, твоему завалашему романисту, не под силу учуять подлинный патриотизм эмигрантов, их любовь к своей стране во имя этой страны, а не во имя личного блага...

— Что это значит? Не понимаю.

Патрис часто говорил «не понимаю», чтобы заставить Сержа развить свою мысль, а иногда чтобы немного его подразнить...

— Ах вот как, ты не понимаешь? Что представляют из себя испанцы, живущие во Франции... Они ломают в отчаянии руки, они стонут, закрывают глаза, чтобы не видеть бледного парижского неба и представить себе небо Испании... Ты знаешь Альберто, ты слышал, как он скрежешет зубами... Так вот, они не возвращаются в Испанию, даже те, кто мог бы это сделать, не рискуя жизнью. Они не возвращаются. Они — патриоты!

— Я в этом не уверен, — произнес Патрис.

— Я тебя убью, — сказал Серж вяло, — перед тобою люди, которым нечего есть, которые смертельно тоскуют по своему языку, по вкусу хлеба и вина своей родины и которые не возвращаются туда... Они остаются здесь или еще где-нибудь, они вернутся только в Освобожденную Испанию... Или в Испанию, где обстоятельства примут другой оборот. Это тебе ничего не говорит? Во времена моего отца были люди, которых называли революционерами. Они есть и сейчас. Ты никогда не слышал о Ленине? Добровольные изгнанники — не люди без родины, это патриоты, которые борются за свою страну. Может быть, тебе надо все это проиллюстрировать рисуночком?

Патрис встал, он доел мясо... Дювернуа его раздражал, но сейчас его на свой лад раздражал и Серж, правда не затрагивая глубокого, возможно, несокрушимого чувства дружбы, но все-таки настолько сильно, что Патрису захотелось сказать словами самого Сержа: «Я тебя убью»

лет! Вопросы задает необыкновенные! Теперь ее интересует, почему у всех ее подруг есть двоюродные братья и сестры, и бабушки, и дяди, а у нее только папа и мама... Она пристаёт ко мне целый день: «И у меня их не будет, никогда, никогда?» Понимаешь, ей это неприятно, ей бы хотелось быть, «как все»... Патрис отложил газету. Фанни уже надела плащ, но все еще продолжала щебетать: «Серж, прошу тебя, употреби все свое влияние, мы не готовы, это катастрофа, зал уже снят». Серж проводил ее до двери, где они еще разговаривали некоторое время.

Когда Серж вернулся, Патрис спросил у него, просто так, чтобы сказать что-нибудь:

— Почему у ее девочки нет двоюродных братьев и сестер?

— Потому, что Фанни — полька, и семнадцать членов ее семьи были отравлены газом и повешены... Расскажи про это твоему другу Дювернуа, раз он собирается писать роман об эмигрантах...

Весь вечер они препирались... Серж лез в драку. И Патрис опять подумал о том, что, может быть, их дружба возникла только благодаря стечению обстоятельств, что это дружба случайная, как дружба собаки и кошки, выросших вместе.

— А почему они не возвращаются к себе в Польшу? — спросил он. — Ведь эта дама и ее муж наверняка коммунисты.

Но Серж не рассердился. У него был усталый вид. Он прислонился к спинке кресла, свесив руки с подлокотников, опустив подбородок на грудь. Под глазами у него были синяки... «Смерть Сталина его потрясла как-то даже чересчур, — подумал Патрис, — но, может быть, у него другие заботы?»

— Я не знаю, почему они не возвращаются в Польшу, — сказал Серж, — но я знаю, что муж Фанни несколько лет сидел в Краковской тюрьме при Пилсудском. Франция приняла его и стала для него убежищем. На родине он был студентом, а здесь стал горняком. Сейчас он работает в профсоюзе. Может быть, он любит Францию? «Прощайте, родные, прощайте, семья, Гренада, Гренада, Гренада моя!» Я не знаю, почему он не возвращается в Польшу...

Патрис чувствовал, как в нем накапливается холодная ярость. И происходило это главным образом оттого, что он видел, как против его воли в его жизнь входит что-то, что может нарушить безмятежность его существования.

— Я заметил,— сказал он,— что это часто случается с еврейскими семьями. Они быстро ассимилируются, сохраняя при этом тоску по тридцати шести странам одновременно.

— Да,— ответил Серж,— и это продолжается вот уже около двух тысяч лет... Таковы уж условия, уготованные им до сих пор в мире.— Потом, как бы захлопнув дверь за кем-то, кто его раздражал, он поднял глаза на Патриса и улыбнулся ему: — Я бы тебя с удовольствием убил... Но, не хочешь ли прокатиться в Китай?

— В Китай? — Патрис посмотрел на Сержа, не веря своим ушам.

— В Китай, друг милый. Я могу попросить, чтобы тебя включили в состав делегации. Не могу обещать, что мое предложение будет принято. Но могу попытаться. По крайней мере нас не будут обвинять, что мы посылаем туда одних только коммунистов! А тебе это, может быть, пойдет на пользу, как знать...

Патрис загорелся. Путешествие! При этом слове он начинал дрожать, как собака, которой говорят: гулять! Он уже царапал лапой дверь, без ума от радости при одной только мысли о прогулке. Месяц?.. Конечно, он может попробовать продлить свой отпуск. Что он должен сделать?

— Я тебе сейчас скажу...

И, как будто он мог говорить об этом только под музыку, Серж сел за рояль. Для него чувствовать под пальцами клавиши было такой же необходимостью, как для других курить. Он тихонько играл этюды Черни и объяснял Патрису, что ничего не надо делать, только получить к сроку — когда вопрос будет решен — иностранный паспорт, а поскольку он у него уже есть... «Мама! Чайник!» — «Третья очередь,— уточнил Патрис добродушно,— ты ждешь еще кого-нибудь?» — «Может быть... Товарищи хотели зайти после кино...»

И товарищи действительно зашли. В два часа ночи, провожая Патриса, Серж сказал:

— Помни «Гренада, Гренада, Гренада моя!»... Мне кажется, что ты начинаешь забывать.

Патрис взял такси и вернулся домой, к родителям, на улицу Палестро. Он медленно взбирался по лестнице, нащупывая ногой ступеньки: хозяйка испокон веков экономила на освещении, а жильцы рисковали сломать себе шею. Как бы вы ни торопились, свет гас раньше, чем вы доби-

рались до следующей площадки. Копейка рубль бережет. Металлические прутья местами выскочили из колец и не держали истертого ковра. Счастье, что на втором этаже Патрис во-время остановился. Вот уже сорок лет г-жа Безон с вечера выставляет помойное ведро за дверь, чтоб вынести его рано утром... Патрис натывается на него с тех пор, как научился ходить. Следовало также помнить, что выше поджидает пирамида коробок, выстроенная на площадке, где живет картонажник. Освещение гасло именно в тот момент, когда вы наткнулись на эту пирамиду. И, наконец, на пятом этаже — Патрис открыл дверь своим ключом. Квартира встретила его знакомыми душными запахами. Маленькая, сплошь заставленная передняя. Не зажигая света, Патрис прошел через гостиную, стукнулся о кресло и, подумав: «Ага! Кресло не на месте! По-видимому, были гости», — тихонько открыл дверь столовой...

— Это ты, Патрис? — раздался голос матери из глубины спальни.

— Да, мама! Спите, пожалуйста.

С тех пор как Патрис начал выходить по вечерам, возвращаясь, он всегда слышал голос матери: «Это ты, Патрис?» С тех самых пор как он перестал спать в детской кроватке. Он быстро разделся, машинально, привычными движениями, все было ему привычно в этой комнате. Пиджак — на спинку плетеного стула, Ботинки — под стул на паркет, такой блестящий, что они в нем отражались... Часы и деньги — на столик, на котором ему было знакомо каждое чернильное пятно еще с тех пор, как он зубрил здесь уроки и писал любовные письма. И стихи... в чем он никогда никому не признавался. В тусклом зеркале над камином появилось его призрачное отражение. На маленьком столике у стены стоял поднос, покрытый салфеткой: ломтик ветчины, стакан молока, кусок пирога — значит, действительно были гости! Это — на тот случай, если Патрис по возвращении захочет поесть. Патрис был единственным сыном. После всего, что он съел и выпил у Сержа... В углу комнаты стоял умывальник, — Патрис вымыл руки, почистил зубы и быстро лег в постель: надо было успеть заснуть, прежде чем улица Палестро начнет грохотать. То ли дело домик тети Марты в Вуазен-ле-Нобле! Домик тети Марты, который стал теперь его собственным... Цветущая во дворе вишня смешалась с японским пейзажем. А Патрис между тем медленно уносился в Китай.

## VII

Патрис проснулся счастливый: Китай!

— Мама,— закричал он,— поди сюда, у меня новость!..

Г-жа Граммон появилась с такой быстротой, как будто она ожидала пробуждения сына, стоя за дверью. В подносом в руках, она улыбалась Патрису, на подносе стояли кофе с молоком, уже намазанные маслом гренки и яйцо в хорошенькой рюмочке!

— Здравствуй, Пат, как ты спал?

Она поставила поднос сыну на колени и наклонилась, чтобы его поцеловать. Щеки у нее были нежные, как потертый старинный шелк, блекло-розовый, с синими цветочками глаз и светло-желтой оторочкой мягких волос.

— Я закрою окно, у тебя прохладно...

— Мама, я еду в Китай!

Г-жа Граммон села в низкое кресло, которое стояло для такого случая около кровати, и запахла на груди большой бледно-голубой шерстяной платок.

— Когда? Почему тебя посылают в Китай?

— В путешествие, не на работу!

— В путешествие?

— Да, бесплатное путешествие... Я приглашен китайским правительством.

Патрис с явным удовольствием макал гренки в лучший во всем мире кофе.

— Китайским правительством? — повторила г-жа Граммон. — А почему китайское правительство тебя пригласило?

— Потому что таково желание Сержа.

Мать глядела на него, стараясь понять, не разыгрывает ли ее Пат.

— Ну что ж, — сказала она, — прежде чем отправиться в Китай, выпей кофе и постарайся хоть раз не пролить его на пижаму — она совсем чистая. Хочешь еще гренок?

Патрис хотел еще гренок. Он ел и рассказывал о своем разговоре с Сержем. Видя, как он счастлив, г-жа Граммон в конце концов поверила, что все это правда и что остается только пожелать, чтобы поездка действительно удалась. «Ты возьмешь меня с собой?» — спросила она кокетливо.

Ах, если бы хоть разик она могла поехать вместе с ним! Путешествовать, да еще вместе с Патом! Ведь именно она привила Патрису любовь к путешествиям... Она прочитала вместе с ним всего Жюль Верна, они вместе изучали карты, совершая воображаемые путешествия и плавания. Она всю жизнь жаждала неизвестного, необычайного, экзотического — и никогда не выезжала из Парижа, разве что в Вуазен-ле-Нобль к родственникам мужа. И один-единственный раз в горы — после того, как Патрис болел коклюшем. За вычетом незабываемых воспоминаний об этом путешествии ее горизонт ограничивался площадью Республики, где она родилась, и улицей Палестро, где она поселилась, выйдя замуж. Робер Граммон решил просить ее руки, когда получил место преподавателя в самом Париже. Он все еще занимал это место. Он не любил ни сельского хозяйства, ни преподавания, но раз уж так повелось в семье... А что же он любил? Он любил свою жену Алину. Патрис был дитя любви: его родители любили друг друга всегда и навсегда.

Патрис здесь и родился, над входом в метро, в этом уголке Парижа, задыхающемся под грузом товаров — материй, кружев, лент, фетра, соломки, перьев, жемчуга и блесков, — громоздившихся на всех пропыленных этажах, на складах, в подвалах и чуланах, где они вываливаются из картонок и коробок на полки, на пол... Патрис садился в метро среди давки Сантье<sup>1</sup>, где нагроможден приклад, из которого рождается роскошь Парижа, и уезжал отсюда лишь затем, чтобы оказаться в другой толчее, там, где за большим универсальным магазином «Весна» находится лицей Кондорсе. Он учился в этой крепости, стоящей в центре уличной суматохи и людского потока, в котором прохожих уносило, как камни. Мадам Граммон сидела на улице Палестро и ждала возвращения сына и мужа. И так прохо-

---

<sup>1</sup> Сантье — старинный квартал Парижа, в котором сосредоточена оптовая торговля упомянутыми товарами.

дили годы, и уже появилось серебро в светлом золоте ее волос, и синева ее глаз вылиняла так же, как ее синие фартуки. Каждый раз, когда речь заходила о каникулах, о том, не поехать ли в горы или к морю, надо было выбирать между поездкой и мебелью из палисандрового дерева или новым ковром, новой плитой, новым радиоприемником. В конце концов ехали на каникулы в Вуазен-ле-Нобль, где для Граммонов всегда находилось место. Но там не было водопровода и канализации, мать Патриса, парижанка, страдала от этого и только и мечтала о возвращении на улицу Палестро. Муж, конечно, следовал за ней, а Пат оставался в Вуазене один, то есть с детьми других Граммонов. Он возвращался в Париж великолепно поправившийся, загорелый, крепкий. Мать ждала его за спущенными шторами, упиваясь чтением, а отец проводил последние дни отпуска за наклеиванием марок в большие альбомы, которые Пату не разрешалось трогать. Марки были единственной связью Граммон-отца с необъятным внешним миром. Патрис был похож на отца во всем, кроме роста: Граммон старший был почти высокого роста, Граммон младший — почти маленького. «Мой маленький бычок, — говорила мать, делая новую отметку на притолоке двери после его возвращения из деревни, — невелик, но крепок!» И она с удовольствием оглядывала его широкие плечи, хорошо развитую грудь, его узкие бедра.

— Что мне прочесть о Китае? — спросила г-жа Граммон, освобождая Патриса от подноса.

— Я не знаю, посмотрим... Телефон!

Г-жа Граммон пошла к телефону. Телефон был единственным личным вкладом Патриса в дом, все остальное он доверил вкусу матери, даже обстановку своей комнаты.

— Пат, тебя...

Это был Дювернуа...

— Алло! Граммон? Как дела? Я еще не получил ответа от Ольги Геллер... Вы передали ей мою записку?

— Конечно, передал... Я же говорил вам, что с ней не легко встретиться.

— Да... Так что же мне делать?

— Ничего... Либо она вам ответит, либо нет.

— Послушайте, Граммон, мне бы все же хотелось ее повидать.

— К сожалению, ничем не могу помочь... Кроме шуток, Дювернуа, чего вы от меня хотите? Не рассчитывайте на меня. К тому же я уезжаю в Китай...

— Да ну! Вы едете к Мао Цзе-дуну?

— Не к нему лично. Я еду в Китай, и это чудесно.

— Рад за вас... Если вы собираетесь на днях в Вуан, заезжайте по дороге ко мне. Я возвращаюсь в свою берлогу.

— Я сейчас как раз туда еду... Но сегодня там будет вся семья... По традиции в пасхальный понедельник там собираются все,— все Граммоны...

— Ну что же, тогда в другой раз... До свиданья, дорогой...

Патрис положил трубку, крикнул: «Мама!» — и пошел к ней, распевая во весь голос:

Пусть дождик льет,  
Все равно народ  
На бульва-ры пойдет...

Г-жа Граммон одевалась в своей комнате. Зеркальный шкаф палисандрового дерева был открыт настежь, и видно было, что у г-жи Граммон во всем порядок. Внутренность шкафа была очень красиво отделана светлым полированным деревом, и каждый день, открывая шкаф, г-жа Граммон испытывала такое же удовольствие, как двадцать пять лет назад, когда она его купила. Уже причесанная, она рылась среди воротничков, шарфиков, платков, перчаток и вуалеток. Ее жакет с раскинутыми рукавами лежал на бледно-голубом атласном покрывале постели, а на голубом ковре с розовыми цветами ждали туфли на низких каблуках...

— Правда, идет дождь? — спросила г-жа Граммон обеспокоенно.

— Нет, светит солнце, и на дороге будет полным-полно народу!

— Мы выедем, как только вернется папа... Беги одевайся... Вот он...

Она чувствовала его приближение раньше всех. Теперь и Патрис услышал, как поворачивают ключ во входной двери, раздалось покашливание... Г-н Граммон старший вошел с нарциссами в руках.

— Поехали? — спросил он. — Это тебе, Алина.

— А мы сомневались,— сострил Патрис,— папа, я уезжаю в Китай!

— Я тебе сказала, иди одевайся!

Патрис пошел в свою комнату, откуда торжествующе неслась та же песня: «Пусть дождик льет...»

С незапамятных времен в пасхальный понедельник семейство Граммонов собиралось у кого-нибудь из своих в Вуазен-ле-Нобле. В этом году собирались у Граммона Большого, который только что выстроил новый амбар. У Граммона Большого, родного брата отца Патриса, было пять сыновей, пять белокурых великанов с плохими зубами; одним из них был Дэдэ, друг Патриса. Так как у Граммонов родились только сыновья, то все женщины, присутствовавшие на семейных сборищах, были Граммон только по мужу. Появление на свет Нини Граммон, родившейся шесть недель тому назад, было неслыханным событием в семейных анналах и вызвало самые разнообразные толки. В этот пасхальный понедельник Нини заливалась криком возле длинного стола в новом амбаре; она, несомненно, была главной персоной среди собравшихся, и за столом все Граммоны дразнили отца Нини, как будто бы его жена родила негритенка, — от кого же она?!

Высокие двери амбара были открыты во двор, где прогуливались куры, утки, собаки и кошки. Все Граммоны из Вуазен-ле-Нобля принесли свои первые цветы, и стол утопал в гиацинтах, тюльпанах, нарциссах, маргаритках и незабудках, — в вазах, горшках и даже просто на скатерти. Женщины приносили блюда из кухни, расположенной в другом конце двора. Поездка Патриса в Китай была в центре внимания и послужила поводом для разговоров о политике и войне.

Граммоны-учителя, левое крыло семьи, настаивали на опасности «европейской армии». По-разному комментировали смерть Сталина. Их Маленков — настоящая загадка! А Хрущев? Как пишется его фамилия?... Ну, знаешь ли, этого я тебе сказать не сумею!.. Говорите, что хотите, но ведь войну-то выиграли они, — где бы мы сейчас были, если бы не Сталин... В 1812 году у них не было Сталина, а у нас был Наполеон... и отступление из России! Когда народ так держится за свою землю... Ни дать ни взять — наши маки против бошей со всем их ультрасовременным вооружением. Война на чужой земле... Как в Корее или Индокитае... С таких войн всегда возвращаешься не солоно хлебавши, тут не на что рассчитывать, кроме мертвых и увечных. А тем временем... в Берлине идет другая война... Что вышло из их встречи с этим генералом Восточной Германии, как его там... Небольшое перемирие. А маршал Жуков? Ведь во время войны самый был любимый генерал. Говорят,

Сталин его терпеть не мог... Откуда тебе известно: «Ты что, звонил ему по телефону?» — как говорил Луи Жуве<sup>1</sup>... Особого рода военные, военные против войны; за мирное сосуществование капитализма и коммунизма. Совершенно ясно, что это не удовлетворит никого!.. Положение менее напряженно? Это им не на руку. Кто же будет голосовать за «европейскую армию против коммунизма!», если все враги превратятся в агнцев и голубков. Голубки с эполетами, военные, выступающие против войны! Может быть... видали и не такое! Однако сходились на том, что все это вместе с арестами профсоюзных деятелей и к тому же еще и забастовками ни к чему хорошему не приведет и принесет вред рабочим. Тетя Сюзанна, вдова одного из Граммонов, учительница в С..., соседнем городке, сидела вся красная, стараясь привести убедительные доводы против войны во Вьетнаме хозяину дома, Граммону Большому, который тоже весь раскраснелся, но только от аперитивов и различных вин, а также от обильной еды. Его гиганты сыновья, все, кроме самого младшего, Дэдэ, уже женатые и отцы семейств, обсуждали с другими вуазеновскими Граммонами животрепещущие местные вопросы — о водопроводе, о дороге и о площадке для игр... Благосостояние ста пятидесяти жителей Вуазен-ле-Нобля зависело от разрешения этих вопросов. «Вы кулаки, вот вы кто, кулаки», — говорила тетка новорожденной Нини, Мари, совсем молоденькая невестка Граммонов, странно было себе представить, что она может быть чьей-нибудь теткой, так она была молода. Она училась в Нормальной школе. «Ее звали маленькой Мари...» — запел кузен Марк, слывший в семье лодырем, но лодырь не лодырь, а при виде Мари эта песня каждому приходила в голову... Баранина таяла во рту! Весенняя баранина бывает всего нежнее, а на столе было целое стадо барашков... Всех этих барашков нарезала на кухне бабушка Граммон, хозяйка дома и мать пяти Граммонов-великанов. Это была женщина почти такого же роста, как ее муж и пятеро сыновей. Одета во все черное — лет тридцать тому назад она потеряла годовалого мальчика, — бабушка Граммон возвышалась в огромной кухне над электрической плитой и большими черными котлами, а муж и сыновья беспрекословно повиновались ей

---

<sup>1</sup> Жуве, Луи (1887—1951) — знаменитый французский актер и режиссер.

по первому взгляду или мановению руки. Будучи непревзойденной поварихой, у себя на кухне она была истинной королевой... И хотя она и пользовалась сейчас электрической плитой последнего образца, самое главное блюдо — суп — по-прежнему варилось в котле над очагом. Суп ее был так хорош, что когда Патрис уверял, что суп г-жи Кремен — матери Сержа — еще лучше, это была в его устах очень высокая похвала. Правда, супы эти были совсем разными.

Пока бабушка Граммон была занята на кухне, ее четыре невестки сновали между амбаром и кухней, им помогали жены других Граммонов, а под ногами суежилась детвора, не желавшая сидеть на месте. И вполне понятно, — для детей высидеть такой обед было невозможно. Граммон Большой был знатным едоком, но и он под конец вытер хлебом свой собственный нож, который перед едой вынул из кармана, — он был сыт по горло. Остальные, предусмотрительно приберегшие место для десерта, перешли к сыру. Тут самый красивый Граммон, тот, который служил в агентстве по продаже недвижимого имущества в соседнем городке — столице Вуазен-ле-Нобля, начал рассказывать анекдоты, и все надрывались от смеха. Он так хорошо рассказывал... «Вы знаете последний анекдот? Парня, который поступил на морскую службу, спрашивают: «Вы умеете плавать?» — «А что, — отвечает парень, — разве у вас нет кораблей?»... Временами смех раздавался так громко, что собаки начинали лаять, а кошки испуганно шарахались в сторону...

У этого Граммона язык был хорошо подвешен, он был отличным агентом по продаже. Он умел с первого взгляда безошибочно «определить» клиента: приобретает ли он недвижимое имущество для выгодной перепродажи или как главу семьи его интересует солидная собственность; ищет ли он живописную местность или интересуется качеством строительного материала, нравится ли ему современная архитектура или его привлекает старина, — словом, что ему подходит: вилла, деревянный домик, старинные стены бывших монастырей... Трудно себе представить, чего только не выдумывают клиенты, они хотят все получить за свои деньги, и даже еще больше того, рассказывал Граммон Недвижимщик маленькой Мари. То ему приходится расхваливать новый строительный камень и близость к железной дороге, то превозносить замшелые старые плиты

и мелкую черепицу, то водопровод, а то колодцы, заросшие плющом... Маленькая Мари слушала его со все возрастающим вниманием, они не виделись год, и оба были рады встрече. Мари за истекший год превратилась из ребенка в девушку, и Граммон Недвижимщик сказал ей об этом. А Мари была приятно удивлена, что в этом ее кузене по свойству — только по свойству — не было ничего деревенского. И она ему это сказала. Но ведь после того как он отбыл воинскую повинность, пять лет тому назад, он бросил сельское хозяйство... да, новое поколение охладело к полевым работам... Кроме того, Вуазен-ле-Нобль всего в 50 километрах от Парижа!.. Это ничего не значит, вы ведь знаете, что здешние жители никогда туда не ездят, они отстали на целый век... Это верно, они живут в Вуазен-ле-Нобле, как на краю света... О, достаточно поехать в С... — протестовал Граммон Недвижимщик, — он только что заново отстроен и гораздо современнее многих уголков Парижа: бары, неон, пластмасса, везде «формика» — необыкновенный материал, страшно прочный и ужасно дорогой, дороже мрамора! Граммон Недвижимщик, самый красивый из Граммонов, красавец парень, в глазах Мари выигрывал еще и оттого, что был сыном героя Сопротивления. В те времена он сам был еще мальчиком, но у него на глазах его отца расстреляли немцы, это наложило на его жизнь страшную печать... Тем не менее Граммон Недвижимщик был веселый парень, ночевал не всегда дома или, во всяком случае, часто возвращался очень поздно, и тогда все сто сорок девять жителей Вуазена слышали позвякивание его велосипеда на ухабах... Уа-ав-уа, — лаяла собака вдовы Граммон. Но не всегда Граммон Недвижимщик задерживался из-за девушек, дело в том, что он был активным членом коммунистической партии.

Считая Луизу Граммон, которая погибла в лагере, — жену Гастона, учительствовавшего в Дижоне, — Пьера Граммона, который отбывал в 1939 году воинскую повинность в Африке, потом примкнул к войскам де Голля и потонул при высадке; расстрелянного отца Граммона Недвижимщика и Патриса, сидевшего в лагере, — Граммонов, пострадавших от нацистов, было четверо. У ветви Граммонов, эмигрировавших в Шаранту, были как будто свои жертвы, но Граммоны большой земли их не считали: кто его знает, что там происходит в Шарантах. Ходили слухи, что среди тамошних Граммонов кое-кто даже сотрудничал

с немцами. Ничего удивительного, они там «слишком богаты, чтобы быть честным»<sup>1</sup>. У них в Шаранте был даже один Граммон-депутат, крайне правый — позор семьи, как говорила тетя Сюзанна, учительница в С... А Граммон Большой считал, что всем депутатам одна цена — и правым и левым, — все они разбойники и пьют нашу кровь. Его жена, бабушка Граммон, наконец севшая со всеми за стол, чтобы выпить кофе, полагала, что не следует соваться в чужие дела, но раз оба сына-депутата вышли бездельниками и негодяями, значит, и родители не больно хороши... Последняя новость, дошедшая из Шаранты через виноторговца, который туда часто ездил, была, что один из сыновей Граммонов женился на американке с сотнями миллионов долларов. Кинозвезда, как говорят... Да нет, не женился он на американке, а купил машину, говорят тебе, — американскую машину, которая стоит сотни тысяч — а не миллионов — долларов! Этот виноторговец, который распространяет легенды о шарантских Граммонах, просто врет. И вообще, если верить всему, что рассказывают люди... К тому же у этих шарантских Граммонов нет ничего общего с Граммонами, кроме имени... У того, который женился на американке... Но я же тебе говорю, что он не женился на американке... есть дочь... От кого? От машины?.. Это не важно... Дочь? Значит, это не Граммон! И шуточки насчет Нини возобновились... Много говорили и о сыне Пьера Граммона: у Пьера Граммона родился сын во время бомбардировок в Лондоне, — он был женат на англичанке. После Освобождения эта англичанка каждый год присылает письма на рождество и на пасху, она католичка, а это, говорят, редкость — англичанка и католичка... Она прислала фотографию сына бабушке Граммон, поскольку родители Пьера умерли, а брат был учителем в Шартре. Карточка переходила из рук в руки — хорошенький белокурый мальчик, ему уже десять лет... В длинных штанишках — прямо молодой человек. Патрис не будет проезжать через Англию по пути в Китай?.. Послушай, ты же училась в школе! Тетя Сюзанна ломала руки, она не переносила невежества... И она принялась ругать старшего сына Граммона Большого, который учился у нее в С..., так же как и его жена. Он должен заняться своей

---

<sup>1</sup> «Слишком богаты, чтобы быть честными» — французская поговорка.

женой, ее образованием, вместо того чтобы смеяться. Я ее люблю такой, какая она есть, ответил муж, и что я могу теперь поделаться: это ты должна была внушить ей любовь к образованию! Но Граммон Недвижимщик перевел разговор на Китай:

— А мне,— сказал он,— не к чему ездить в Китай, с меня хватит Сены-и-Уазы. Держу пари, что ты не знаешь своей страны. Например, чего далеко ходить, долина Ремарды...

— Ну, это ты преувеличиваешь, сын мой,— ответил Патрис,— я знал долину Ремарды, когда ты был еще в пленках.

— Берегись, он тебе ее всучит! В два счета ты окажешься владельцем Ремарды.

— Заткнись... Я бы сам себе с радостью купил долину Ремарды,— сказал Граммон Недвижимщик мечтательно,— ты ее знаешь, Пат, но ты ее не видел! Ты видел Рио, Буэнос-Айрес, Амазонку и Пампу, но ты, это бывает, не заметил долины Ремарды... Вот так же иногда ищешь любовь и любимую бог знает где, а счастье — у тебя под боком... Я не знаю, Пат, обратил ли ты внимание на деревья вдоль Ремарды... такие деревья никогда не растут на берегах больших рек... Небольшая узкая речка, полная до краев, а вода прозрачная, тихая, как в канале, течет между гигантских ясеней и тополей... а ивы, плачущие длинными зелеными слезами...

«Длинные зеленые слезы» вызвали всеобщий продолжительный смех. Они, несомненно, останутся в анналах семьи, их вспомнят еще не раз... И Граммон Недвижимщик тоже смеялся. Он очень старался понравиться маленькой Мари, этим и объяснялось его вдохновение. Он был вознагражден: она мужественно вступилась за него, не засмеялась и спросила: «Вы пишете, стихи, Рожэ?»

Но «зеленым слезам» положила конец вбежавшая во двор барышня с почты — куры бешено закудахтали, собаки залаяли, а барышня, еле переводя дух, еще издали закричала: «Патриса к телефону!».— «Жозет, садись, выпей чашечку кофе!», — но она исчезла, так же вихрем, как и появилась: ведь пока она бегала, на почте ее некому было заменить! «Патрис, скорее!» — крикнула она, огибая стену двора. Патрис помчался за ней, на бегу прижимая локти к бокам.

Это была мадам Х... Она находилась поблизости, с друзьями, ей хотелось посмотреть его домик... Он очень сожалеет, но это невозможно, совершенно невозможно... Она настаивала — они привезли с собой еду... Хотели устроить ему сюрприз, им будет обидно уехать ни с чем. Он очень сожалеет, но, если бы она его предупредила, он бы ей сразу сказал, что в пасхальный понедельник это невозможно, в этот день он каждый год бывает занят. Лангусты?.. Ради бога! Он и слышать не может о еде! С одиннадцати часов он только и делает, что ест, а сейчас уже третий час... Да, в деревне рано обедают. Нет, не раньше вторника... да, да... Патрис повесил трубку.

Ну вот, она рассердилась... Жозет, выдававшая деньги папаше Ламурэ, дружески подмигнула Патрису... Патрис медленно шел по дороге. Маленькие, прислонившиеся друг к другу, покосившиеся домики казались в этот час пустыми, да так оно и было, потому что все Граммоны были на обеде. И даже поля казались опустевшими из-за обеда Граммонов. Около фермы Граммона Большого стояли самые различные средства передвижения: малолитражка, грузовичок, черный ситроэн, повозка с лошадью, привязанной к телеграфному столбу, велосипеды... Со двора неслись песни, смех.

Потому что уже подошло время петь. У Граммона Недвижимщика была гитара, и он знал все песни Ива Монтана... Но он не имел такого успеха, как дуэт Алины Граммон, матери Патриса, с его молчаливым тихим отцом. У Алины Граммон был прекрасный свежий голос. Им бешено аплодировали. Разбуженная Нини закричала... Ее мать прибежала с соской... женщины стали убирать со стола, на кухне уже мыли посуду. Ну, клопы, живо спать, а то с вами нет никакого покоя! Мужчины тоже располагали соснуть, кто в комнате, кто в старом амбаре на сене. Граммон Недвижимщик повел маленькую Мари полюбоваться на зазеленевшую рожицу. Патрис и его родители отправились в домик тети Марты, теперь принадлежащий Патрису, чтобы обсудить хозяйственные вопросы. Если Патрис уедет в Китай, его родители приедут сюда на каникулы и последят за ремонтом. Как всегда, домик поразила Патриса. Достаточно ему было закрыть за собой старые ворота, чтобы очутиться в царстве мира и тишины. Домик походил на водяную лилию, застывшую среди спокойной глади пруда... Покой и тишина были обволаки-

вающими, неподвижными, но живыми и нежными... Отчего этот старенький домик так трогателен? У Алины Граммон на глазах навернулись слезы, муж сжал ее руку в своей руке.

— Я рада, что это: домик твой, Пат,— сказала мать,— если бы только все это могло так продолжаться...

Она не стала объяснять, что именно она имела в виду.

Патрис влез в окно, которое, как всегда, не сразу, но поддалось, и открыл дверь изнутри. Они обошли дом сверху донизу... Здесь надо снять перегородку... тут переделывать чердак... краска облезла. Отец Патриса любил разные домашние поделки, а Дэдэ ему поможет. Папаша Ламурэ вполне мог бы заняться выгребной ямой, пусть только выберет время. Что касается огорода, тетя Сюзанна даст рассады и луковицы тюльпанов и гиацинтов — у нее в саду их столько, что девать некуда. А лентяй Марк может раз в жизни потрудиться и вскопать огород — такая работа папе уже не под силу. Если бы Патрис не уезжал, он бы сделал это сам, но так как он уезжает... Так как он всегда уезжает!.. Пришлось бы ждать десять лет, пока он займется всем сам. Пусть он не беспокоится — без него все прекрасно сделают, и именно так, как он хочет... Но после такого обеда остается только лечь! И поскольку наверху стояла удобная постель тети Марты, они решили пойти соснуть.

Предоставив родителям отдыхать, Патрис спустился в сад и сел на шаткую скамейку. Дрозды, которые скоро начнут клевать его вишни, чирикали где-то поблизости... Патрис в детстве всегда разорял их гнезда, однако это не мешало им уничтожать вкусные вишни тетки Марты. В Китае тоже будут вишневые деревья... Нет, это в Японии... Не все ли равно... Перед глазами Патриса поплыли розовые цветы, он задремал.

## VIII

Целое путешествие по коридору, сначала широкому и прямому с двустворчатыми дверями по обеим сторонам, потом, после поворота под острым углом, — узкий проход, несколько ступенек, еще более крутой поворот — и вы возвращаетесь обратно. И наконец коридор упирается в номер 417.

Она опять встретила в коридоре белокурое изваяние... «Гранд-отель Терминюс» — великолепная гостиница, и даже ночных дежурных там держат великолепных. Пышное белое платье упало на ковер, распластавшись, как парашют. Открыть окно... воздуха... Ольга вышла на балкон.

Ночь была светлая. Почти белая ночь... как в Ленинграде, городе, где протекло ее детство. Небо цвета воздуха, цвета воды. Париж... Над ночной пустыней занималось утро цвета синеватого городского молока. Ольга чувствовала, как растворяется в Париже, подобно льдинке, тающей в воде... Но никогда она не говорила, даже шепотом, даже наедине с собой, «мой Париж». Несмотря на теплый халат, ее знобило... Лечь в постель. Заснуть.

Постель, логово человека. Своя постель, одна и та же каждую ночь, постель, к которой возвращаешься после дневных блужданий. Любить, родиться и умереть в постели — это естественно, это хорошо. Тайны постели... где человек — в одиночестве, вдвоем. Ольга лежала, натянув одеяло до подбородка. Простыни, саван на живом, теплом теле... пока мотор в голове продолжает работать и готовится продолжение дней и ночей. А мысли? Они рождаются в постели, как дети? Постель — родина одиноких, лишенных родины людей... Но, может быть, и на том спасибо, может быть, главное — это одеяло, которым можно укрыться с головой... в этой ли, другой ли постели. Просто одеяло, чтобы укрыться от чужих глаз. Но разве ночи,

одной только ночи, недостаточно? Ночь — родина одиноких, лишенных родины... Ночь укроет лучше всех покровов, закрытых дверей, бронированных стен. Даже у самого обездоленного из людей остается прибежище — глубокий сон, который освобождает человека от самого себя.

В тишине и теплой темноте комнаты Ольга изо всех сил старалась насладиться мягкой постелью. Постель... где в течение нескольких часов вас не настигают ни голоса, ни взгляды, ни мысли других... Альковные тайны. Бывает, альков таит совсем не то, что приходит людям в голову. Ольге казалось, что ее засыпало песком в бездонных глубинах гостиницы, что на нее все набрасывают и набрасывают песок, лопата за лопатой... песок забивается в ноздри, в горло, в грудь... Она задыхается! Ольга вскрикнула и проснулась. Зажгла свет: пять часов... У нее сердцебиение. Она взяла книгу, прочла несколько страниц и снова заснула.

Со скорым в семь пятнадцать прибыли путешественники. Портье, посыльные, все служащие отеля были на местах. Коридорные бегом спускались со своих этажей за багажом. Огромный вестибюль, днем еще больше, чем ночью, похожий на песчаный пляж, ожил, люди сновали взад и вперед среди песочного цвета ковров, стен, кресел и диванов. Отель был старый, в нем некогда останавливались коронованные особы, — здесь не экономили за счет клиентов: предпочитали получать с них за удобства, за величину комнат, толщину ковров, за фаянсовые ванны и двухместные умывальники, за красное дерево кроватей, отделанное бронзой, за множество ламп, которые можно зажигать в отдельности или все одновременно, за тонкие простыни, мягкость постелей, за удобные кресла, за комоды и зеркальные шкафы, за этажерки и туалетные столики, не говоря уже о стоимости излишней площади. Стены были глухие, непроницаемые, повсюду двойные двери, вода в ванной — кипяток, а обслуживание быстрое, бесшумное и вежливое.

Портье собирался заняться разборкой почты, когда вошел сам полицейский комиссар квартала. «Чем могу быть вам полезен, господин комиссар? Опять мадам Геллер! Но я уже сообщил вам все, что знал... Нет, нового ничего нет, господин комиссар... Как жила, так и живет... Я уже говорил вам, что она не принимает мужчин, и с

прошлого раза ничего не изменилось. «Как по-вашему, мосье Блан,— сказал комиссар,— белая она или красная?»

Портье был в отчаянии: надо же было прийти и мешать ему в самое горячее время, когда клиенты просыпаются, приезжают и уезжают, телефон звонит не переставая, пришла почта и всем разом что-то требуется от портье...

— Я бы рад вам помочь, господин комиссар, но я понятия не имею. Насколько мне известно, мадам Геллер не занимается политикой. Она выходит редко, не принимает у себя мужчин, каждый день ходит на работу на улицу Ла-Бозси, где вы и могли бы навести справки.

— Это странно,— заметил комиссар,— ведь она совсем недурна. И какая осанка! Ее можно принять за великую княгиню... Как вы объясняете это отсутствие мужчины?

Портье над этим не задумывался. Есть женщины, которые не чувствуют необходимости... Или она занимается этим в другом месте. Во всяком случае, не в отеле. Иногда она появляется в вечернем платье. Случается, что за ней заходят, чтобы проводить ее на обед или, может быть, в кино,— портье ничего определенного не знает! Она серьезная женщина, а когда целый день работаешь...

— Послушайте, Блан,— сказал комиссар несколько нетерпеливо,— я ничего не могу поделать, когда меня заваливают анонимными письмами, доносами, что она советский агент...

— Я этому не верю, господин комиссар,— бросайте письма в корзину. Такие вещи следовало бы запретить... Посмотрите, сколько раз вас понапрасну беспокоили...

— Мне надо серьезно поговорить с вами, Блан...

Портье ничего не оставалось делать, как уступить свое место помощнику и пойти с комиссаром в закуток, за доской, на которой висели ключи и за которой ночью располагались Карлос и Фернандо. Комиссар хотел наконец объяснить портье, кто такая эта Ольга Геллер, из-за которой ему, комиссару, столько раз приходится тревожиться... Ольга Геллер — дочь Р... — помните, который остался у нас, не вернулся назад с советской делегацией... Это тогда, году в двадцать восьмом... наделало столько шума... Быть не может! Почему же он ему раньше не сказал? Хотя это ничего не меняет... Ведь в то время она была, наверное, совсем маленькая... Да, настаивал комиссар, но привязанности, связи, наклонности, кровь... Но как же так, сказал портье, если ее отец был Р..., почему она —

Геллер? Ей выдали соответствующие документы... Подобные дела ведутся в таких высоких сферах, где могут выдать какие угодно бумаги. Однако странное имя они ей вы- брали... Родители ее умерли. Отец был человеком до- вольно-таки сомнительным. Ему, конечно, за это было за- плачено — кто платил, он мне об этом не докладывал! Но, по-видимому, сумма была приличная, так как, «выбрав сво- боду»<sup>1</sup>, он начал вести широкий образ жизни. Вилла на Лазурном берегу, машина с собственным шофером. Дочь — эта самая Ольга — никогда не ходила в школу, ее обучали дома. Но отец был игрок, а то, что он не успел просадить, мать растранижирила после его смерти. Да, если Ольга по- шла в отца или в мать!.. Не успев похоронить мать, она вышла замуж за какого-то поляка-проходимца, а через ме- сяц уже просила развода, долго дожидаться не стала... Похоже, что она и замуж-то вышла, чтобы избавиться от своего опекуна, русского белогвардейца. Но, несмотря на все разъяснения комиссара, портье повторял: «Как хотите, господин комиссар, я могу только повторить то, что я уже сказал. Если у мадам Геллер и были в жизни несчастья...»

Комиссар удалился, а портье вернулся к своим обязан- ностям. Как раз в это время Ольга Геллер выходила из лифта — как обычно, точно в девять. Она прошла через вестибюль в светлом весеннем пальто с непокрытой головой... Портье любовался, как знаток, ее походкой, красивыми ногами... ему ведь целый день приходилось смотреть на элегантных женщин... Ольга протянула ему ключ и улыбнулась, не подозревая, скольким обязана этому портье с крысиной мордочкой.

— Как поживаете, мадам Геллер?

— Погода чудесная, — ответила она, — настоящая весна.

Уже много лет Ольга жила так, как живут путешествен- ники. Ведь вполне естественно быть на положении временно проживающей, если ты всего лишь иностранка, пусть тебе даже и выдали туземный паспорт. Она с удивлением вспо- минала те времена, когда жила по-другому.

Как далеко отошло все это... Где-то за гранью жизни осталась Нева, белые ночи, набережные, мосты, величие,

---

<sup>1</sup> «Я выбрал свободу» — название книги Кравченко, ставшее ходячим выражением.

безграничные пространства... Красный галстук пионерки, подружки, друзья, школа, прогулки, детские секреты, море... ученье... А потом Париж... Скандал... Вилла на Лазурном берегу, где она долго жила затворницей, отказываясь выходить за пределы громадного парка, сгорая от стыда, распятая стыдом. Толстый рыжий человек, который звался ее отцом, избегал ее. Однажды утром его нашли мертвым. Мать вставала с постели только под вечер, чтобы идти в казино. Ольге было шестнадцать лет, когда умерла и мать. Вся ненависть Ольги сосредоточилась на опекуне, на том самом человеке, который подстроил перебежку отца. Она поспешно вышла замуж за своего учителя французского языка, единственного мужчину, который оказался у нее под рукой,— это был поляк, который ненавидел русских. Ольга заранее решила тут же развестись с ним и освободиться от какой бы то ни было опеки. Она обладала спокойной и дикой энергией, закаленной горем и отчаянием. Муж увез ее в Париж, в унылый дом, пытался даже бить ее, но достиг этим только ускорения развода. Ольга переехала в отель, продала драгоценности матери, поступила в школу прикладного искусства, стала завсегдатаем Монпарнаса... После окончания школы она получила мелкую должность в рекламной конторе, познакомилась там с Сюзи и переехала к ней жить. Ей было двадцать лет. Это было давно-давно...

Как могла она прожить так долго у Сюзи Кергуэль, в ее особнячке, где жили девушки из «хороших семейств», иностранки и провинциалки, приехавшие в Париж учиться или работать! Ольга занимала тогда небольшую должность в конторе, которой она теперь управляла, и жалованье ее в те времена было более чем скромным. Сюзи работала там же и предложила Ольге комнату у себя. Сюзи принадлежала к старинному, но совершенно разорившемуся дворянскому роду, у нее было много вкуса и мало денег. Большинство девушек, разделявших с ней ее особнячок, было в таком же положении. Между ними существовало молчаливое соглашение, по которому все их заботы были сосредоточены только на гостиней в первом этаже, обставленной в английском вкусе, с полированным красным деревом и большими креслами перед камином. Зато в комнате Ольги совсем не было отопления, и Сюзи поставила туда старые разрозненные стулья и походную кровать, от спанья на которой у Ольги ломило все тело. Ванная всегда

оказывалась занятой, да к тому же там никогда не было ни капли горячей воды, а на полу вечно стояли лужи и повсюду валялись мокрые полотенца. В гостиной Ольгу — иностранку неопределенного круга — встречали с кислой миной. Если бы не Сюзи, которая знала, что Ольгину комнату трудно сдать кому-нибудь другому, остальные квартирантки с радостью бы ее выжили... Поэтому Ольга возвращалась домой как можно позже и проводила все свободное время на Монпарнасе. Случалось, что Сюзи сопровождала ее; Сюзи любила общество, а Монпарнас был в конце концов тоже «обществом», и небезынтересным. Она садилась рядом с Сержем или еще с каким-нибудь завсегдатаем кафе «Дом» и, заплатив за свой аперитив, возвращалась домой в машине, которую сама вела своими маленькими энергичными ручками, на одном из пальчиков которых был надет старинный перстень-печатка с короной. Тогда она еще не была замужем. На нее приятно было смотреть — выхоленная от прически до кончиков пальцев, практичная, а вкуса — больше, чем на всех страницах «Мари-Клэр»<sup>1</sup>. Она долго не решалась на замужество. Ей хотелось выйти за дворянина, хотя бы даже без титула. И только после войны она вышла замуж за атташе посольства, моложе ее и без состояния, но аристократа и со связями. Выбирать было уже не время — Сюзи превращалась в старую деву.

Оказалось, что порвать с Сюзи труднее, чем бросить мужа. Ольга продолжала жить в особняке... в конце концов ее здесь никто не бил. Совсем незначительное происшествие помогло ей уехать от Сюзи и вновь поселиться в отеле... Это было давно-давно...

С тех пор... Многое было с тех пор... Молодая, одинокая... Друзья по Монпарнасу были друзьями лишь на несколько часов, они не являлись составной частью ее жизни, не входили в нее органически. Ольга казалась им загадочной: они не могли себе представить, что в ее жизни не было ничего, кроме работы в конторе и Монпарнаса! В ее жизни не было центра, сердца, оси, вокруг которой вертится все остальное, не было того, что заставляет человека спешить, считать минуты... У монпарнасцев, у тех была живопись, восторги и отчаяние, удачи и неудачи, у них были торговцы картинами, контракты, трудные минуты... И была любовь, любовь, которой жила эта моло-

<sup>1</sup> «Мари-Клэр» — женский многотиражный журнал.

дежь, принося ей в жертву живопись и все остальное. Любовь была повсюду — на улице, в особнячке Сюзи. Чем объяснить, что у Ольги не было ни любви, ни возлюбленных? У мужчины можно было бы объяснить это, например, бессилием, но почему у этой красивой девушки не было любовников?

Сердце Ольги свела как бы судорога. Оно не билось, а содрогалось, а тело ее застыло, как от зимней стужи. Родина, родители, муж... Ей во всем не везло. Сердце Ольги свела судорога и не отпускала его. Она жила, как монахиня, но у настоящей монахини жизнь заполнена верой, а Ольга не верила ни во что. Все, что она делала, она делала, чтобы чем-нибудь заполнить пустоту... Ей по необходимости приходилось зарабатывать на жизнь, столько же времени у нее уходило на чтение, она проводила долгие часы в библиотеках или читала в комнате отеля по ночам, — она училась так же упорно, как если бы изучала обязательный курс на литературном факультете. У Ольги был такой склад ума, что из нее вышел бы прекрасный игрок в шахматы, а ведь шахматы, как и футбол, игра не женская. Она искала в философии вообще, а в марксизме в частности равновесия, защиты против судьбы, которую ей всучил обманщик-случай. Да, защиты против окружавшего ее мира и творившихся в нем дел.

Но в один прекрасный день она все-таки встретила его, того человека, из-за которого сердце ее согрелось, отошло, застучало, кровь стремительно потекла по всему телу. Ольга полюбила во всей красе своих двадцати пяти лет. Тот, кого она полюбила, принадлежал к чуждому ей миру, он был винтиком того самого механизма, который выставил Ольгу за дверь. Он не годился ни на что другое, и «извлечь» его можно было бы только в том случае, если бы развалился весь механизм. Ольга и этот человек могли быть только врагами. Обливаясь кровью, они разошлись. Счастье, что он должен был уехать на другой край света. 1939 год помешал Ольге покончить с собой. Мир был в огне и крови, и она не могла себе позволить заниматься собственной персоной. Несчастье — вещь относительная, а Ольге были свойственны и чувство юмора и чувство долга. И вот во время оккупации она, как известно, героически участвовала в Сопротивлении. Но в тот момент, когда другие вышли из «ночи и тумана», она, наоборот, погрузилась в них, или, вернее, вновь погрузилась.

Опять началась ее одинокая жизнь, лишенная любви. Какое внутреннее опустошение скрывали ее лицо и тело, вызывавшие восхищение! Сколько внешней гармонии и какой беспорядок внутри... Она уже приближалась к сорока, но по-прежнему была одинокой и недосыгаемой, мучительно влача не свой крест, а чужую судьбу, которая досталась ей по ошибке. Комиссар был прав: что-то в ее жизни было противоестественно! Только аномалия эта была присуща не самой Ольге. Напрасно Серж пытался протянуть ей руку, привлечь ее в партию, она не поддавалась, держалась на расстоянии, всегда, однако, готовая сделать все, о чем бы Серж ни попросил ее, но никогда не показываясь, упаси боже, никогда не показываясь... Ольга не хотела, чтобы ей когда-нибудь напомнили, чья она дочь. Эта женщина была создана для большой жизни у всех на глазах, для широкой совместной деятельности с большой семьей, называемой человечеством. А теперь из-за ошибки, поставившей ее не на те рельсы, она жила окутанная мглой и туманом, и все ее таланты шли на пользу только одному г-ну Арчибальду, ее патрону.

Отчего он и был безумно в нее влюблен. Это было уютно, и Ольга часто подумывала, не переменить ли ей место работы. Но как могла она уйти к конкуренту, предать г-на Арчибальда, единственная вина которого была в том, что он ее любил! Переменить профессию, привычки? На это у нее не хватало энергии. Ольга ставила г-на Арчибальда на место и время от времени, по возможности реже, соглашалась провести вечер с г-ном Арчибальдом и особенно ценными для него клиентами. Одно ее присутствие устраивало дела патрона: хотя при ней и не обсуждали деловых вопросов, но клиентам было как-то неловко торговаться, раз такая аристократически прекрасная дама участвовала в предприятии. Г-н Арчибальд был убежден, что если бы Ольга ушла, то ему пришлось бы закрыть контору. Вот как обстояло дело...

Ольга взглянула на часы: она опаздывала! Погода была так хороша, так хороша, что ей хотелось пройтись пешком, не покидать неба и солнца для подземелья метро. Ольга остановила такси, указала адрес: «Улица Ла-Бозси». И, как всегда, точно вовремя прошла в свой большой директорский кабинет.

## IX

Постоянным местопребыванием Дювернуа был полуразрушенный замок, в котором его навещал Патрис. В Париже Дювернуа останавливался у одной приятельницы, которая предоставила в его распоряжение комнату в своей огромной квартире. Комнату и смежные с ней маленький кабинет и ванную. У него был свой телефон и отдельный выход, на пол-этажа выше парадной двери квартиры. В старых парижских зданиях встречаются такие архитектурные странности — тайники, которые не легко обнаружить, узкие лесенки, ведущие в комнаты, о наличии которых вы и не догадывались... Маленькая квартира Дювернуа как раз была расположена в одном из таких тайников, в двойном потолке одного из этажей красивого большого старинного здания, стоявшего в глубине двора, с воротами, уже много веков охраняемыми двумя изъеденными временем львами. Богатство и вкус многих поколений, а также и искусство, с каким теперешняя хозяйка дома сумела сохранить и оживить существовавшую до нее атмосферу, делали из этого дома Шестого района Парижа место, уготованное для счастья.

Приятельница Дювернуа, когда бывала в Париже, вела бурную светскую жизнь, да и личная ее жизнь была весьма наполнена; она часто уезжала, но дом ее всегда оставался в распоряжении Дювернуа, не только жилой, но и в полном порядке, как если бы хозяйка его не покидала. Квартира прекрасно отапливалась зимой; летом ставни были вовремя закрыты, в вазах стояли цветы; а в кабинете Дювернуа всегда был накрыт стол на случай, если он пожелает поесть у себя; постель была постлана... Ему здесь было куда лучше, чем на холостяцкой квартире, — все удобства и никаких забот.

Дювернуа поставил машину во дворе, взял свой старый, почерневший от времени кожаный чемодан и по лестнице со ступеньками из пористого камня, с красивыми перилами из кованого железа поднялся на два высоких этажа, прыжком одолел маленькую добавочную лесенку и открыл дверь своим ключом. Он прошел прямо в ванную, открыл краны и, пока ванна наполнялась, позвонил по внутреннему телефону: Нет, мадам в Италии... моесь будет завтракать дома?.. Если моесь хочет зажечь огонь в камине, ему стоит только поднести спичку... Дювернуа принял ванну, побрился... все его туалетные принадлежности, халат, ночные туфли были аккуратно разложены в стенном шкафу. После беспорядочной жизни в замке здешний комфорт всегда был ему приятен. На мраморном камине маленькие часы с колонками мелодично пробили час. Дювернуа, прыгая через две ступеньки, спустился с лестницы, у него было назначено свиданье с князем Н... в русском ресторане.

Князь уже был там, окруженный целым роем официантов в белых русских рубашках: «Здравствуйте, дорогой полковник, не извиняйтесь, я пришел раньше, чем было условлено...» Князь говорил по-французски без малейшего акцента, но он отличался колоссальным ростом, у него была почти белая грива волос, круглое лицо с черными выпуклыми глазами и черными мохнатыми бровями, двойной подбородок и тройной живот — словом, это была величественная фигура, какую не часто встретишь во Франции. Дювернуа сел напротив этого своеобразного Петра Великого, который занимал так много места на красной плюшевой банкетке, что рядом с ним сесть было негде. В довольно большом зале, красном с белым и кое-где с золотом, было мало народа. Грузин в мягких сапогах пронес к столу в глубине, где завтракали несколько мужчин, шашлык на шампурах, длинных, как шпаги. Князь сделал в направлении столика приветственный жест, как бы одобряя появление шашлыка. Американская супружеская пара просила разъяснить им меню... Какой-то человек, сидя в одиночестве, видимо, кого-то поджидал в компании графинчика водки. Прерванное приходом Дювернуа совещание между князем и официантами возобновилось, а тем временем на стол ставили запотевший графинчик водки, икру, лососину, маринованные грибы, селедку, копченого

угря... все то, что само собой разумеется и чего не надо заказывать... «Я с вами не советуюсь, полковник,— сказал князь,— положитесь на меня». Наконец жребий был брошен, и официанты разбежались. Дювернуа забавлялся, он любил время от времени пойти в русский ресторан, не только из-за кухни, но и из-за атмосферы, из-за того, как вас там встречают, из-за сочувствия, с каким относятся к вашим вкусам, к испытываемому вами гастрономическому наслаждению и действию на вас водки и всего прочего. Можно даже сказать, что по мере воздействия на вас водки симпатия и благожелательное уважение к вам обслуживающих лиц все увеличиваются.

— Эти сукины дети на все способны,— сказал князь со вздохом,— за ними надо следить в оба. Во-первых, прежде чем есть рыбу, я хочу поглядеть ее живой! В прошлый раз мне подали черт знает что! Сюда ходит слишком много американцев, вот и начали подавать что попало...

Голос князя был плаксив и грустен. Но Дювернуа уже знал по опыту, что, когда с церемонией заказа будет покончено, князь станет приятнейшим собеседником, начнет говорить о том о сем, рассказывать, развлекать. И правда, покончив с гастрономическими заботами, князь начал во всех подробностях рассказывать, как он достал автограф письма Пушкина... Длинная история о том, как он посетил сначала того, потом другого... Князь говорил о Пушкине с такой осведомленностью, называя его запросто Александром Сергеевичем, будто был его закадычным другом. Но разговор принял желательный оборот только после гуся с яблоками.

— Как могу я быть заодно с теми, кто у меня все отнял,— говорил князь,— прошу вас, возьмите этот кусочек с поджаристой корочкой! Это было бы противоестественно, не по-человечески. Если вам рассказать об всем, что я потерял... Дворцы, заводы, шахты, тысячи гектаров... Но, представьте себе, полковник, больше всего мне жалко нашего старинного дома под Москвой, в ста километрах от Москвы — старая усадьба, вроде тех, о которых вы наверно читали в романах Тургенева... Большой деревянный дом с террасой... Громадный парк, тенистые аллеи, липы... березы... деревянные беседки с ветхими ступеньками, пруд с лилиями... Знаете, стоит мне только сосредоточиться, и, как будто это было вчера, я слышу шелест камыша с бархатными головками, когда в него врзается лодка... вижу

большую соломенную шляпу моей невесты, ее пальцы в воде, ее мокрые пальцы в моей руке... Все это банально, как молодость, мой друг, но это ведь моя молодость... Как же мне от нее отказаться?.. Крестьяне подожгли мой дом. Все сгорело — липы, березы... великолепная библиотека, редкая мебель, портреты моих предков... Они сожгли мою юность, запахи парка, ночи, проведенные под окном любимой... Они сожгли мои пейзажи, мои привычки, звук русской речи в моих ушах...

Князь говорил вполголоса, высоко подняв голову, подняв брови, чтобы поверх лысины Дювернуа не упустить из виду метрдотеля, который приготавливал что-то за столиком на колесиках. «Не кладите мне в салат слишком много укуса!» — кричал князь.

— Да,— сказал Дювернуа,— я вас понимаю, нельзя спорить, ваши чувства естественны, законны... Но с течением времени пора бы им притупиться... А тем временем развернулось ведь то, что можно противопоставить этим эксцессам...

Князь оторвался от салата и перенес свое внимание на Дювернуа.

— Да,— продолжал тот,— что вы об этом думаете? О том, что сделали большевики, с тех пор как они сожгли вашу библиотеку?.. Вы же не будете отрицать, что в вашей отсталой стране совершились великие преобразования. Я говорю не о средствах, а о результатах.

Черные выпуклые глаза князя на мгновение встретились с глазами Дювернуа, рот его открылся в лукавой улыбке, обнажившей крепкие желтые зубы, напоминавшие о тех далеких временах, когда князь, как говорят, был неотразим. Он попытался перегнуться через стол настолько, насколько ему позволяли размеры живота, и сказал вполголоса:

— Почему это вы мне задаете такие каверзные вопросы, мой дорогой полковник? Может быть, вы собираетесь написать роман?.. А? На какую тему? Или за этим кроется другое? Что?..— и князь продолжал нормальным голосом, выпрямившись и принимаясь за салат: — Видите ли, мой дорогой, они сожгли не только мою библиотеку... Они сожгли целую эпоху, вместе с ее романтизмом... Они взяли историю в свои мозолистые руки...

Дювернуа помрачнел, он почувствовал себя смешным. Романист, собирающий материалы! Но князь был слишком

тонок, чтобы настаивать. Он уже говорил о другом... И обидчивому Дювернуа казалось, что князь говорит ему: «Как хочешь, дорогой мой, но не пробуй меня провести...», а князь в это время просто спрашивал, как поживает Кристина, очаровательная хозяйка Дювернуа, оценивал последние спектакли, говорил о «Вишневом саде», который Жан-Луи Барро собирается поставить, — конечно, это будет неплохо, но если бы Дювернуа видел «Вишневый сад» у Станиславского с Книппер-Чеховой в роли Раневской, знаете, эта сцена во втором акте, когда у нее из кошелька падают золотые монеты и она говорит: «Посыпались...» По-русски достаточно одного слова: «Посыпались...» Одно слово! А что оно выражает: «Презренный металл... источник забот... опять эти деньги... тем хуже, вот всегда так... что я могу поделаться?» и так далее. Книппер все это вкладывала в одно только слово...

— Да, действительно, — сказал Дювернуа, все еще недовольный.

— Вы не находите, — продолжал князь невозмутимо, — что можно определить характер человека по тому, как он обращается с деньгами — бумажками, монетами? Почти всегда у человека при этом бывает жалкий, несчастный вид... Я сделал целую серию рисунков... руки и деньги! Руки домохозяек, рабочего, руки женщины в кольцах, руки игрока...

Изумленный Дювернуа позабыл про свою досаду. Князь рисует?.. Ну да, немного... Это — его любимое развлечение, но только развлечение... Кстати... И князь заговорил о выставках, потом перешел на сплетни — и рассказал несколько непристойных анекдотов, он был склонен к этого рода юмору. По правде говоря, Дювернуа уже чувствовал, что отяжелел, а князь был совершенно свеж и все больше входил во вкус беседы. Теперь он говорил о шаткости правительства, о том, что на родовитость сейчас обращают мало внимания... Сегодня настоящие коронованные особы — это кинозвезды, а «прекрасные принцы» — сыновья владельцев трестов...

— Вы необыкновенно трезво рассуждаете, князь, — заметил Дювернуа, чтобы поддержать разговор, — у меня много друзей среди русских аристократов, и уверяю вас, что они продолжают считать себя солью земли!

— Но мы и есть соль земли! — сказал князь запальчиво, снова устремив взгляд через голову Дювернуа на сто-

лик на колесиках, у которого метрдотель священнодействовал с помощью нескольких официантов: он жарил блинчики. Князь отвлекся и подумал, что лысина Дювернуа похожа на блин. Но он оторвался от ее созерцания и вернулся к разговору... Он говорил о всеобщем огрубении и утверждал, что аристократы всегда были и остаются солью земли, но что теперь их стремятся закопать в землю: «Нас закапывают, мой дорогой, нас закапывают!»... И князь, чтобы Дювернуа лучше его понял, показал рукой, украшенной перстнем с сапфиром — подарок царя его отцу, — как их закапывают... Что осталось от аристократии? Несколько старых обломков вроде князя, которые связаны тесными узами со знатными родами Франции, Англии, Австрии... ведь все они между собой кузены в той или иной степени... Поэтому-то князь мог бы жить целый год, не тратя ни гроша, гостить то у одного, то у другого, по всей Европе... К счастью, он до этого еще не дошел, у него есть собственные средства, но если бы у него их не было... Он повсюду встречал бы сочувствие, солидарность, неустанную заботу...

Дювернуа думал о том, чего недоговаривал князь, — он хорошо помнил, как на приеме у Кристины заговорили о князе, не успел тот уйти из салона... говорили, что у русских аристократов нет денег, но что князь Н... поразительный делец, он не просто заработал большие деньги, но умудрился заработать их за счет большевиков! Вспомнили дело с советскими векселями двадцатых годов, когда русские покупали во Франции товары, а платили за них векселями. Французские капиталисты, спешили избавиться от этих векселей, выбрасывая их на рынок по низким ценам: они предпочитали заработать меньше, но наверняка. Надо думать, что князь доверял советскому правительству, потому что он скупил много таких векселей. А потом Советы честно оплатили свои векселя, и князь выиграл на этом деле целое состояние, огромное состояние, говорят. К тому же он, как специалист по русским вопросам, имел большое влияние на Кэ-д'Орсей, где у него было много друзей. Ведь князя Н... из поколения в поколение были тесно связаны с французским посольством в Петербурге... Дювернуа забавно было слушать, как князь распространялся о положении громадного большинства мелкобуржуазных дворян. Такие дворяне, говорил он, начинают пролетаризироваться. В наше время благородное происхождение уже не служит

рекомендацией даже для поступления в какое-нибудь торговое предприятие на тридцать тысяч франков в месяц или для того, чтобы девушку приняли в качестве манекенщицы в какое-нибудь ателье... Что касается молодого поколения, родившегося во Франции, то эти мальчики и девочки совершенно офранцузились, ассимилировались — или же, наоборот, озлобились, бесятся и яростно превозносят родину, которой никогда не видели... Они не могут себе позволить даже того, что служило утешением их родителям, — рассказывать сказки о блестящем прошлом, об имениях, которых у них никогда не было, о тройках и о степи! Родители их, мелкие разночинцы, те, пользуясь невозможностью проверить, могли сочинять сколько угодно для собственного утешения, а иногда и вымогая деньги... Нет ничего вульгарнее этих людей, мой дорогой, плохой бульварный роман и тот правдивее, чем они.

Пожалуй, князь стал говорить несколько быстрее, словно он торопился поскорее высказать все, что было у него на уме... Речь его неслась бурным потоком. Франция их прекрасно приняла. Даже консьержки были растроганы несчастьями русских эмигрантов... — К тому же все мои соотечественники — люди работающие, они согласны на любую работу — шоферами такси, официантами в ресторанах, каменщиками, мойщиками стекол... Одно время заводы Рено положительно превратились в русские. Несмотря на то, что мой народ — прирожденные кустари... А эти дураки, там, хотят их коллективизировать, они не понимают, что русский человек, русский крестьянин хочет прежде всего иметь с в о й клочок земли, с в о ю лошадь, и это ему дороже жизни... Попробуйте представить себе французского крестьянина в подобных же обстоятельствах... Все крестьяне похожи друг на друга... Потом князь растроганно заговорил о доброте французов по отношению к русским эмигрантам... к «белым», как говорят. Были случаи поразительной щедрости и помощи со стороны самых простых людей... Казалось, князь твердо решил не говорить ничего, кроме общих мест. О новом положении, создавшемся после смерти Сталина, он не проронил ни слова.

Дювернуа все это начало надоедать. Он с завистью смотрел на китайские тени, проходившие за матовыми стеклами ресторана: солнце било прямо в окно, один луч рассек зал надвое, скользнул по красному бархату банкетов,

стен, ковров, заиграл на золоте зеркал, засверкал на белоснежных накрахмаленных скатертях, на русских рубашках официантов... Дювернуа невыносимо захотелось выйти, подышать воздухом... В глубине зала знакомые князя платили по счету. Американская супружеская пара уже давно ушла. Одиному человеку, по-видимому, надоело ждать, он съел какое-то блюдо и удалился... Еще один стол был занят только что пришедшими американцами — там кормили громадного датского дога, который пожирал мясо, а гарсон наблюдал за ним, любовно склонившись над его миской: важный клиент! Но князь как будто бы и сам нашел, что пора переменить тему, и вернулся к разговору, который так резко оборвал... Но что же все-таки интересует полковника? Душевное состояние эмиграции в данный момент, после смерти тирана? Нет? Не то? Тогда что же? Но теперь уже Дювернуа в свою очередь начал уклоняться от разговора... да нет, уверяю вас, я не знаю, почему вы решили... Он не собирает никаких материалов. Но когда Дювернуа, тоже чтобы переменить тему, спросил князя, как поживает его сын, тот ответил: «А, так вас, значит, интересует современная молодежь?.. Мой сын...— Задумавшись, князь мешал ложечкой чай — в конце обеда он пил чай, а не кофе, и обязательно в стакане, а не в чашке. Он повторил: — Мой сын...»

Наступило молчание... Как бы очнувшись, князь заговорил:

— Шалопай... В двадцать три года он ничего не умеет делать, разве что водить машину. Он ненавидит Францию, он постоянно говорит: «Глуп, как француз»... Все, что он видит и слышит, вызывает у него презрение. И такая мразь еще интересуется политикой и позволяет себе быть монархистом... Над его кроватью висит портрет царя Николая II в натуральную величину. В красках. А, да вот и он! Вот он, мой беспутный сыночек. Я же вам говорил, что он непременно появится...

В зеркале, за спиной князя, Дювернуа действительно увидел группу вошедших молодых людей... В опустевшем ресторане официанты опрометью бросились им навстречу, расточая поклоны и улыбки. Один из молодых людей отделился от группы, остановился в двух шагах от столика князя и наклонил голову:

— Отец...

Он был высокий, толстощекий.

— Ты здоров? — спросил отец, не трогаясь с места. — Полковник, разрешите вам представить моего негодного сына... Федя, это полковник Дювернуа, летчик, ас...

Федя бросил на Дювернуа любопытный взгляд, но тотчас же опустил глаза.

— Ты опять пьянствовал всю ночь, — сказал князь. — Вижу по твоему помятому лицу.

— Простите меня, я должен вернуться к своим друзьям.

Федя поклонился еще раз и, повернувшись спиной к отцу и Дювернуа, отправился в другой конец зала, где пришедшие с ним молодые люди со смехом и восклицаниями заказывали обед.

— Не знаю, где он их находит, — сказал князь, — как бы то ни было, дело всегда кончается тем, что Федя велит все приписать к моему счету... Вы на них только поглядите! Что за лица! Что за манера одеваться! Им место на скамье подсудимых... А чего стоит этот Саша Розенцвейг, который повсюду за ними таскается! В два раза старше их. Темная личность... Их проводник по игорным домам, борделям и модным ресторанам... Хорошенькая профессия!

Князь не позволил Дювернуа заплатить по счету: здесь он был у себя.

Да, на улице было чудесно. Они проехали по Булонскому лесу. Сколько народа!.. машины, пешеходы... скачки в Лонгшан. Давайте вернемся! Столько машин, что все равно никуда не проехать. Дювернуа ругался и крепко сжимал руль, злясь от нетерпения.

Как хорошо было в тихой квартире Кристины. Уже во дворе они оказались в другом мире... «Я должен за нее бога молить», — сказал Дювернуа, открывая дверь. «Иметь возможность быть гостеприимным — большая радость. Крестине, наверное, очень приятно, что вы у нее останавливаетесь...» Голос князя был тих и печален. Он тяжело опустился в большое кресло у камина, и Дювернуа подумал о том, каково же было гостеприимство князя в его дворце в России... Он поднес спичку к приготовленным дровам и достал бутылку. После яркого света и оживления улицы комната казалась темной и уединенной, созданной для откровенной беседы...

— В такой комнате, как эта,— сказал князь,— представляешь себе женщину, которая зябко раздевается возле камина... А вы привели с собой толстого старика... Но старик доволен, будьте уверены...

Он улыбнулся той улыбкой, которая напоминала прежнего князя — соблазнителя, бретера, и закрыл глаза...

— Если вас это интересует, дорогой друг... Я вам расскажу про моего сына, этого бездельника. Из всех женщин, которых я когда-либо знал, я особенно любил Федину мать. Ее звали Софья. После двух лет безумной любви она меня бросила, оставив ребенка. Соблазнила и бросила. Мелодрама. Причем мне уже перевалило за сорок. Что холостяку, человеку в моем положении, было делать с ребенком? Если бы я был в России, в своем имении, тогда другое дело. Но тут в моей жизни для него не было места. Я отдал его русским, бывшим моим слугам, которых я привез с собой из России... И решил никогда его не видеть, позабыть о его существовании. Его мать причинила мне слишком много страданий... И Федя жил у моих слуг, которые поселились в предместье, как мелкие рантье. Я платил им и больше ничем не интересовался. Однажды они мне сообщили, что Феде пора поступать в школу... Я платил и за школу, русскую школу, которую они выбрали. Через несколько лет я получил письмо от директора, который предупреждал меня, отца, что не может дальше держать Федю в своей школе, потому что он слишком плохо себя ведет... Он просил извинить его за то, что беспокоит меня, но он уже исчерпал все средства, стараясь повлиять на приемных родителей Феде... Федя носил мое имя, он был молодым князем Н..., и ответственность за него лежала на мне.

Князь задыхался, он был похож на памятник, на усталый, больной памятник. Дювернуа налил ему большую рюмку арманьяка.

— Спасибо, дорогой, это меня подкрепит. Может быть... Ах, мой дорогой, детей надо было бы топить сразу, как котят! А теперь мой непутевый сын вырос, и его нельзя утопить. Я хочу сказать, что он не дастся. Он пьет, играет, бегает за женщинами... Не как светский человек, а как подонки. Как вы думаете, нужен человечеству этот бездельник? И он еще считает, что во всем виноват я. И в его несчастливом детстве и в русской революции. Оказываются, люди, которым я его поручил, морили его голодом,

били его, а с помощью тех денег, которые я давал на его воспитание, составили себе неплохой капиталец... У них должны были водиться деньги, раз они могли купить дом в Бретани, где они сейчас живут, а так как они не работали... Я, наверное, очень виноват.

Князь казался подавленным. Его жизнь, долгая жизнь, не вмещалась в эту комнату, тут ей было тесно.

— Сколько ему лет? — спросил Дювернуа, чтобы прервать молчание.

— Двадцать три года... Он совершенно необразован, потому что никогда не хотел трудиться, он лентяй, да к тому же в школе, где он учился, единственно, чему учили детей, — это ненависти к коммунизму. В результате — Федя женился... на коммунистке!

Дювернуа невольно рассмеялся:

— Такая мелодраматическая ситуация и совершенно неожиданная развязка — вы поразительный рассказчик, князь... Продолжайте, прошу вас.

— Это и грустная и смешная история... Все дело, наверное, было тщательно обдумано Федей совместно с его приемными родителями, живущими в бретонской деревушке. Молодая коммунистка была барышней из замка, она происходила из старой французской знати, к тому же семья ее очень богата, а это ведь встречается редко! Все в округе знали, что девочка — коммунистка... Связи, оставшиеся после Сопротивления... Мой сын, — говорил князь, — хитер, как сумасшедший, он прекрасно понял, на что ее можно поймать, на какую приманку. Он нанялся в замок помощником садовника и разыграл из себя пролетария. Выходя замуж за Федю, эта молодая особа хотела доказать свои демократические убеждения. И вдруг в мэрии она узнает титул своего мужа! Князь! Она вышла замуж за князя! — Старый князь долго молча смеялся, потом вытер слезы и продолжал: — Мелодрама, драма, водевиль и фарс... Федя потребовал от жены, чтобы она жила вместе с моими бывшими слугами, его приемными родителями, монархистами и жуликами, которые целыми днями оскорбляли то, что его молодая жена свято чтит... Гнусные людишки, во всем гнусные. Это они повесили засиженный мухами портрет царя... Мучить ее стало для них забавой! Ведь их надежды не оправдались — родители не раскошелились! Они ничего не имели против того, чтобы выдать дочку за князя, — потому что, поверьте мне, они-то были

в курсе дела! Но они хотели, чтобы князь работал, они не хотели кормить его даром. И вот дети остались без средств к существованию... потому что и я не собираюсь содержать этого шалопая! Я не дам ни гроша этому пошлему, грязному типу! Представьте себе, что жена его обожает!.. Видели вы такое? Женщины все сумасшедшие... Но говорят, что моя бедная невесточка и впрямь сходит с ума. Я надеюсь, что с помощью веры в коммунизм она в конце концов освободится от моего негодного Федя и снова обретет равновесие. Обычно эти люди фанатичны... Однако может случиться, что вера ее недостаточно сильна и что она даст себя переубедить своему сутенеру-мужу...

Князь рассказал еще о нескольких злых проделках своего сына, и каждый раз, называя его, он добавлял какое-нибудь ругательство: негодяй, каналья, идиот, дурак...

— Уже поздно, мой дорогой полковник,— сказал он наконец, извлекая свои сто кило из глубины кресла,— если бы я был романистом, мне кажется, я написал бы о потрясениях, связанных с отрывом от родной почвы и сменой политических идей. Чувства и убеждения нашей молодежи несут глубокий отпечаток комплекса неполноценности, от этого она становится агрессивной, у нее появляется горечь. Молодые люди относятся к Франции, как отвергнутые любовники, у них к ней несчастная любовь... или, может быть, они только воображают, что их любовь несчастна... поэтому они начинают все и всех презирать и ненавидеть. Зелен виноград! Эти дети полагают, что ваша страна их терпит только из милости... Все то, за что мы, эмигранты, благодарны Франции, им кажется недостаточным, невыносимым, унижает их, оскорбляет... Наша тоска по родине... все то невыразимое, что трудно определить словами... у молодого поколения эта тоска по родине, которой они никогда не видели, перерождается в ненависть, в тщеславие, в глупое самолюбие... Им кажется, что их обделили! Я не оправдываю их чувств, которые мне представляются отвратительными. Феде нечего на меня рассчитывать. Пусть эти мальчишки играют в заговорщиков без меня. Есть большая разница между героем и авантюристом... Я действую рука об руку с французским правительством. В той мере, в какой я могу действовать, находясь не в своей родной стране... Мои соотечественники,

«белогвардейцы», с гордостью называют себя контрреволюционерами и брезгливо сторонятся всего, что имеет хотя бы отдаленное отношение к социализму. Они и против нацистов только потому, что в названии нацистской партии есть слово социализм. Они с трудом прощали Муссолини его социалистическое прошлое... Они целиком одобряют только Франко, может быть, еще и Португалию... Бог и царь! И хотя они и пролетаризировались, это их ничему не научило... Они грызутся между собой из-за того, кого именно возвести на царский престол, и ненавидят либеральную эмиграцию — февральских революционеров, которые не признали Октября. Они ни на минуту не допускают, что советский режим может претерпеть эволюцию... нет, просто — во веки-веков бог, царь... и Достоевский — их пророк... Да, да... это так, мой дорогой... Все это не серьезно... Наша белая армия станет реальной силой, только когда этого захотят западные государства и Соединенные Штаты... А до тех пор они будут жить, как тени, с «документами» теней... беженцы, изгнанники, апатриды... все что хотите... и они будут играть в заговорщиков... а что они могут, несчастные, они же годны только, как оружие, а не как политические деятели! Они могут похитить, заманить в ловушку, убить, это неплохо, но не меняет положения. Индивидуальные террористические акты... Лично я по-другому понимаю пропаганду... Когда человек «выбирает свободу», то его поступок вносит ясность, заставляет задуматься. И тех несчастных, на родине, и здешних... Кравченко, Кестлер — вот это работа, подлинная антисоветская пропаганда! А что будет, когда больше не останется людей моего поколения? Кто этим займется? Я реалист, я на стороне людей, у которых есть реальная жизнь, власть, на стороне мощной государственности... Игра с огнем коммунизма недопустима!

Князь продолжал говорить стоя и, казалось, не собирався уходить, увлеченный своими мыслями:

— Настоящая русская эмиграция, мой дорогой полковник, вымирает, старая гвардия уходит... Пойдите на русское кладбище в Сент-Женевьев, и вы увидите... как оно разрослось! наших гораздо больше в земле, чем на земле. Они доблестно боролись с большевиками и с превратностями судьбы... Они были бойцами — эти шоферы и мойщики стекол, отважными бойцами, тружениками. Они сделали из своих сыновей инженеров, докторов и ученых,

они достойно выдали замуж своих дочерей за французов; и вот вся эта молодежь уже превратилась в французов, сохранив что-то от славянского очарования... И тоску на душе, когда им напоминают о той стране, которая перестала быть их родиной... Все они натурализовались, и у их детей русской остается только фамилия. А случается, что они офранцуживают и фамилию, чтобы ничем не отличаться от настоящих французов, чтобы наконец перестать быть иностранцами... Но имейте в виду, мой дорогой полковник, что те из них, кто упорно остается русским, переходят в конце концов на сторону Москвы... Я не говорю о тех русских, которые сами себя вызываяще именуют «патриотами», «возвращенцами», о безумцах, которые хлопчут о советском паспорте, чтобы вернуться... но об истинно русских, православных, которые позволяют одурачить себя. Что было для нас неизменно свято, что оставалось для нас, русских, неизменным среди горечи изгнания? Церковь!

Последнее, по-видимому, было сказано серьезно и глупо затрагивало князя. Дювернуа с интересом смотрел на этого парижанина, искушенного во всех светских играх — от биржи до любви, — который искренне скорбит о чистоте православной церкви... И так как князь замолчал, Дювернуа решился задать ему вопрос:

— А что такое происходит с вашей церковью?

Князь ответил усталым и бесцветным голосом:

— Это сложно, длинно и вам не интересно, дорогой друг. Нам нелегко было сохранить нашу церковь на улице Дарю... Москва хотела ею завладеть, но это ей не удалось. Москве, однако, удалось другое: расколоть «православный люд», как у нас говорят.... В Париже имеется Объединение приходов русской православной церкви, подчиненное Московской патриархии. Это невероятно, непостижимо, но это так! Патриарх Алексий находится в Москве! Как вы хотите, чтобы люди боролись против коммунизма, когда их патриарх находится в Москве!

— Но, — сказал Дювернуа, — мне кажется прекрасным, что вера стоит выше всяких земных соображений, отделена от государства, от политики...

— И от реальной жизни, — воскликнул князь, ударив кулаком по притолоке, — от реальной жизни! Она отделена от реальной жизни!

Дювернуа сказал без улыбки:

— Но в этом чисто духовном вопросе вы рассуждаете, как материалист, князь!

— Не будьте ребенком, прошу вас! Лично я признаю главой православной церкви только константинопольского патриарха, и никому меня не заманить в церковь на улице Петель встречать московского митрополита Николая, у которого на спине крылышки голубя мира Пикассо!

Князь, огромный, величественный, протянул руку за своей шляпой.

— Простите меня, дорогой полковник, за мою болтовню... Но вы сами виноваты, не надо было задавать мне каверзных вопросов...

А, старая лисица! Дювернуа, слушавший его с большим вниманием, опять обиделся: он принимал все это за сердечные излияния, а князь, оказывается, просто хладнокровно разъяснял ему положение. Может быть, не так хладнокровно, как ему того хотелось бы... Он сам увлекся своей игрой. Во всяком случае, он обращался к Дювернуа не как к романисту. Как к кому же тогда?

Провожая князя до дверей, Дювернуа не сдержался и спросил:

— Вы знаете русскую по имени Ольга Геллер?

— Ольга... как вы сказали? Геллер! Откуда я могу знать русскую с такой фамилией?

Князь уже спустился с маленькой лесенки и стоял на площадке. На великолепной лестнице гулко раздавался его голос, как под сводами церкви.

— А почему бы вам ее не знать? — сказал Дювернуа. — Дело в том, что эта женщина спасла мне жизнь...

Он спустился на площадку вслед за князем.

— Ах вот как? Спасла жизнь? — князь спустился еще на несколько ступенек; подняв подбородок, ища Дювернуа своими выпуклыми глазами: — Действительно, я вспоминаю такую фамилию. Она мне напоминает одну мрачную историю...

Все камни стен отозвались могучим эхом: мрачную историю!

Дювернуа пренебрег намеком.

— Она спасла мне жизнь во время Сопротивления, — сказал он, и эхо откликнулось со всех сторон.

— Ах так, в вас, значит, жив дух солидарности «участников войны», дорогой полковник?

Голос князя удалялся... Дювернуа, перегнувшись через перила из кованого железа, смотрел, как шляпа князя спускается по лестнице.

— Вы, кажется, этого не цените,— сказал он.

— Почему же... Конечно, конечно. До свиданья, дорогой.

Дювернуа вернулся к себе, закрыл дверь... Ах, как сложны взаимоотношения между людьми. Кажется, вы во всем согласны, идете рука об руку, и вдруг вы видите все совсем в другом разрезе. Богатство князя позволяло ему выбирать сообщников, но как же он должен был презирать Францию и ее правительство, чтобы всегда использовать их в своих целях... С кем же, с какими людьми был он в действительности заодно? Князь, должно быть, понятия не имеет, что такое чувство солидарности братьев по оружию, самопожертвование, смелость, верность... Дювернуа страстно пожалел, что война миновала! Нет, он еще не созрел для романа. Не лучше ли сразу от него отказаться? Он налил себе стакан виши... В этот вечер он должен был обедать с Ольгой Геллер.

## Х

Мари, горничная четвертого этажа «Гранд-отеля Терминюс», убирала 417-й номер. Ей нравилось убирать 417-й, снятый ежемесячно, хотя у нее на это уходило больше времени, чем на уборку комнат путешественников, прибывавших вечером и отбывавших утром — подъем в 7 часов, кофе с молоком, булка... и ни гроша на чай, потому что обслуживание ставилось в счет. Они оставляли в комнатах только мусор и грязь — просыпанную пудру, пятна губной помады на полотенцах, окурки, пустые спичечные коробки, — они прожигали простыни, портили полированное дерево ночных и туалетных столиков, забывали закрывать краны, засоряли умывальники. Чаще всего Мари только это от них и видела. Она чистила комнаты пылесосом и меняла простыни, уничтожая все следы ночевки, как если бы это были следы преступления. Она предпочла бы работать в той части отеля, где останавливаются туристы, приезжающие на более долгое время, или, разумеется, убирать роскошные анфилады... но дирекция ставила туда девушек помоложе, более привлекательных. А Мари не была привлекательна, это была угрюмая женщина с пепельно-серым лицом.

Для того чтобы убрать 417-й, в распоряжении Мари был весь день, поскольку мадам Геллер уходила утром и возвращалась только вечером. Серьезная женщина, аккуратная, — Мари любила приводить в порядок ее белье, платья, шляпы и шарфы и расставлять на туалетном столике кремы, лосьоны, духи и губную помаду; готовить на ночь красивую ночную рубашку, халат и ночные туфли... У комнаты 417 был уютный жилой вид, в ней пахло одеколоном и фруктами — апельсинами, лимонами... Когда мадам Геллер бывала дома в субботние вечера или по воскресеньям, она никогда не забывала угостить Мари

печеньем, шоколадом или даже стаканчиком сладкого вина. А Мари в свою очередь делала вид, что не замечает ни постирушек в умывальнике, ни электрического чайника и даже сама посоветовала мадам Геллер гладить на постели, сложив вдвое одеяло. Женщины всегда поймут друг друга, не могла же мадам отдавать свои рубашки в прачечную отеля — рубашки такие тонкие, весят не больше носового платка! Счет вам подадут невероятный, просто позор, а от рубашек после нескольких стирок остаются одни лохмотья. Так как Ольга предоставляла Мари заниматься всеми своими домашними делами, Мари начала надеяться, что если мадам когда-нибудь устроится самостоятельно, может быть, выйдет замуж, она возьмет ее, Мари, к себе. Но вот уже три года, как мадам Геллер жила в 417-м и по-видимому, не собиралась никуда переезжать.

Мари переменяла воду в вазах с цветами, закрыла тяжелые занавеси и постелила постель. Свежий пеньюар повесила на батарею в ванной, а ванная была чуть не больше комнаты — виданное ли это дело — целый зал! В номер 417 нельзя было без предупреждения селить путешественников — такой он был высокий, несуразный, с множеством углов, ниш и углублений. Это объяснялось тем, что в номере 417 стена по одну сторону была смежной с винтовой запасной лестницей, а по другую — с черным ходом. Были в 417-м номере и неровности пола, которые ничем не объяснялись и благодаря которым кровать находилась на своеобразном возвышении, чтобы попасть в ванную, надо было спуститься на две ступеньки, а чтобы выйти на балкон — подняться на три. Но Мари постепенно привыкла к этому, и ей так же, как и мадам, нравился 417-й номер, вместительный и спокойный, без соседей... к тому же это была самая солнечная комната во всем отеле и лучше всех отапливаемая.

— Здравствуйте, Мари, — сказала Ольга, входя, — как ваши ноги?

— Как всегда. В такую погоду очень многие плохо себя чувствуют.

Ольга согласилась с этим. Она заметила, что людей утешает и поддерживает мысль, что не одни они страдают головными болями, ревматизмом, фурункулами или гриппом... Сама она очень устала, Мари тотчас же предложила принести ей из ресторана овощного бульона. Может быть, мадам ляжет?.. Нет, спасибо, хорошо бы, но ей придется

опять выйти, она приглашена на обед, хотя ей совсем не хочется есть и так хорошо было бы лечь спать. Мари ушла.

Ольга сняла пальто, туфли и, став всей ступней на ковер, на мгновение застыла. Через открытое окно доносился весенний шум. Шум, наверное, был тот же, что и зимой, но мягкость воздуха, неба придавала ему минорный тон. Ольга легла в постель, включила радио... Тело ее ныло от усталости. Ольга ругала себя: и зачем только она согласилась встретиться с полковником Дювернуа! Теперь придется вставать, одеваться, выйти, говорить, слушать, есть... А ей так хорошо было лежать в постели и слушать, как там за окном шумит Париж... И ведь она раз навсегда решила порвать с людьми с «положением» и оставаться неизменно на своем, ею самой определенном месте. Только с тех пор, как она добровольно стала жить за бортом общества, она почувствовала себя на своем месте и обрела покой. Это не был покой победителя, но все-таки это был покой. У нее было предчувствие, что встреча с Дювернуа чревата неприятностями... Но как отказать человеку, которому ты спасла жизнь? Записка, пересланная ей Патриком Граммоном, была подписана «Доминик», а Ольга не могла отказать Доминику в том, в чем она легко отказала бы полковнику Дювернуа. Доминик был тем самым летчиком, которого она прятала у себя в Нормандии, когда немцы в погоне за ним рыскали повсюду. Он буквально свалился ей на голову при таких невероятных обстоятельствах, что ей пришлось принять его, не требуя никаких подтверждений... Что ему понадобилось от нее теперь, после стольких лет... Если бы он захотел увидеть ее после Освобождения, он мог бы без труда это сделать... и тогда это было бы вполне естественно. Ольга отложила его записку в сторону и только через несколько дней позвонила Патрису:

— Чего ему от меня надо? — спросила она. — Победать и поговорить со мной? Поговорить? Господи, а о чем ему надо говорить со мной?

— Он сам вам объяснит. Ему этого очень хочется. Но я лично только передал вам письмо, я вовсе не заинтересован в вашем свидании с полковником Дювернуа!

— Ну что же, — ответила Ольга, — я не могу отказать Доминику... Скажем, в будущую пятницу, в восемь...

«Слушайте поверку времени...» Ольга села на постели, свесив ноги. Хуже, чем вставать рано утром. Однако надо

одеваться. Она пригладила волосы, пепельную волну на затылке... всунула ноги в лодочки. Скорее, платье. Какое? Черное. Ольга поймала себя на том, что ей захотелось надеть меховое манто, которое ей очень шло, — к чему это, мадам? Чтобы понравиться? Она надела черное пальто, которое носила всю зиму. Ах, как она не любила торопиться! Оставалось намазать губы.

Такси... Она опаздывает всего на четверть часа, ведь только реку переехать. Ах, как она не любила спешить, бежать, торопиться.

Они должны были встретиться в кафе «Универ» на площади Французского Театра. Если Доминик так же сильно изменился, как она... Ольга остановилась у двери, отыскивая его глазами... Какой-то господин поднялся... Ну да, это он, она узнала его лысину, обрамленную черными волосами, его вытянутую длинную фигуру... да, вряд ли ему было хорошо на маленьком диванчике в ее вилле!

— Это как сказать! — ответил Доминик, — Ведь я только-только избежал смертельной опасности, и мне было более чем хорошо! Кто бы мог подумать, что мы пожалеем о тех временах... — Он читал в мыслях Ольги: о том времени, когда мы рисковали жизнью для того, чтобы все изменилось! — Мадам, я вам стольким обязан! Мне так хорошо спалось на маленьком диванчике — это была одна из счастливейших ночей моей жизни!..

— «И жизнь повернулась на стеклянных каблуках...»<sup>1</sup>

Дювернуа смотрел на нее с любопытством. Вот она, эта женщина, которая в его памяти была неразрывно связана с опасностью, ночными полетами, тайными встречами, взрывами, выстрелами... Эта красивая женщина когда-то, не колеблясь, открыла ему врата спасения, врата рая... Против всех правил безопасности, с великодушием риска. Да, вот она перед ним. Может быть, она утратила прежний блеск... но приобрела что-то другое... У нее молчаливое лицо... не спокойное, а молчаливое. Лицо молчания. Лицо, которое олицетворяет молчание.

— Вот мы на площади Французского Театра, и нам ничто не угрожает. Весь Париж в нашем распоряжении. Где вы хотите обедать, дорогой друг?

---

<sup>1</sup> Цитата из поэмы Арагона «Песнь об Эльзе».

Она не голодна, где он хочет, она составит ему компанию. После завтрака с князем Дювернуа не хотелось даже смотреть на еду! Поколебавшись, он предложил Ольге пойти к нему, у него будет приятнее, чем сидеть в кафе, а если позднее они проголодаются, они пойдут поужинают...

— Ну что ж... пойдёмте к вам, раз вы хотите со мной о чем-то поговорить.

За время недолгого отсутствия Дювернуа в его комнате уже прибрали — выбросили окурки из пепельниц, унесли бутылки и стаканы, подложили дров в камин... «Огонь...» — сказала Ольга с удовольствием и села на низкий стульчик совсем близко к пылающим поленьям. «Женщина, которая зябко раздевается возле камина...» — сказал тогда князь... Дювернуа налил коньяк, поставил рюмку Ольги на поднос, а поднос на пол около камина и пододвинул туда же свое кресло.

— Что же, — сказала Ольга, — мы возобновили знакомство. Может быть, вы скажете мне теперь...

— Почему я вам написал? Жаль, что вы задали мне этот вопрос... Я надеялся рассказать вам все постепенно, исподволь. Я предпочел бы...

— Когда имеешь дело со мной, ни на что не надо надеяться. Вы хотели меня видеть, я здесь... Жаль, что вы предпочитаете...

К Дювернуа вернулась его жестокость. Он обладал самоуверенностью и авторитетностью, был что называется «вождем». Он любил, чтобы перед ним по струнке ходили... Тем более что он был очень обидчив и мнителен, легко расстраивался из-за пустяков и, убежденный в своей непогрешимости, втайне страдал от этого, сознавая, что не может перейти известной границы, и подозревая всех в том, что ему хотят дать почувствовать, где проходит эта граница. Сухой и даже надменный, он импонировал женщинам. И эта фраза: «Жаль, что...» вошла у него в привычку, почти в систему: «Жаль, что вы произнесли эту фразу, я вас уже почти любил...», «Жаль, что вы надели эту шляпу, она нарушает мое представление о вас...», «Жаль, что у вас такие друзья...», «Жаль, что вам нравится эта книга». Странно, но повторение этого сожаления приводило к тому, что многим начинало казаться: действительно погибло нечто важное, перед ним в чем-то провинились, — это унижало и заставляло в чем-то рассказывать

ся... Как будто Дювернуа действительно имел право судить, что хорошо, что плохо, что красиво и что некрасиво. Но с Ольгой у него с самого начала не заладилось, она, по-видимому, вовсе не стремилась ему понравиться.

— Тем хуже, — сказал Дювернуа сухо, — я не хотел говорить так сразу, без подготовки... Видите ли, я несколько не стесняюсь сказать, что я летчик, но мне отчего-то стыдно признаться в том, что я пишу романы. А сейчас речь идет как раз о романе...

— И чем же я могу быть вам полезной?

Взгляд у Ольги был серо-голубой, холодный... В мягком свете камина перед Дювернуа вновь расцвела красота этой женщины... Она хорошо старела, в ней появилось какое-то особое величие... возможно, она была даже красивее, чем раньше. «Женщина, которая зябко...»

— Полезной... Если вам так нравится это слово... Я пишу, или, вернее, собираюсь писать, роман об эмигрантах...

Взгляд Ольги сделался неподвижным. Глаза ее стали буквально стеклянными.

— И чем же я могу быть вам полезной? — повторила она. — Я мало знаю эмигрантов. Думаю, не больше, чем вы.

— Вы знаете самоё себя...

Глаза Ольги сжались, как устрицы от лимонного сока. Она опустила веки:

— Я не тема для разговора... Давайте «переменим мысли», как говорила одна моя приятельница, русская, конечно...

Дювернуа прервал ее:

— Почему такая горечь, мой друг?

— Нет, это не горечь... Я нахожу, что вы чересчур развязны.

— Плохо воспитан?

— Плохо воспитаны.

Что только она себе позволяет... И, как бы отвечая на этот невысказанный протест, Ольга продолжала:

— Вы позволяете себе задавать мне вопросы...

— Я их еще не задавал...

— Потому что я вам этого не разрешаю.

Чтобы не потерять терпения, Дювернуа встал и наполнил свою рюмку.

— Моя рюмка тоже пуста, — сказала Ольга.

Кровь бросилась ему в лицо:

— Простите. Но воспитанная женщина не сказала бы мне об этом.

— Да. Но вас надо проучить.

— Кому? Вам?

— А почему бы и не мне?

Дювернуа должен был сделать над собой усилие, чтобы не разъяснить этой женщине, что уж кому-кому, но не ей его учить. Он вдруг представил себе хохочущего Патриса... Нет, он не выбросит за дверь эту мегеру, он ее усмирит:

— Действительно, почему? — Дювернуа наполнил рюмку Ольги. — Я невежа и сто раз заслужил такой урок. Простите меня, и не будем больше говорить о романе...

— О нет, поговорим именно о романе. Я могу вам многое рассказать...

Ольга взяла свою рюмку и залпом осушила ее. Вот это да!.. Она пропустила, как водку, этот добрый старый арманьяк, который следовало пить смакуя! Дикарка!.. Ольга встала и начала ходить по комнате, отталкивая стулья, когда они попадались ей на пути. Так он собирает материал? Прекрасно, она ему поможет! В чем именно? Собственно, не это важно... Стоит поговорить о его теме вообще... Прежде всего он должен знать, что приемной родины не бывает. Франция в качестве приемной родины — это та красавица, равнодушие которой равняется ее красоте. Единственное право несчастных, которые в нее влюблены, — это сражаться и умирать за нее. Умирать у «прекрасных ног нашей Франции»... Н а ш е й Франции... Даже гибель не давала им права, хотя бы посмертного, называть ее с в о е й. Смерть за нее — это факт личной биографии мертвых, никем никуда не занесенный. Разве что зарегистрированный в Полицейской префектуре или в Министерстве внутренних дел. Ольга подошла к окну, раздвинула тяжелые занавеси, но чьи-то заботливые руки закрыли также и ставни, и окно оставалось слепым. Ольга тяжело дышала, ей не хватало воздуха... Дювернуа не двигался, он не проронил ни слова, боясь ее прервать... «Женщина, которая зябко...» На ней было платье, которое, как мокрое, облегалo сверху донизу ее длинное узкое тело, маленькую грудь, широкие плечи. Она опять начала ходить по комнате:

— Вы, — говорила она, не обращая внимания на Дювернуа, — получаете все права при рождении, вы наследуете их от родителей, вам ничего для этого не надо делать.

Это нелепо, как монархический строй. Вы имеете все законные права. Вам ни за что не надо отдавать жизнь. Вам достаточно родиться и жить там, где вы родились. Больше ничего не требуется. Даже самые мерзкие из людей, те, что предают свою страну и свой народ, имеют право говорить: *м о я страна, м о й Париж...* А мы спускаемся в львиный ров, и что же... Нет, для того чтобы страна, не являющаяся нашей родиной, разрешила нам себя любить, нам ставят слишком много условий, слишком много... Лучше хранить про себя и свою любовь и свою тоску. Так лучше.

Она говорила все тише, и Дювернуа скорее угадал, чем услышал: «Гренада, Гренада, Гренада моя...» Он отметил это, как звено, связывающее Патриса, Сержа и Ольгу. Она взяла свою рюмку, которую Дювернуа на этот раз заботливо долил, села на ручку большого кресла, которое еще недавно выдерживало все сто кило князя, и затуманенным взглядом смотрела на огонь. Каждый ее жест... Но молчание затягивалось. Дювернуа отважился:

— Я могу вас понять, — сказал он, — только поставив себя на ваше место, так как сам я спокойно могу любить свою родину, мне выпало это счастье... Но мне знакомы все терзания несчастной любви, потому что женщина, которую я люблю, меня не любит. Она терпит около себя любого из... «мерзких», как вы говорите, всех, кроме меня, который с радостью отдал бы за нее и жизнь и честь, дал бы ради нее выколоть себе глаза. Женщина, которую я люблю, иностранка. Не эмигрантка, не изгнанница, просто иностранка, которая предпочитает не жить в своей стране. Для нее я и пишу. Этот роман и все остальное.

Ольга ничего не ответила, она продолжала смотреть на огонь. Тогда Дювернуа добавил, что несчастная любовь трагична вне зависимости от того, кто вами пренебрегает — страна или женщина.

— Пренебрегает вами, — повторила Ольга вслед за ним.

Она встала, опять подошла к окну, вернулась и, остановившись перед Дювернуа, развалившимся в кресле, стала глядеть на него, нет, рассматривать его, с высоты своего роста.

— Но когда дело идет об эмигрантах, — сказала она, — мы удалились от темы вашего романа — никогда не следует заходить в сравнениях или метафорах слишком далеко, это одно из литературных правил, не правда ли... во вся-

ком случае, если бы я писала, я бы его придерживалась... Да, бывает и так, что страна, ставшая вам приемной родиной, не только пренебрегает вами, но и преследует вас.

Дювернуа в своем низком кресле чувствовал себя неловко перед этой высокой женщиной, стоявшей от него так близко, слишком близко, как будто бы для того, чтобы помешать ему встать.

— Разве вас преследуют, мадам!..

— Я говорю не о себе. Я не жалуясь. И я не прошу у вас заступничества перед вашими друзьями.

— Вы преувеличиваете, мадам,— Дювернуа встал, слегка оттолкнув Ольгу. Теперь он в свою очередь принялся ходить взад и вперед.— Жаль... Я хотел вам сказать... я нахожу, что у вас поэтически светлый ум... но...

— Если вы хотите использовать мое плохое настроение для вашего романа, я советую вам сердить меня, но не слишком сильно...— Ольга следила за Дювернуа, который ходил от окна к двери и обратно.— В Полицейской префектуре есть, по-видимому, объемистое досье, заведенное на меня, но в обычное время меня не тревожат. У меня ведь французский паспорт, не так ли... Они попытаются пришить мне какое-нибудь дело в менее спокойный период. Если вы живете не в той стране, в которой родились, вас всегда подозревают в патриотизме по отношению к вашей родной стране. А родная ваша страна, заметьте, подозревает вас в патриотизме по отношению к той стране, в которой вы живете... Не иметь корней... быть срезанным растением... это всегда заведомо подозрительно, как татуировка на теле человека, у которого неприятности с полицией.

— Разве ГПУ вам не доверяет?

Почему он сказал это? Может быть, потому, что все в нем возмущалось против этой женщины... Чего она кричит, что это за претензии, ее же никто не трогает!.. Если бы она жила в другой стране, хотя бы в Советской, то ее давно бы просто посадили. А сколько в ней ярости! Все в Ольге его раздражало, даже ее красота и ее манера себя держать, которая исключала всякую возможность отнестись к ней, как к женщине... Он уронил эту фразу, чтобы оскорбить Ольгу, чтобы ее уничтожить. И эффект получился поразительный. Ольга побледнела так, что даже губы у нее побелели. Люди гораздо чаще краснеют, чем бледнеют... Дювернуа даже испугался... она была похожа на мертвеца...

— О,— сказала она,— в рядах этого учреждения были замечательные люди...

— Я полагаю, вы не отрицаете?

— Как вы мне посоветуете, может быть, мне следует отвечать вам только в присутствии моего адвоката? Не думаете же вы, что я стану оправдываться! Во всяком случае, я предпочитаю уйти...

Дювернуа ее не удерживал. Он помог ей надеть пальто: «Позвольте мне проводить вас... вы не найдете такси...» — «Я живу в двух шагах отсюда...» — «Прошу вас...» — «Как хотите...»

Они молча спустились по лестнице. На улице воздух забыл про весну. Они сели в машину, притаившуюся в пустом, темном, тихом дворе. Неподвижно сидя за рулем, Дювернуа даже не делал вида, что собирается ехать...

— Послушайте, Моника,— сказал он совсем тихо,— все это не так просто... У вас есть враги... Это случается со всеми, для этого не обязательно быть эмигранткой... Все это очень путано, очень сложно... но в данном случае... Вы должны меня извинить... Человек, которого вы очень хорошо знали... Тот, что уехал на Восток... летчик...

Голос Ольги дошел до него как из небытия:

— Да... и что же?

— Сейчас я вам расскажу. Все равно мы уже перешли все границы... Вы ведь проводили его до Каира?

— Да... и что же? — повторила Ольга.

— При нем были секретные документы. Он нарочно оставил их в отеле, в комнате, где вы жили вместе с ним. Вы рылись в этих документах. Он в этом уверен.

Во двор въехала машина, слепящие фары разрушили темноту, наполненную тишиной. В свете фар, как в огнях рампы, появилось ненакрашенное лицо Ольги, ее потрясающие глаза.

— Да,— сказала она,— я рылась в его бумагах.

Фары повернули. Машина остановилась, хлопнула дверца... Голоса. Двор снова погрузился в темноту и молчание.

— Он получил в тот день письма из Парижа,— раздался во тьме голос Ольги,— письмо от матери, сказал он мне. Я так мало знала о нем... Я так мало, так плохо его знала... мне так хотелось узнать его ближе. Не его служебные дела, не славу... но личное... ведь он был моим милым, моей жизнью... Да, я рылась в его бумагах, я прочла пись-

мо матери. Из него я многое узнала... Он был женат, у него были дети... Правда, для нас это ничего не меняло. Мать рассказывала ему о детях, просила, чтобы он не забывал о них во время своего отсутствия... Своего отсутствия...—Ольга замолчала. Потом добавила: —Других его бумаг я не читала. Но это не имеет значения.

У Дювернуа —летчика-аса были железные нервы, но Дювернуа-писатель обладал чувствительностью, которая пронизывала все его существо. Эта женщина была жалка, ужасна, как человеческое тело, изувеченное во время железнодорожной катастрофы. И она даже не потеряла сознания! Она смотрела на свое изуродованное тело... где же мои ноги, мои пальцы, мои руки, и откуда столько крови! Ох, откуда эта кровь?!

— Мадам,—сказал Дювернуа,—я не хотел...

— Ничего,—ответила Ольга таким тоном, как будто ей наступили на ногу в метро,—отвезите меня домой, пожалуйста.

Дювернуа вывел машину со двора. Они очень быстро приехали, она действительно жила в двух шагах.

— Спасибо,—сказала Ольга и исчезла в дверях.

Карлос открыл ей и поднял ее на лифте —вот и четвертый этаж. Он позволил себе сказать ей: «Вы устали, мадам? Может быть, вы разрешите, чтобы Фернандо вам принес чего-нибудь горячего? Вы знаете, мы всю ночь здесь... играем в белот».

— Спасибо. Нет, мне ничего не нужно.

Карлос смотрел, как она шла по длинному коридору. Он видел, что несколько раз, словно ища опоры, она дотрагивалась до стен. В конце коридора она повернула направо за угол и исчезла.

## XI

Площадь Оперы и бульвары были полны светящихся реклам, почти как Бродвей. Но это не был Бродвей. Здесь огни были далекими, высоко расположенными и холодными, они скорее принадлежали небу, чем тротуару, в них не было ничего разнузданного. Пойти на Монмартр? Фрэнк Моссо сунул руки в карманы и пошел по бульвару Капуцинов. Он было подумал вернуться домой, но, представив себе жену и детей, которые еще не легли спать и обязательно поднимут в его честь невообразимый шум, отказался от этой мысли. На всех углах торчало бесчисленное множество девиц, а у Фрэнка, очевидно, была типичная внешность иностранца, который очутился один в Париже, потому что все они набрасывались на него. А может быть, они распознали в нем американца. Фрэнк переходил с одного тротуара на другой, как будто бы и сам он вышел на панель. Магазины были закрыты, и Фрэнк останавливался перед освещенными витринами, разглядывая выставленные товары, как музейные экспонаты. Взглянув на свое отражение в больших зеркалах магазина «Старая Англия», он нашел, что он очень худ, так оно и было в действительности. Площадь Мадлен, обратно... Никогда еще он не чувствовал себя до такой степени потерянным, столь непоколебимо уверенным в совершенной по отношению к нему несправедливости и в том, что вся его жизнь идет прахом. Его физические и духовные силы — все сгниет на корню. Нет, ему из этого не выкарабкаться, все ясно, нечего себя обманывать! Довольно! Ничто не может наладиться в масштабе одной изолированной человеческой жизни. В тот день, когда он перестанет быть на подозрении, у него снова обнаружат талант. Чудовищная, огромная нелепость! Он — и политика... Единственное, чего он жаждал, требовал и ждал от жизни, — это чтобы его оставили в покое, чтобы он

перестал ежеминутно чувствовать присутствие шпиков за спиной, за каждым углом, за замочной скважиной. Они были повсюду, проникали в сны, в картины, в шкафы, в любовь, в дружбу. Фрэнк с трудом сдерживал поднимающуюся в нем волну негодования, которая готова была унести его, толкнуть на какой-нибудь отчаянный поступок. Но плотина пока держалась: Фрэнк Моссо всего лишь прохожий, с тонким и ладным скелетом, с обветренной кожей, хорошо натянутой на каркас из костей, одетый на американский манер. Перед витриной «Ортанз» какая-то женщина, слегка склонив голову набок, серьезно рассматривала перчатки, чулки, сумки... Рослая женщина... высокий силуэт... благородный стиль. Что-то в ней было ему знакомо... Фрэнк остановился, украдкой ее разглядывая... и вдруг он ее узнал: «Ольга!» — позвал он тихонько. Она обернулась. «О,— сказала она,— как я рада! Я не знала, что вы в Париже! Но откуда вы выскочили, точно черт из бутылки?» — «Идем отсюда в какое-нибудь кафе... Я расскажу вам, откуда я выскочил...»

Фрэнку Моссо никак не следовало бы показываться с Ольгой, именно с Ольгой, но в кафе на бульварах столько случайного народа, что все люди там как будто на одно лицо. К тому же Фрэнк обрадовался встрече и в этот момент ни о чем другом не думал. Далекий довоенный Монпарнас, благословенное время, когда они были так отчаянно молоды и сладостно несчастны! Целый период жизни, общие друзья, события того времени, общественные и частные, сплетни, происшествия, случаи... Целый период жизни, общий для них обоих, как если бы они были соотечественниками, односельчанами. И не то чтобы они были тогда очень близки, но в течение нескольких лет они проводили вместе вечера, сидели за одним столиком, с Сержем и с другими, в кафе «Дом», «Куполь»... Уже четыре года как он в Париже? А ей рассказывали, что он в Голливуде, что он бросил живопись и занялся литературой, пишет сценарии и что он уже приобрел известность. Да, в этом есть доля правды, только теперь он живет в Париже. А она?.. Ничего интересного, все то же... Она заведует теперь той рекламной конторой, в которой служила в монпарнаские времена. Теперь она уже не обязана предлагать и отстаивать свои предложения. Ее обязанность судить, какое впечатление произведет на публику выдумка других, оценивать «прохожего и его психологию», как говорит ее патрон

мосье Арчибалд... Нет, она не замужем. Она живет в отеле. А он?.. Он женат... Двое ребят, уже большие — время идет. Живопись? Он снова взялся за нее по возвращении в Париж. Но не живописью зарабатывает он себе, жене и детям на жизнь! Он служит в американской импортно-экспортной фирме, Ольге-то он может все сказать: у него были неприятности в Голливуде... Ольга знает его давно и сумеет правильно их оценить: он, Фрэнк Моссо, всегда плевал на политику, и вдруг — политические неприятности... Вся его причастность к политике заключается в весьма простой мысли, а именно: что власти не имеют права отравлять гражданам существование, не за это же им платят налоги. Ей-то он может сказать — ему пришлось бежать из США... еле успел удрать. Его допрашивали... Все это хорошо для профессиональных политических деятелей, для героев, для людей, которые любят приносить себя в жертву, но когда ты обыкновенный американский гражданин, это не может не вывести тебя из равновесия. К тому же кинематографическая фирма, с которой у него был контракт, порвала с ним... Тут пошла такая жизнь... когда-нибудь он ей расскажет, каково ему пришлось. В конце концов не оставалось ничего другого, как воспользоваться представившимся случаем и на некоторое время, пока все не уляжется, покинуть Соединенные Штаты. К тому же он хорошо знал Францию, ведь Франция для него была, как для каждого художника, второй родиной... Чтобы зарабатывать на жизнь, он поступил в торговую фирму импорта-экспорта, место занимает небольшое... Но что об этом говорить... Он вошел во Францию с армией, вступил в Париж с армией-освободительницей!.. Да, другие были времена. Он читал в газетах, что Ольге торжественно вручили орден Почетного Легиона во дворе Дома Инвалидов, он гордился знакомством с ней и всем об этом рассказывал. Ей не очень скучно заниматься теперь «психологией прохожего» после всех ее славных подвигов? Славных подвигов... не будем преувеличивать. Нет, ей не слишком скучно, но она на самой грани скуки. Она не вкладывает в свою работу никакого чувства, но надо же чем-нибудь заниматься — так почему бы не этим?.. Но как только она уходит из конторы, она перестает думать о делах, выключается и возвращается к себе. А там ровно ничего не делает. О, это длинная история... так получилось... в конце концов.

У каждого из них была своя длинная история, слишком длинная, чтобы рассказывать ее в кафе. Когда Ольга спрашивала: «Видели вы Сержа?», Фрэнк отвечал: «Да... Но это не просто. Все страшно сложно. А я его так люблю...», и у всего, о чем бы они ни заговорили, было продолжение, о котором невозможно было говорить, сидя на банкетке, в том ярком освещении, каким одинаково сияли все кафе, как будто прохожие, которых они хотели привлечь, слетаются на свет, подобно ночным бабочкам. «Но мы ведь еще увидимся, не правда ли, Ольга?..» И вдруг, помрачнев, Фрэнк замолчал. «Что же, пошли?» — спросила Ольга... Но Фрэнк не двигался: «Подождите минутку, мне нужно вам сказать одну вещь... — он сделал над собой усилие, — когда мы встретимся... нам придется это сделать... так, чтобы никто не знал... если вы согласны, конечно». — «Из-за вашей жены? Мне это было бы неприятно». — «Ах, нет, она тут ни при чем, бедняжка... Из-за моей службы. За мной здесь следят, будто это Америка. А вы русская, и этого достаточно...» — «Тогда, может быть, лучше...» — «Но, Ольга, поймите, я не могу так жить!» — «А вы думаете, нам удастся их перехитрить?..» Они оба засмеялись, так все это было нелепо. «Все равно я завтра уезжаю в отпуск, — сказала Ольга, — а когда вернусь, мы посмотрим». — «Возьмите меня с собой, Ольга! Все будет честь по чести. Возьмите меня с собой!» Лицо его было измождено, широкий пиджак висел на нем, как на вешалке... Ольга задумалась: она как раз возвращалась от Сюзи Кергуэль, из ее особнячка на улице Спонтини, где Ольга жила когда-то... Сюзи позвонила ей на днях и предложила снять на время отпуска домик в окрестностях Парижа... Это будет не дорого и очень устроит хозяев дома, друзей Сюзи. Сюзи постоянно что-нибудь или кого-нибудь устраивала. И никто не знал, получала она от этого какую-нибудь выгоду или нет. Ольга посмотрела дом и согласилась его снять, а сейчас она как раз возвращалась от Сюзи, уладив это дело. Фрэнк, наверное, помнит Сюзи... Это та женщина, у которой было много вкуса и мало денег? Да, та самая, но теперь она вышла замуж, и старый особнячок, где Ольга некогда терпела такие муки, стал похож на игрушку! Сюзи занялась теперь антикварными вещами и обставила особнячок мебелью и безделушками, которые являются предметом ее торговли. Муж Сюзи бросил дипломатию и разъезжает по Франции в поисках старинных вещей... Деревенский

дом, который Сюзи сдала Ольге, очень живописен, но без всяких удобств. «И потом,— добавила Ольга,— я не знаю, достаточно ли он уединенный! Я не рассматривала его с этой точки зрения!» Они опять рассмеялись... О, тем хуже, все это только глупая шутка. «Но,— сказала Ольга,— в общем домик этот, кажется, не так уж плох для нелегальной жизни!» — «А нельзя ли поехать туда немедленно?» — «Конечно, нельзя». Ольге надо еще уложить чемодан, и все равно сегодня они уже опоздали на последний автобус... Значит, до завтра, встреча на автобусной остановке у ворот Дофина...

Дедушка и бабушка с материнской стороны оставили своему единственному внуку Фрэнку небольшое наследство, которое позволило ему уехать из Нью-Йорка и заниматься живописью на Монпарнасе, вместо того чтобы работать в скобяной лавке своих родителей. Он прожил во Франции восемь лет, до самой войны, и уехал в США только для того, чтобы вернуться в Европу с армией; он высадился с войсками, победоносно вступил в Париж! Вернувшись в Нью-Йорк, сам не зная почему и как, он женился на молоденькой соседке, дочке пастора. Ему пришлось временно забросить живопись: мать его умерла, отец был болен, и больше некому было заниматься скобяной торговлей, от наследства ничего уже не осталось, а жена его ждала ребенка. И тут Фрэнк случайно познакомился со знаменитым режиссером... Они провели вместе вечер и страшно напились, вспоминая армию, высадку, Францию, победу. Этот режиссер появился в жизни Фрэнка, как *deus ex machina*, лишь для того, чтобы заставить его написать сценарий, и, когда Фрэнк привел эту мысль в исполнение, благожелательная рука режиссера передала сценарий куда надо и поддержала его. Но неожиданно режиссер увлекся и захотел снимать сценарий Фрэнка сам. Фильм имел огромный коммерческий успех. После этого, оставаясь все столь же доброжелательным, режиссер уехал во Францию и исчез. Фрэнк его больше никогда не видел. Но деловые люди не упускают из рук того, что может принести выгоду: после первого успеха Фрэнк получил много предложений, имел возможность выбирать из контрактов наиболее выгодный и получал суммы, которые ему и не снились. Он переехал в Голливуд. Имя «Фрэнк Моссо» росло

как на экране, так и в цене. И вдруг что-то заскрипело... Так неожиданно раздается стук в едущей по дороге машине... Что это? Плохо закрытая дверца? Свеча?.. Вы прислушиваетесь, напрягая слух...

Случилось это после разбирательства, предпринятого небезызвестной Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, которая отыскивала в кинематографической промышленности Голливуда следы проникновения в фильмы красной пропаганды и призывов к ниспровержению власти.

Первыми подверглись проверке писатели-сценаристы. Комиссия вызывала «свидетелей-обвинителей» и «свидетелей-обвиняемых». Некие свидетели-обвинители называли имена писателей, которых они считали коммунистами, о которых они слышали, что они коммунисты, или от которых пахло коммунизмом. Между свидетелями возникло даже своеобразное соревнование, каждый старался переплюнуть другого: если один называл двух, следующий называл десяток, потом пять десятков... и так далее. Вся эта возня создала в кинематографической среде обстановку всеобщей подозрительности, что-то вроде шпиономании военного времени, а решение продюсеров не пользоваться услугами писателей, находящихся под подозрением, ничего не уладило. В общем, возможно, правы те, кто считает — с коммунистическим влиянием можно быстрее справиться, отнимая у людей средства к существованию, чем действуя указами конгресса!

Называли ли имя Фрэнка Моссо в ходе этого расследования? Весьма возможно, потому что называли всех подряд, а он к тому же еще прожил так долго во Франции! Может быть, он там общался с левыми, с «прогрессистами»?.. Даже в Голливуде он знался с подозрительными иностранцами... Он вводил «мысли» в диалоги фильма... Его имя мельком, среди других имен, появилось в газетах, но раз попавши в прессу, оно стало появляться все чаще и чаще — машина завертелась. Фрэнк смотрел на свое имя в газетах и в первый раз в жизни задавал себе вопрос: «левый» он или не «левый»? Имя его упоминали, а иногда доходили до того, что вкладывали в его уста слова... Он сказал то, он сказал это... он против Комиссии, которая, по его мнению, нарушает американские свободы, он против черных списков, за свободу мысли... Известно, что он против «расследования», что он выражался по поводу него

вполне определенно... Ну, еще бы, ведь для него расследование было опасно. «Почему оно для меня опасно?» — спрашивал себя Фрэнк, который начинал все больше и больше нервничать. Тем более что он чувствовал, как меняется к нему отношение и его знакомых и кинематографической фирмы, с которой у него был контракт... да, с ним еще здоровались, да, ему еще платили, но друзья что-то перестали приглашать его к себе... и что-то уже давно в студии ему ничего не поручали... Из добросовестности он продолжал ходить на службу и высиживал в своем кабинете долгие часы, ничего не делая, выжидая...

Время шло... Фрэнк пережил крайне неприятный год. Этот монпарнасский баловень, непосредственный и взбалмошный, был мало приспособлен к такого рода обстановке, которую он к тому же плохо понимал. А жизнь понемножку разваливалась. Он чувствовал себя во вражеском окружении беззащитным и как будто нарочно делал все, чего не следовало делать, усугубляя опасность своего положения... И наконец настала развязка, приглашение в ФБР. Ему задавали вопросы. С самого начала своего пребывания в Париже и до 1939 года он ведь поддерживал отношения с коммунистами? На Монпарнасе он был знаком и поддерживал отношения с одним художником, который в настоящее время арестован в Буэнос-Айресе как коммунист?.. Пусть лучше он признается, что он и сам член Американской коммунистической партии... Да нет же, он не коммунист. Почему он должен быть коммунистом? Фрэнк, ошеломленный, сбитый с толку, обозленный, путал, горячился, проявлял неуважение к чиновнику, который его допрашивал... Он не понимает, чего от него хотят, что такое он сделал! Его гордость, его достоинство были оскорблены.

Как, чем все это кончится? Чего они от него хотят? Жизнь опротивела Фрэнку, нервы его были совершенно расстроены, он не работал и с ужасом ждал того момента, когда ему перестанут платить и всей его семье будет угрожать голодная смерть... Его жена не разделяла его тревог, она не читала газет, ничего, кроме иллюстрированных журналов, а вызов в ФБР ее ничуть не беспокоил: они всех допрашивают! Но когда пришло уведомление от продюсера, что контракт мистера Моссо истекает и его не намерены возобновить, она поссорилась с Фрэнком из-за его отказа предложить свои услуги какому-нибудь другому

продюсеру. Она никак не могла взять в толк, почему он находит это бесполезным, считает, что никто ему не даст работы, что он — конченный человек.

Он уехал в Нью-Йорк, может быть, поездка его рассеет... И там он встретил своего бывшего командира, ставшего на гражданской службе директором крупной импорт-но-экспортной фирмы. Случай, всегда случай... Тот, может быть не часто читавший газеты, спросил его, не хочет ли он поехать во Францию — ведь он так хорошо говорит по-французски: как раз требуется человек для Парижской конторы. Фрэнк немедленно согласился. Фирма брала на себя все расходы, и он, само собой разумеется, может перевезти с собой семью... место это пожизненное, его командир несколько в этом не сомневается! Фрэнк, возможно, добьется повышения, продвинется... А Фрэнк думал только о том, как бы поскорее уехать. Он ни минуты не думал об импорте-экспорте!

Он отправился сначала один, на разведку, а жена и дети должны были присоединиться к нему позже. Хотя жалование ему предстояло получать до того скромное по сравнению с заработком в кино, что миссис Моссо прямо не поверила своим ушам и не могла не рассмеяться... она с радостью согласилась уехать — Фрэнк стал последнее время таким нервным, что ему, по ее мнению, полезно было ненадолго переменить обстановку. Миссис Моссо решила смотреть на все оптимистически: они отправятся во Францию бесплатно, а так как тамошние деньги ничего не стоят, они прекрасно проживут на ту небольшую сумму, которую будут платить Фрэнку в долларах. Дети научатся говорить по-французски, очень полезно изучать язык на месте, у них будет хороший парижский выговор... Миссис Моссо перевезла отца Фрэнка в Нью-Йорк, — ему никогда не нравился Голливуд, он там скучал и был всегда в плохом настроении, в Нью-Йорке же у него есть друзья, и он будет хоть изредка наблюдать за своей скобяной лавкой, а то приказчик его обкрадывает. Итак, все устраивалось к лучшему. Чтобы продать дом и собраться, требовалось время. Поэтому Фрэнк отправился один.

Французский трансатлантический пароход покидал порт. Фрэнк стоял на палубе в толпе пассажиров и с огромным облегчением смотрел, как Нью-Йорк удаляется,

вполне определенно... Ну, еще бы, ведь для него расследование было опасно. «Почему оно для меня опасно?» — спрашивал себя Фрэнк, который начинал все больше и больше нервничать. Тем более что он чувствовал, как меняется к нему отношение и его знакомых и кинематографической фирмы, с которой у него был контракт... да, с ним еще здоровались, да, ему еще платили, но друзья что-то перестали приглашать его к себе... и что-то уже давно в студии ему ничего не поручали... Из добросовестности он продолжал ходить на службу и высиживал в своем кабинете долгие часы, ничего не делая, выжидая...

Время шло... Фрэнк пережил крайне неприятный год. Этот монпарнаский баловень, непосредственный и взбалмошный, был мало приспособлен к такого рода обстановке, которую он к тому же плохо понимал. А жизнь понемножку разваливалась. Он чувствовал себя во вражеском окружении беззащитным и как будто нарочно делал все, чего не следовало делать, усугубляя опасность своего положения... И наконец настала развязка, приглашение в ФБР. Ему задавали вопросы. С самого начала своего пребывания в Париже и до 1939 года он ведь поддерживал отношения с коммунистами? На Монпарнасе он был знаком и поддерживал отношения с одним художником, который в настоящее время арестован в Буэнос-Айресе как коммунист?.. Пусть лучше он признается, что он и сам член Американской коммунистической партии... Да нет же, он не коммунист. Почему он должен быть коммунистом? Фрэнк, ошеломленный, сбитый с толку, обозленный, путал, горячился, проявлял неуважение к чиновнику, который его допрашивал... Он не понимает, чего от него хотят, что такое он сделал! Его гордость, его достоинство были оскорблены.

Как, чем все это кончится? Чего они от него хотят? Жизнь опротивела Фрэнку, нервы его были совершенно расстроены, он не работал и с ужасом ждал того момента, когда ему перестанут платить и всей его семье будет угрожать голодная смерть... Его жена не разделяла его тревог, она не читала газет, ничего, кроме иллюстрированных журналов, а вызов в ФБР ее ничуть не обеспокоил: они всех допрашивают! Но когда пришло уведомление от продюсера, что контракт мистера Моссо истекает и его не намерены возобновить, она поссорилась с Фрэнком из-за его отказа предложить свои услуги какому-нибудь другому

одюсеру. Она никак не могла взять в толк, почему он ходит это бесполезным, считает, что никто ему не даст боты, что он — конченый человек.

Он уехал в Нью-Йорк, может быть, поездка его расет... И там он встретил своего бывшего командира, ставшего на гражданской службе директором крупной импорт-экспортной фирмы. Случай, всегда случай... Тот, может быть не часто читавший газеты, спросил его, не хочет ли поехать во Францию — ведь он так хорошо говорит по-анцузски: как раз требуется человек для Парижской импортеры. Фрэнк немедленно согласился. Фирма брала на себя все расходы, и он, само собой разумеется, может перевезти с собой семью... место это пожизненное, его командир ни-олько в этом не сомневается! Фрэнк, возможно, добьется повышения, продвинется... А Фрэнк думал только о том, как бы поскорее уехать. Он ни минуты не думал об им-порте-экспорте!

Он отправился сначала один, на разведку, а жена и дети должны были присоединиться к нему позже. Хотя жа-вание ему предстояло получать до того скромное по срав-нению с заработком в кино, что миссис Моссо прямо не по-рила своим ушам и не могла не рассмеяться... она с ра-стью согласилась уехать — Фрэнк стал последнее время ким нервным, что ему, по ее мнению, полезно было надолго переменить обстановку. Миссис Моссо решила отрезать на все оптимистически: они отправятся во Фран-ию бесплатно, а так как тамошние деньги ничего не стоят, и прекрасно проживут на ту небольшую сумму, которую дут платить Фрэнку в долларах. Дети научатся говорить -французски, очень полезно изучать язык на месте, у них дет хороший парижский выговор... Миссис Моссо пере-зла отца Фрэнка в Нью-Йорк, — ему никогда не нра-лся Голливуд, он там скучал и был всегда в плохом на-роении, в Нью-Йорке же у него есть друзья, и он будет ть изредка наблюдать за своей скобяной лавкой, а то икащик его обкрадывает. Итак, все устраивалось к луч-ему. Чтобы продать дом и собраться, требовалось время. Поэтому Фрэнк отправился один.

Французский трансатлантический пароход покидал порт. Фрэнк стоял на палубе в толпе пассажиров и с ог-мным облегчением смотрел, как Нью-Йорк удаляется,

становится все меньше и меньше... Исчезли крупные планы оживленной гавани, и вот открылась безмерная пустыня океана... А город, там вдали, становился все серее, приобретал цвет пленки, тумана. Поднятая рука статуи Свободы послала им последний прощальный привет, и небо и вода завладели горизонтом. Некоторые пассажиры уже расположились в шезлонгах на палубе, но большинство разошлось по каютам. Фрэнк шагал по широкой палубе и говорил себе, что у него под ногами уже французская почва, что ему уже больше нечего бояться, что он выскользнул из сети. По доскам палубы, казалось, не ступала еще нога человека, на них не было ни пылинки, они были чисты той удивительной морской чистотой, которая омывает душу. Фрэнку захотелось позабыть все свои заботы, хлопоты, отбросить прочь беспокойство, тоску, сомнения... Ему неслышанно повезло, остается только возблагодарить небо и забыть обо всем, что осталось позади.

Он спустился в свою каюту... Его сосед уже был там, толстый жизнерадостный человек, увлеченный беседой со stewardом, который принес ему первый стакан виски. Стюард спросил, не желает ли и Фрэнк стакан шотландского. Стюард был похож на Жуве как две капли воды! «Мне все это говорят, мосье,— подтвердил стюард со спокойной гордостью,— а ведь мосье Жуве — это сама Франция!» Сосед американец не знал, кто такой Жуве, и пал в глазах стюарда, который перенес все свое внимание на Фрэнка, тем более что Фрэнк говорил по-французски, как настоящий француз. Стюард старался дополнить свое сходство с Жуве: речь его была отрывиста и сурова, держался он несколько надменно и иронически, но с достоинством. Он рассказал, что в последний рейс Нью-Йорк — Гавр в этой самой каюте ехали два международных жулика. Их схватили, когда они собирались высадиться. Это были очаровательные джентльмены, хорошо воспитанные, мускулистые, в красивых рубашках, они щедро давали на чай и были любезны с дамами...

— А почему же их выпустили из Соединенных Штатов? — спросил Фрэнк, чувствуя себя неловко, словно он и сам был международным жуликом.

— И американская полиция, мосье, бывает, иногда задним умом крепка.

— Значит, она присутствует на борту? На всякий случай?

— О, мосье... — скромно проговорил стюард. У Фрэнка сердце замерло. То, что ФБР задним умом крепко... его не радовало. Вот тебе и раз. Теперь у него не будет и минуты покоя, пока не закончится высадка, проверка документов, таможенный осмотр, прочие церемонии... А только что он был так счастлив и наконец-то спокоен...

— What is it all about?<sup>1</sup> — спросил сосед, который пил виски, ему не терпелось вмешаться в разговор. Стюард удалился, и Фрэнку пришлось выслушать информацию о путешествии его спутника во Францию, где тот собирался купить кое-какие парижские товары, но также и приятно провести время. И он предложил Фрэнку исследовать с ним за компанию ночные рестораны, девиц, вина... а Фрэнк в это время с отчаянием думал, что он должен еще пять дней провести в неизвестности и страхе, опасаясь всех и каждого. И этого жизнерадостного соседа, и стюарда, похожего на Жуве, и женщин, и мужчин... Он бы с удовольствием последовал за соседом повсюду, во все кабаки, если бы этим мог обеспечить себе благополучную высадку на берег. Американская полиция на борту! ФБР! Какие они могут быть из себя, эти люди? Фрэнк сказал своему соседу, что пойдет подышит воздухом, и вышел.

Он шел по коридорам и — профессиональная привычка! — по дороге придумывал сценарий. Он старался представить себе взаимоотношения между французским персоналом и американскими шпиками... французский стюард, сторонник свободы, помогает американцу, политическому эмигранту... Жуве в роли стюарда! Женщины... Фрэнк заметил при отплытии одну девушку, которая ему приглянулась.

Пассажиры на палубе уже свыклись с путешествием и с жизнью на борту, они играли в различные игры и, казалось, давно были между собой знакомы. В баре выпивали... в салоне кто-то пробовал рояль... Фрэнк вернулся на палубу.

Красивая девушка, на которую он обратил внимание при отплытии, лежала в шезлонге. Когда Фрэнк проходил мимо нее, она, казалось, его узнала, отметила. Он попробовал улыбнуться и остановился вполоборота к ней возле защитной сетки.

— Вы не хотите сесть? — спросила она по-английски и указала ему на свободное кресло рядом с собой.

---

<sup>1</sup> О чем это вы? (англ.).

Фрэнк поспешно бросился к ней, и его горячность была вознаграждена улыбкой.

— А ведь вы не дурны собой,— сказал Фрэнк, усаживаясь.

— Да, они все это говорят.

Фрэнк любовался ею: настоящая американка, длинная, тонкая, с высокой полной грудью, какая вошла в моду около 1950 года. Достаточно вульгарная, что сказалось в этом «да, они все это говорят...», под румянами и пудрой свежая, живая кожа. Масса волнистых волос, кажется, естественно рыжеватых, судя по глазам цвета красного дерева.

— Вы, случайно, не заняли первое место на каком-нибудь конкурсе красоты? — спросил Фрэнк.

Она покачала головой и еще раз показала крепкие белые зубы:

— Имейте в виду,— сказала она,— что я не дура, у меня только вид такой. Между прочим, меня зовут Молли.

— А меня Фрэнк. Как вы себя чувствуете, Молли?

— Неплохо, Фрэнк. Вы едете по делу?

— Сугубо личному, не торговому,— ответил Фрэнк, сразу охладев, и тут же включил Молли в свой сценарий.

— А вы?

— А меня вызвал к себе мой друг.

— Так я и знал,— сказал Фрэнк,— всегда и во всем не везет...

— Не может быть! А ведь вы очень милый, красивый парень. И все предки так и просвечивают сквозь вашу кожу...

— Ну-ка, посмотрим, кого вы там видите?

Молли склонила голову набок и принялась разглядывать Фрэнка.

— Давайте играть,— предложила она,— если я угадаю, вы мне должны доллар, если ошибусь — я вам должна!

— Но вы все время будете угадывать. Я — помесь положительно всего и всех. Ну, все равно, давайте!

Молли подумала.

— Француз, но за это я не возьму доллар: я слышала, как вы говорите по-французски,— это от рождения.

— Вы честный человек. Дальше?

— Индеец, потому что у вас красный загар, а волосы черные и прямые... форма глаз также... Но выражение глаз итальянское! Изящная фигура, икры — скорее французского происхождения. Испанец — это видно по тонким щиколоткам и запястьям...

— Довольно! — вскричал Фрэнк, — вы меня разорите! Хотя все это неверно.

Они продолжали болтать глупости до обеда и обедали вместе. В вечернем туалете Молли затмила всех женщин — ее большое декольте было полно, как скорлупа свежего яйца. Она сразу же посвятила Фрэнка в рыцари, и, когда после обеда начались танцы, мужчины в смокингах, приглашая Молли на танец, спрашивали разрешения у Фрэнка с таким видом, как если бы они собирались унести стул. Но Молли много танцевала и с Фрэнком.

Когда они вышли на палубу, была уже глубокая ночь... Их поразила тишина, влажная, темная мягкость воздуха. С неосвещенной части палубы доносился шепот, смех. Другие пары, так же как и они, облокачивались на перила, смотрели на воду, на небо, на бесконечность... плавающий дворец уверенно продвигался по безграничному водному пространству.

— Люди — существа умные и смелые, — сказал Фрэнк, — они умеют держаться на воде и в воздухе и находят свою дорогу без верстовых столбов и бакенов.

— Да, — Молли прислонилась горячей щекой к щеке Фрэнка, — но они не умеют держаться в жизни и находить свою судьбу.

— Возможно... Я, несомненно, куда увереннее распоряжаюсь вымышленными персонажами сценария, чем своей жизнью. Гораздо легче творить, чем жить.

Молли вздохнула:

— О Фрэнк, знаете ли вы, что вы мне нравитесь? Но я умею распоряжаться своей жизнью и потому — спокойной ночи, милый...

Фрэнк обнял ее и поцеловал. И все-таки он не удерживал ее: она была слишком красива и слишком доступна, и, может быть, не совсем случайно она бросалась в его объятия. Фрэнк не забывал о своем сценарии, может быть, это была одна из девиц, в обязанности которых входило следить на корабле за подозрительными пассажирами, теми, которых собираются схватить при высадке... Слишком умна для такой красивой девушки. Нервы Фрэнка были

напряжены, как в разгар работы, когда дело пошло и увлекает вас вперед, а здание, основа которого уже заложена, начинает строиться само собой. Момент величайших иллюзий... Может быть, и жизнь его начнет строиться сама собой?

Трансатлантический пароход слегка качало, в его огромном чреве урчали машины. Вода закипела, на волнах появились гребни. На палубе никого, даже самые неблагоприятные из пассажиров пошли спать. Один Фрэнк ходил взад и вперед, останавливался на носу, подставлял лицо ветру, соленым каплям... путь, который его предки проделали в одном направлении, Фрэнк проделывал в другом. Ему не надо было бороться со стихией, управляться с большими мокрыми парусами, с канатами, которые срывали кожу с рук... Он — тот самый чистокровный американец, в жилах которого течет кровь... список длинный. Да, кровь пуритан из Новой Англии, английских католиков из Мэриленда, голландских колонистов Нью-Йорка, шведов и голландцев из Делавэра и Нью-Джерси, англичан и немцев из Пенсильвании, гугенотов, которые нашли прибежище в Южной Каролине, французов из Луизианы, апашей и команчей, потомков кочевых племен, индейцев, негров, привезенных из Африки... Для того чтобы создать чистокровного американца вроде него, понадобилась вторая волна эмиграции в Новый свет, принесшая туда кровь немцев, ирландцев, поляков, балканцев, чехов, скандинавов, итальянцев, евреев, китайцев, японцев... Чистокровных американцев не объединяет религия — среди них есть католики, лютеране, реформисты, евангелисты, баптисты: антимиссионеры, баптисты Седьмого дня, Шести заповедей, Свободной воли, Речные братья... среди них есть исповедующие иудаизм, методисты, пресвитерианцы, квакеры, мормоны... Еще не прошло и трехсот лет с тех пор, как предки чистокровного американца проделали этот морской путь в направлении, обратном тому, в котором ехал сейчас Фрэнк. Блудные сыны старой Европы, самые смелые из них, самые предприимчивые, самые мечтательные, решительные, отчаянные, самые несчастные и самые нищие, проделали этот путь с последней надеждой в душе, что, может быть, новая земля их прокормит. По этим водам плыли мореплаватели, путешественники, колонисты, авантюристы, миссионеры, эмигранты, подышающие в трюмах судов, уже истощенные

эксплуатацией, обманутые, раздавленные... гонимые голодом... они ехали на смерть, ведь они не умели жить нигде, кроме своей страны, а там, куда они ехали, все было непохоже на их деревню, и, оторвавшись от родимой почвы, они умирали, и их хоронили в жесткой и враждебной земле.

Фрэнк шагал по открытой палубе, а влажное, свежее ночное небо состязалось в необъятности с океаном... Как знать, может быть, его предки покинули свою страну и отправились обрабатывать земли Нового света для того, чтобы колонии обогатили их родину? Может быть, это были патриоты, счастливые тем, что могут отправить англичанам в метрополию блестящий желтый песочек и табак?.. Английские мореплаватели «Мэйфлауэра» — сто пуритан, мужчин, женщин и детей, — и их потомки, основавшие Плимут, Массачусетс-Бэй, Салем, Бостон, разве они не были теми, кого мы называем патриотами? А французы, водрузившие крест и знамя Франции на пустынных берегах реки Святого Лаврентия, на Больших Озерах, на Миссисипи, в Мексиканском заливе, даже в Техасе... О, отец Маркет, Луи Жолие, Робер Кавалье де ла Саль... Только благодаря их европейской родине колонисты в конце концов создали Соединенные Штаты Америки, совершенно независимые, со своей конституцией и правительством, и стали патриотами этой новой земли и нового государства... Меньше двухсот лет отделяет первого президента Соединенных Штатов, Джорджа Вашингтона, от президента Трумэна... А между ними двумя — между ними двумя был Эйб Линкольн... *Да, старый Эйб Линкольн — это был гигант. Да, мосье, он родился в деревянной хижине и работал, чтобы прокормиться...*<sup>1</sup> То, что он сказал в свое время чистокровным американцам, теперь переложили на музыку, его проза стала поэзией, песней, созданной народом... *«Эта страна с ее учреждениями принадлежит народу, который ее населяет...»* Эта страна и ее конституция принадлежат нам, тем, кто в ней живет. *«Когда он захочет переменить существующее правительство, он сможет использовать свое конституционное право — видоизменить его или свое революционное право — удалить из него недостойных или свергнуть его»*. Фрэнк шагал по палубе и тихонько напевал эту песню... Под чем вас заставляют подписываться в анкетах? *«...и не пытаться свергнуть правительство»*... Эти слова

---

<sup>1</sup> Стереотипные пояснения гида.

не положены на музыку — они не поются. Фрэнк уже не думал о себе. Давно он начал подбирать материалы среди исторических фактов и дел, чтобы создать фильм о происхождении чистокровного американца... А сам он был только персонажем этого фильма, эпопея должна была закончиться им, Фрэнком Моссо, который плывет в Европу поклониться колыбели своего рода, он — Фрэнк Моссо, которому весь мир придется кузенами или дядями...

После большой усталости и сильного нервного напряжения Фрэнк всегда приходил в состояние, какое некоторые называют вдохновением. Фрэнк ощущал приближение такого состояния, ему хотелось спрятаться, укрыться с головой... В один прекрасный день он не вынесет этого, умрет на месте. Головокружение, звон в ушах, ноги подгибаются... Он упал в шезлонг. И внезапно произошло то чудо, пришествия которого он ждал и боялся: он превратился в зрителя фантастической и вместе с тем действительной истории... Его точная и острая память сама связывала отрывки, которые он раньше тщетно пытался склеить, все части мозаики стали на место, начала вырисовываться картина... Даты, имена, одежда, факты... поднятая рука статуи Свободы, город, исчезающий вдаль, жизнерадостный сосед, стюард, похожий на Жуве, благородные жулики, Молли, шампанское, музыка, океан... все вставало на свое место, располагалось последовательно, все было ему продиктовано... Над Фрэнком проносился шквал.

А на другое утро? Несколько слов, нацарапанных на старом конверте, забытом в кармане пиджака... Жизнерадостный сосед был в восторге, одна только мысль, что Фрэнк провел ночь с женщиной, приводила его в игривое настроение. Когда Фрэнк сказал, что он позавтракает в постели и еще немного поспит, сосед начал громко смеяться и отпускать неприличные шуточки. Пришел стюард, похожий на Жуве, и, объявив, что этой ночью многие пассажиры плохо себя чувствовали, предложил лимонного сока, утверждая, что бледность тотчас же пропадет, стоит лишь выйти на палубу. День солнечный, а красавица, с которой мосье вчера обедал, купается в бассейне.

Ничто не действует так успокоительно, как животрепещущая бесконечность океана. В Молли появилось что-то трогательное... Она утверждала, что не хочет изменять

своему другу и что Фрэнк как джентльмен не должен ее на это толкать, к тому же он ведь ей обещал этого не делать. Фрэнк думал о том, что надо располагать ничем не заполненным, пустым, как океан и небо, временем, чтобы предаваться таким развлечениям.

Чем больше он удалялся от Америки, укачиваемый атлантическими волнами, тем смешнее, безумнее казались ему все его тревоги. Молли была так хороша, а осторожность... какая осторожность? Смешно! Никому на борту не было до него никакого дела, он был свободен, как воздух. Но он все же был осторожен. Лучше дождаться суши, Парижа, Молли не испарится. Мысль, что полицейские в штатском могут его схватить в присутствии Молли, придавала Фрэнку твердость, которая огорчала Молли. Но они встретятся в Париже, не правда ли? Да, он может ей написать в посольство.

Но как только Фрэнк сошел на берег, и без каких бы то ни было инцидентов, он совершенно позабыл о ее существовании. В Гавре он видел, как она садилась в машину со знаком ДК (дипломатический корпус) на номере, и около нее было хорошо сложенный парень, который занимался ее багажом... Фрэнк, как все остальные пассажиры, сел в парижский поезд. Он снова увидит Париж!

На другой день Фрэнк явился в импортно-экспортную фирму, где его встретили очень любезно и где ему дали адрес меблированной квартиры, приготовленной для него и его семьи. Квартира была маленькая, но со всеми американскими удобствами.

С тех пор прошло четыре года, и Фрэнк Моссо, поступивший на это место с тем, чтобы немедленно его бросить, все еще продолжал служить в импортно-экспортной фирме. Четыре года, триста шестьдесят пять дней и ночей, помноженные на четыре, он переживает свою неудачу. Вначале он пытался связаться с продюсерами, обедая то с одним, то с другим... «Но что вы, собственно, хотите этим сказать?» — спрашивал продюсер после обеда, во время которого только и говорилось о том, «что он хочет этим сказать». Фрэнк начинал снова объяснять, резюмировать, выходил из себя: «Я хочу этим сказать всем ксенофобам: катитесь к такой-то матушке!» Тогда у продюсеров появлялась улыбка, которой взрослые улыбаются неисправимым, несносным детям, когда эти дети — не их дети! Они предлагали ему для проформы несколько сюжетов, кровавых,

как сырое мясо, и исчезали навсегда. Фрэнк оставил эти попытки.

В конце первого года его жена захотела вернуться домой. Доллары, которые они привезли с собой, таяли, приходилось жить на жалованье Фрэнка. Вернуться... Фрэнк написал в Голливуд одному другу, чтобы тот прошупал почву: нет, ничего не уладилось для Фрэнка Моссо, ни одна фирма не согласилась пригласить его на работу. Итак, они остались во Франции, и Фрэнк по-прежнему работал в импортно-экспортной фирме.

Но он снова начал заниматься живописью, и давнишняя страсть охватила его с новой силой. Появился маршан<sup>1</sup>, он устроил выставку... И вот, когда небольшой этот успех сошел на нет и Фрэнк, исстрадавшийся за четыре года своей парижской жизни, как от слишком узких ботинок, был на грани отчаяния, именно тогда он встретил Ольгу.

---

<sup>1</sup> Маршан — буквально «торговец». В среде художников «маршаном» называют владельца картинной галереи, которому художник по договору отдает за определенное вознаграждение некоторое количество картин в год.

## XII

Миссис Фрэнк Моссо давно это предчувствовала. Уложив детей спать, она в сотый раз перечитала письмо Фрэнка.

Ее муж исчез. Хорошо еще, что он как раз был в отпуске и что его исчезновение не могло привести к увольнению из фирмы, в которой он служил. Разговор с непосредственным начальником перед уходом в отпуск и был причиной того подавленного состояния, в котором находился Фрэнк: «Когда на вас находит тоска, Моссо,— сказал ему начальник,— лучше напиться, чем искать утешения в нездоровых развлечениях вроде живописи... а также и в опасных знакомствах...» Фрэнк был очень спокоен, рассказывая жене об этом разговоре, похожем на предупреждение, но именно это спокойствие и напугало миссис Моссо: «Мы в окружении,— сказал Фрэнк,— я не знаю, что мне делать...» Это было в субботу днем. После завтрака он сложил маленький чемоданчик, как бы отправляясь в мастерскую. Один его старый монпарнаский друг уехал путешествовать и оставил ему свою мастерскую... Фрэнк решил провести отпуск в Париже, занимаясь живописью. У них было так мало денег... Дети поедут в лагерь с другими американскими детьми, жене это будет облегчением, а ему лишь бы только писать картины, а где — не имеет значения. Фрэнк часто оставался ночевать в мастерской. Он уходил туда в субботу и возвращался домой в воскресенье вечером или даже в понедельник, после конторы. На этот раз он совсем не явился, и жена получила от него письмо... Миссис Моссо принялась в сто первый раз перечитывать:

*«Моя дорогая, я еще раз сделаю попытку приспособиться к той жизни, которую нам уготовили, но мне необходимо хотя бы две недели побыть одному. Не сердитесь на меня! Мне совершенно необходимо затеряться в толпе, не чувст-*

воват каждую минуту, что за мной следят, шпионят, я должен иметь возможность уходить и приходить когда вздумается... Бедняжка моя, сколько у вас терпенья, чтобы переносить и меня и эту жизнь. Думаю, что в одиночестве я успокоюсь скорее... Я смогу дать себе волю, мне не надо будет сдерживаться, чтобы не заставлять вас страдать от моих настроений, от смены отчаяния и надежд, от моих мыслей о самоубийстве... А вы ведь знаете, что мне не всегда удастся сдержаться. Я знаю, вы не сердитесь, вы — само терпение, но я ведь эгоист, мне тяжело видеть, как вы страдаете. Я хочу попробовать полечиться одиночеством. Может быть, я вернусь к вам в лучшем состоянии...»

Миссис Моссо вздохнула и пошла в ванную. Было только девять часов вечера, но что ей было делать без Фрэнка, когда дети уже спят? Отсутствие Фрэнка не так беспокоило бы ее, если бы у него не было сердечных припадков. Успокаивающее выражение, которое появляется на лице врачей, когда дело обстоит неважно, заставило ее насторожиться: больше не могло быть сомнений в том, что у Фрэнка большое сердце. Ему нужен покой, говорил доктор, никаких волнений, ничего такого, что действовало бы ему на нервы, покой, покой и главное сон... И он прописал таблетки... Припадок повторился... Доктор опять сказал: ему нужен покой... и снова прописал таблетки. Это было полгода тому назад. Миссис Моссо медленно раздевалась, смотря в зеркало. Может быть, он прав, и одиночество будет ему полезнее таблеток... Покой! В его отсутствие у нее будет сколько угодно времени для невеселых размышлений, особенно когда уедут дети... Она приблизила к зеркалу свою белокурую голову — с какой быстротой иссушило ее время... она так похудела... грудь у нее стала совсем плоская, как у женщины, несмотря на то, что она родила двух детей. Сквозь кожу проступили сухожилия и вены — они ее перевязывали, как пакет. Миссис Моссо опять вздохнула, быстро умылась и прошла к себе в спальню. Дети спали рядом, она прислушалась... Нет, все спокойно. Она легла и сразу потушила свет, чтобы удобнее было мечтать о прошлом, о том времени, когда у Фрэнка было имя в Голливуде, когда она была счастлива. Она вспомнила их бунгало, садик, цветы под окнами... Девочку, сидящую на зеленой лужайке рядом с корзиной очень красных вишен, и голубое безоблачное небо. Все было так красиво, как цветная реклама на

глазированных обложках журналов. И комфорт... оборудование ванной, кухни... все было удобно, все было механизировано, все делалось само собой: стирка, чистка овощей, резка, сушка... Гудок длинной белой машины Фрэнка. Тогда они были людьми, как все. Не такими, конечно, как знаменитые звезды, такие знаменитые, что у них и жизни своей больше нет. Но у Фрэнка было хорошее место, работа его оплачивалась регулярно поступающими долларами, и их количество все возрастало. Потом она еще раз забеременела, посвежела, похорошела, и Фрэнку это нравилось. Фрэнк и теперь был ласков с ней, но он был уже не тем Фрэнком... Боже мой, время шло, а она все не могла привыкнуть к этой стране, где не говорят по-английски, где ледник считается роскошью, дома ветхи и грязны, а мужчины и женщины еще меньше похожи на американцев, чем китайцы или негры. Миссис Моссо, лежа одна в постели, позволяла себе презирать французов, которые вполне довольствуются своей страной, хотя все в ней устарело — такси, магазины, дома... Счастье еще, что фирма, в которой работал Фрэнк, давала своим служащим квартиры в новых домах, где по крайней мере были холодильники и мусоропроводы... А их хваленая кухня? О ней и говорить нечего! Лягушкоеды... А дети! Не удивительно, что они такие малорослые и тщедушные, у французов нет ни малейшего представления о том, как надо воспитывать детей с точки зрения калорий... фруктовых соков... спорта... строгости. К счастью, фирма предусмотрела и это: дети служащих учились в американской школе и могли чувствовать себя, как в Штатах. А до чего французы ненавидят американцев! Если бы дело зависело от нее, она давно бы вернулась в США, как и рекомендовали американцам надписи на стенах домов. Фрэнк уверял, что к ним-то это не имеет отношения... Но миссис Моссо начинала думать, что Фрэнку свойственно заблуждаться. Ее грызла мысль, что они зря уехали из Соединенных Штатов, что у Фрэнка избыток воображения: разве люди Маккарти могли быть опасны Фрэнку, который никогда, никогда в жизни не занимался политикой? Надо было немного потерпеть, и все образовалось бы. А теперь... А теперь Фрэнк нашел другой повод для огорчений: живопись! Какой, однако, у Фрэнка несчастный характер! Вначале, когда он снова занялся живописью, он был так счастлив... А потом выставка — какой успех! Какие отзывы в печати, какие статьи... Маршан, масса любезных людей...

И вдруг — все кончено, молчание... И опять нелепые выдумки Фрэнка, будто отношение к его живописи продиктовано политическими соображениями! У всех людей бывают периоды депрессии, но у Фрэнка это уже переходит в безумие. У него бывали приступы ярости и полного отчаяния... Миссис Моссо зажгла свет и посмотрела на часы: половина одиннадцатого... Господи, какая долгая ночь впереди!

Да, это походило на безумие... Ах, как она одинока, как одинока... С сослуживцами Фрэнка они уже давно не встречались. В первый и даже во второй год их здешней жизни они общались с американской колонией... Но миссис Моссо навсегда запомнила холодность этих дам. Все реже и реже приходили приглашения на чашку чая или на какое-нибудь празднество... Тут уже была не выдумка, не вздорные мысли Фрэнка, это было действительно так. Так одинока, так одинока... Но почему? Почему? А Фрэнка никогда нет дома. То он в конторе, то он бежит в мастерскую. А теперь один уехал в отпуск... Где он? Может быть, он просто сидит в мастерской... А может быть — женщина? Миссис Моссо не была ревнива. Фрэнк не бегал за женщинами, в этом смысле ей не на что жаловаться. Если бы только у него не было странных наклонностей... живопись.. и неумеренное воображение... припадки... А теперь еще сердце! Боже мой, сердце! В Голливуде не было живописи, это в Париже на него нашло, это тут его снова охватила пагубная страсть к живописи... Он похож на пьяницу... Миссис Моссо предпочла бы, чтобы он напивался. В Голливуде это с ним случалось. Но теперь ему нельзя было пить, надо было помнить о сердце, бедном больном сердце... Голливуд, бунгало, голубое небо, зеленая лужайка, девочка и красные вишни...

Свернувшись калачиком, миссис Моссо мечтала. Она могла мечтать только в отсутствии Фрэнка, потому что когда она чувствовала, как он ворочается рядом без сна или тяжело дышит, мучимый кошмаром, она не смела мечтать.

— Мама!

Миссис Моссо вскочила с постели и побежала в темноте к кровати дочери:

— Почему вы не спите, милочка?

— Мама, я хочу домой!

— Я тоже, милая. Но это невозможно.

— Почему? Там же наш дом. Скажите мне, почему нельзя?

— Идите ко мне, милочка, будете спать у меня... Где бы мы ни были, ваш дом там, где я...

И взяв на руки слишком тяжелую для нее девочку, она отнесла ее в постель Фрэнка, говоря:

— ...А через неделю вы поедете с остальными американскими детьми в деревню. Ведь вам хочется поехать? С вашими подружками и с учительницей — она такая славная...

И миссис Моссо задремала рядом с девочкой, заснувшей в постели Фрэнка.

### ХІІІ

Дювернуа несколько раз звонил в «Гранд-отель Терминос». «417-й не отвечает...» Он настаивал. «Нет, мадам Геллер нет дома...» — «Может быть, она в отъезде?» — «Возможно...» Ольга умудрилась досадить ему даже своим отсутствием! Голос телефонистки скрипел, как вилка по тарелке: «417-й не отвечает... Нет, мадам Геллер нет дома...»

Ольга жила с Фрэнком за городом. «Честь по чести...» Дом, который ей сдала Сюзи, принадлежал, как и следовало ожидать, людям, у которых было много вкуса, но не было денег. Это была одна из тех старинных ферм, которые похожи на замок, на крепость, сложенную из серого камня, с толстыми стенами, башней и внушительными воротами. Хозяева, друзья Сюзи, начали было ремонт, но быстро сообразили, что им его не осилить: ферма эта была прямо-таки бездонной прорвой! Расхоложенные, они купили крошечный, пожалуй, даже чересчур крошечный, домик на юге... И стали поговаривать о том, чтобы продать ферму. А тем временем Сюзи, у которой было множество знакомых, умудрялась каждый год сдавать ее, и даже за кругленькую сумму. Ферма была так живописна, что люди легко попадались.

Ворота были столь широки, что в них мог бы свободно въехать дилижанс. Во дворе, замкнутом высокими каменными стенами, всюду разгулялся плющ. Направо — полный хаос: ни окон, ни дверей, одни камни, которые того и гляди свалятся вам на голову. Налево — вход в громадный пустой зал с каменными нештукатуренными стенами. Пройдя через него, вы попадали во фруктовый сад, но тут же была и каменная лестница на второй этаж. Наверху находились две жилые комнаты, огромные, завешенные

старинными тканями, битком набитые доморощенными, изъеденными червями деревянными столами, готическими креслами и аналоями, безделушками и богородицами из крашеного дерева, распятиями всех размеров и негритянскими масками... Так как зимой здесь никто не жил и дом не отапливался, ткани отсырели и стали липкими, а дерево вздулось и потрескалось. Ни за какие деньги нельзя было найти уборщицу ни в самой деревушке, ни на тридцать километров вокруг. Жильцы должны были или примириться с этим живописным беспорядком, или бежать. Однако — приятный сюрприз! — в наличии была уборная с канализацией и совсем новенький душ. Сюзи объяснила владельцам, что, если они хотят сдавать свою ферму, им придется пойти на этот расход...

В первый же день, когда Ольга показала Фрэнку его комнату, рядом со своей, Фрэнк застенчиво спросил: «Вы действительно не хотите, чтобы я поселился у вас?» — «Конечно, нет, — сказала она, — я думала, что это ясно.» — «В таких вещах никогда нет ясности...» Они стояли на пороге комнаты. Ольга прислонилась к притолоке и сказала: «Пожалуйста, не надоедайте мне, Фрэнк» — с такой невыразимой усталостью, что Фрэнк немедленно покорился, поцеловал ей руку и обещал: «Все будет, как вы захотите, Ольга». Нет, это была не Молли, Ольга не кокетничала, она не хотела, чтобы он ей надоедал, потому что ей это действительно надоело! Ну что ж, это было немножко грустно и совсем не лестно.

Комната Фрэнка выходила во двор, заросший плющом; комната Ольги — на бесконечные поля (ферма стояла на небольшом холме) и в сад. Утром их будила собака, потом трактор, который, как танк, выезжал с соседней фермы. Фрэнк ходил за хлебом, за молоком... В деревушке была бакалейная лавка, мясник приезжал два раза в неделю и заглядывал на ферму. Они ели в кухне — небольшом закутке за огромным пустым залом первого этажа; там был газ, столь же неожиданный в этой примитивной кухне с каменной раковиной, как и душ на втором этаже. Потом они выходили в сад и часами оставались там в полной неподвижности. Здесь были сливовые деревья, изнемогающие под тяжестью плодов, а под ногами ковер из опавших слив всех сортов, и пахло пчелами, сахаром, сливовым перебродившим соком... Не было ни клумб, ни дорожек, трава и цветы росли повсюду, как им заблагорассудится,

шиповник и ломонос цеплялись за стены и деревья, все утопало в зелени, сквозь которую прорывались красные, голубые, желтые вспышки... Буйные краски, щедрость, изобилие...

Август в этом году был очень жаркий. К вечеру они выходили за ограду, много гуляли. Местность была холмистая, романтическая, полная неожиданностей. Поля, поля, потом вдруг склон холма, гигантские деревья, с высоких ветвей которых зелеными потоками падали лианы, за ними можно было прятаться, ощущая себя в их зеленой тени, как на дне аквариума. На фоне этого девственного леса стояли высокие строгие стены ферм, напоминая, что здесь вы во Франции, что страна эта может быть только Францией.

Фрэнк и Ольга отдыхали. Они прополаскивали себя в тишине, как полощут белье в мыльной воде. Их объединяло какое-то молчаливое согласие, им было легко вместе... В прошлом их дороги уже перекрещивались, они хорошо понимали друг друга. Положение Фрэнка... Оно было не похоже на положение Ольги, но все в нем было ей ясно. Она знала Фрэнка так давно, она знала, какой он был в монпарнасские времена... В том, что у Фрэнка были политические неприятности, было что-то смешное. Если бы Ольге сказали, что он в пьяном виде дал по морде художнику, картины которого ему не нравились, этому Ольга легко поверила бы. Но политика... Или представить себе Фрэнка работающим в конторе... люди меняются, но Фрэнк, работающий в конторе! У него не было выбора, ему пришлось не раздумывая воспользоваться случаем, чтобы бежать... Когда у тебя дети... Результат: четыре года подряд Фрэнк ходит на службу — свежевыбритый, в американском костюме, у которого еще вполне приличный вид. Внешне Фрэнк ничем не отличался от своих сослуживцев, но он не мог не чувствовать, что покрой его души не так хорошо сохранился, как покрой его костюма. Он был американцем, но американцем довоенным, и он вел себя так, как будто он все еще жил на Монпарнасе, — ходил куда вздумается, встречался с людьми без разбору и говорил все, что ему приходило в голову. Он думал, что, живя во Франции, он защищен от нелепых неприятностей, которые у него были в США, но он ошибался! Фирма, в которой он работал, это те же Соединенные Штаты с их американской системой. Надо стараться не попасть

под подозрение. Надо выбирать своих знакомых, следить за словами, не говорить, что Поль Робсон хороший певец или что Чарли собирается выпустить фильм «Американский легион»<sup>1</sup> и это здорово... Но послушайте, даже если бы он и понял сразу по приезду, что надо быть осторожным, как мог он отвернуться от французского товарища, с которым в 1944 году праздновал Освобождение, — Фрэнк был тогда сержантом американской армии, а тот солдатом армии Сопротивления. И — надо же — оказалось, что солдат армии Сопротивления был или стал «видным членом Французской компартии»! Как Фрэнк мог об этом знать? К тому же ему наплевать, членом чего тот был... И как назло... а когда он снова взялся за живопись, ну, да это целая история, сейчас речь не об этом... Итак, он снова взялся за живопись, и тут один его старый приятель художник уезжает надолго и оставляет ему свою мастерскую... Как нарочно, этот художник тоже оказывается коммунистом! Не везет! Да к тому же еще и приверженцем предметной живописи! Если бы по крайней мере он был за беспредметную живопись! В настоящий момент абстрактное искусство служит прекрасным доказательством антикоммунистических настроений художника. Точно так же, как в гитлеровские времена абстрактное искусство считалось искусством иудео-марксистским. И в довершение все художники, у которых мастерские в том же доме, связывают искусство со своими политическими убеждениями, то есть все они — коммунисты! У Фрэнка был такой грустный вид, когда он начинал жаловаться, что не может шагу ступить без того, чтобы не наткнуться на коммунистов или на искусство, связанное с политикой, что Ольга не могла удержаться от смеха, да и Фрэнк смеялся вместе с ней... Смеяться над своими несчастьями — это помогает.

Фрэнк выкладывал все, что у него было на душе. Пусть Ольга представит себе его отношения с сослуживцами... о чем бы ни шел разговор, ведь не обойдешься без «точки зрения»; и Фрэнк опасался разговаривать с ними, потому что он не доверял своим «точкам зрения», кто их знает, может быть, они у него неподходящие? А сослуживцы тоже не особенно стремились с ним общаться, так что по

---

<sup>1</sup> «Американский легион» — реакционная организация участников первой и второй мировых войн.

молчаливому соглашению они виделись только в конторе. И все-таки он до сих пор еще как-то держится в фирме, затравленный, озирающийся по сторонам, подозреваемый и сам ставший подозрительным... Это ужасно, томительно, унижительно. «Представляю себе»,— отвечала Ольга. И действительно, она себе это прекрасно представляла. Что он будет делать, если его выставят за дверь? Вернется в Штаты? Сколько раз он уже задавал себе этот вопрос... Если его рассчитают, за ним последует заведенное на него дело! Его наверняка запрячут в тюрьму! Тогда что же, оставаться во Франции? Но если он останется во Франции с семьей, если он никогда не вернется в Америку, его дети станут эмигрантами, чужими даже для него и его жены. Они будут любить не те пейзажи и не те кушанья, что их родители, они будут представлять себе Соединенные Штаты только по фильмам, будут говорить по-английски с акцентом... Сделать из своих детей эмигрантов... Останутся ли они американскими гражданами или натурализуются, все равно: если наступят трудные времена, они обязательно окажутся под подозрением у тех или у других и в конце концов у всех. Все люди, которые не живут в своей родной стране, всегда вызывают подозрение у кого-нибудь или у всех... Ольга ничего не отвечала, она была вполне согласна с Фрэнком. «Одним словом, я не знаю, как это случилось,— говорил он,— но я чувствую, что в ближайшие дни я все равно превращусь в «нежелательного иностранца». Я, свободный освободитель Франции! Это еще не свершилось, но я чувствую, что неизбежное нависло надо мной! Знаете ли вы, что я улавливаю в эфире волны, как радиоприемник?... Только случается, что я все их улавливаю одновременно, они смешиваются, и я уже не понимаю, о чем идет речь...»

Жарясь на солнце, Фрэнк часами мог рассказывать Ольге о своих злоключениях... Ольга не расточала ему утешений... да, он попал в переплет, ничего не скажешь... но иногда все как-то улаживается... Например, если бы вспыхнула добрая война и все бы окончательно пошло вверх дном! Такого рода утешение опять вызвало у обоих смех. Фрэнк, стараясь, чтобы Ольга этого не заметила, любовался ее длинными ногами в холщовых штанах и чем-то новым, что в ней появилось здесь, в деревне, чем-то неуловимым, мягким, женственным, чего он никогда раньше в ней не замечал, даже в те годы, когда она была так хороша.

Он рассказывал Ольге, теперь он может ей в этом признаться, что он немного побаивался ее тогда на Монпарнасе... для него она была чересчур великолепна. Женщина, больше подходящая для того, чтобы выезжать с ней в свет, чем для того, чтобы возвращаться с ней к себе домой. В его воображении она была неотделима от Оперы! Сопровождать ее в Оперу, спать в Опере, есть в Опере!.. Они опять смеялись. А вот сейчас, в холщовых штанах, она была уже не из Оперы, скорее из оперетты! Коротенькая ее кофточка упрямо вылезала из штанов, оставляя открытой загорелую кожу, завернувшаяся штанина... а какие у нее были мускулы!..

Иногда Фрэнку было нелегко. Жить в такой близости с женщиной... которая становилась в его глазах все прекраснее! Но он ей обещал вести себя «честь по чести», он не хотел все погубить. А все, несомненно, будет погублено, если он осмелится... Ни разу за все эти дни и ночи, такие короткие, она не сделала жеста, не сказала слова, которые напомнили бы о том, что они здесь вдвоем, наедине, мужчина и женщина. В Ольге не было и тени искусственности, искусственность — признак зависимости от других, поскольку она доказывает, что вы с ними считаетесь. Ольга не давала себе труда притворяться, она была по-детски, совершенно естественна. Такая близкая, она была похожа на недостижимую снежную вершину, и молчание было ее обычным состоянием. Лишь изредка ей случалось обмолвиться словом или фразой о себе самой, и тогда в ее молчании как бы открывались бойницы, за которыми сверкала бездонная человеческая жизнь. Ей стоило произнести коротенькую фразу, чтобы остановить поток слов Фрэнка:

— Когда я была девочкой, у меня было сто пятьдесят миллионов друзей и подруг и еще родители. Теперь вокруг меня сорок миллионов прохожих. И у меня нет больше родителей.

Она произнесла это так же просто, как «я еще не прочла газету...» или «я потеряла носовой платок...» Фрэнк неумоимо распространялся по поводу всяческих удостоверений, паспортов для иностранцев, трудовых книжек... а Ольга слушала его внимательно, сочувственно и только раз сказала, просто так, между прочим:

— В 1945 году я пошла в консульство, чтобы попросить советский паспорт... Но когда они услышали фамилию

моих родителей... Мне не хотелось спорить. И я осталась во Франции. Мой случай очень сложный, боже мой, я это знаю. Но советские русские всех подозревают, никому не доверяют. Они переживают «время подозрений». Перед ними каждый почувствует себя виноватым. Если уж на то пошло, я предпочитаю, чтобы меня подозревали здесь. Это не так для меня оскорбительно.

Ах, для нее это были не просто неприятности, осложнения, для нее это был позор... Однажды Фрэнк засмотрелся, как она подставляла руки под струю фонтана, журчавшего в глубине сада:

— Вы любите воду, Ольга?

— Да, очень... Хотя она меня обманула. Она не смывает пятен. Прошлое похоже на следы жирных пальцев, оно отвратительно.

Молчание. Ольга вызывала у Фрэнка своего рода головокружение. Иногда он ее даже не понимал, так сокращенно она выражала свои мысли. Однажды она ему сказала:

— Фамилия моих родителей была не Геллер. Они пожалели меня и не заставили носить их слишком известное имя. Мне выдали новые документы, и я должна была называться Гельер. Почему Гельер? Я часто спрашиваю себя — почему? В Ленинграде у меня была подруга, по фамилии Геллер. Я немножко изменила фамилию Гельер — и она превратилась в Геллер! Еврейская фамилия. Отец чуть меня не избил. Но он меня боялся.

Ольга расхохоталась над своей проделкой. Но смеялась она одна. Фрэнк не находил, что это смешно. Он не понимал, что тут смешного, но решил задать Ольге вопрос только на другой день.

Они были в саду, спускалась ночь, и уже нельзя было ни читать, ни писать. С последним взмахом крыла жар-птица исчезла за стеной, и яркий сад померк. Наступило сумеречное царство запахов — жимолости, гелиотропа, роз.

— Ольга... Я не понял... Почему вы переменяли фамилию... на Геллер?

Ольга помолчала, потом, восторженно:

— Почему я взяла себе эту фамилию? Вы хотите сказать — еврейскую фамилию? В память о моей подруге. И чтобы досадить отцу.

— И все?

— И все. Все, что я могла понять в то время, когда мне было только тринадцать-четырнадцать лет. Так я жила с этой фамилией, такой же, как любая другая, до того дня... Хотите, я вам расскажу длинную историю?

— Еще бы!

— Вы помните, что я жила у Сюзи Кергуэль... Мне было тогда двадцать лет... Уже год я жила в этом проклятом особнячке и не знала, как оттуда выбраться. Комната у меня была холодная, постель, как мешок с картошкой, остальные девушки, жившие у Сюзи, меня терпеть не могли. Днем я работала, вечером убегала на Монпарнас. Но надо было возвращаться домой спать... Ванная, лестница, гостиная... Я не могла избежать встреч с жильцами. Это было мучительно. И я не знала, как выбраться оттуда. Мне помог случай... Однажды в моей конторе, в мастерской, где я работала, появился странный человек; представьте себе — небольшого роста старичок, висячие усы, белые гетры... цветок в петлице, монокль; типичный старомодный завсегдатай бульваров! Будто сошел со старой афиши. Из водевиля. И Сюзи его мне представляет: граф такой-то! Имя не играет роли. Отец двух молодых людей, которых я встречала у Сюзи... У них, как и у всех остальных знакомых Сюзи, было много вкуса и мало денег... Они были безутешны оттого, что у них не было ни замков, ни возможности держать лошадей и ливрейных лакеев... Единственное, что у них было, — это перстень с печаткой, спесь да горечь. Несчастные люди... Целыми днями они делали вид, пускали пыль в глаза... Так вот, старичок был их отцом. Он приехал из Ниццы, где вел такую же жизнь, как и другие мелкие рантье, и сэкономил целый год, чтобы на несколько дней вырваться в Париж.

Ольга улыбулась и помолчала, как бы стараясь вспомнить те времена... Она была великолепной рассказчицей!

— Когда Сюзи мне его представила, граф взобрался на высокий табурет напротив меня, как будто мой чертежный стол был стойкой бара, и принялся ухаживать за мной... да, именно это, наверное, и называется «ухаживать»... «Какая свежесть, какая свежесть... О, эти женщины, парижские женщины! Женщины хороши только в Париже! Я приглашаю вас выпить каплю портвейна, прелестное дитя... Вы не откажетесь выпить со мной каплю портвейна?.. Вы настоящая танагрская статуэтка! Настоящая

танагра! Как вас зовут? Ольга? Так вы — русская! Как это очаровательно быть русской! У вас, наверное, есть еще уменьшительное имя? Как вы говорите? Оля? Ах, как это нежно, как нежно! А как ваша фамилия, я не расслышал? Когда-то я знал многих русских. У меня были среди них друзья и дорогие мне подруги... Все они умерли от горя и разорения... У вас есть фамильное сходство с княгиней Трубецкой...» Я не прерывала его, хотя он мне немного надоел, мне надо было кончить работу... И я ему сказала... иногда я делаю такие вещи, как будто бы меня кто толкнет, и только потом понимаю... Я ему сказала: «Нет... моя фамилия Геллер...» — «Как? Эта фамилия не похожа на русскую», — сказал граф. — «Я как раз собираюсь вам сказать, что это еврейская фамилия...» Ах, что я наделала! Граф соскочил с табурета и отступил с криком: «Это недопустимо!» Он кричал невероятно громко... Я взглянула на него и положила перо и линейку. Седые волосы встали дыбом вокруг его лиловой лысины, и он рычал: «Это недопустимо! Они пробираются всюду!» Я очень испугалась, еще не понимала, в чем дело, и предложила ему стакан воды... А он продолжал кричать непонятные вещи: «Посмотрите только на нее! Каких Арчибальд выбирает себе служащих! Это же позор!..» Теперь я уже понимала, что он меня ругает, но я не знала почему, мне было не совсем ясно... потому что, когда я сказала ему, что Геллер — еврейская фамилия, у меня, наверное, была какая-то задняя мысль, но неосознанная, совсем неосознанная. Он кричал так громко, что появился мосье Арчибальд и Сюзи просунула голову в дверь... Мосье Арчибальд, сам того не желая, невольно объяснил мне, что все это значит: «Не обращайтесь внимания, мадемуазель Геллер, у графа это пунктик — он антисемит...» Антисемит! И так как его никто не выгонял, я пошла к вешалке и взяла свое пальто... я поймала себя на том, что прихорашиваюсь, чтобы окончательно вывести из себя старика! И тут же я была наказана!.. если бы вы знали, Фрэнк, как мне стало стыдно моей подлости!.. на одну только секунду подумать о том, чтобы понравиться этому старому мерзавцу!.. его надо было просто раздавить каблуком, как гадину.

Голос Ольги, ее прекрасный глубокий голос, задрожал... то, о чем она рассказывала, оказывается, была вовсе не «забавная история», а катастрофа.

— Граф не ушел, он ждал меня, чтобы еще покричать... «Поглядите на нее, она еще пытается меня обольстить! У любой из наших девушек, чистых и прекрасных, в полотняных платьицах с пояском вокруг тонкой талии, больше чувства собственного достоинства, чем у нее... У них светлая душа, стоящая всех ядовитых прелестей восточных соблазнительниц!» Чего он только не говорил, каких нелепых и безумных оскорблений не выкрикивал... Я не еврейка, в моих «прелестях» нет ничего восточного... Он оскорблял меня, как своего извечного врага! И он был прав, я ненавидела его сильнее, в тысячу раз сильнее, чем если бы я действительно была еврейкой!

Наверное, это была естественная реакция, потому что Фрэнк тоже почувствовал, как в нем поднимается ненависть...

— Я вернулась в особнячок не сразу — долго бродила по улицам. Сюзи уже была дома... Она пила чай с девушкой, по имени Нелли, англичанкой... Сюзи воспитывалась с ней в одном пансионе, в Борнемуте... Именно из-за «английского» воспитания в комнатах не было отопления, а в гостиную раскаленные угли краснели на решетке камина... угольный запах, угольная пыль тотчас же вызывали в представлении Англию. Сюзи сказала, что нечего обращать внимание на старого графа, и предложила мне чашку чая. Нелли не сказала ничего, это доказывало, что она в курсе дела. Нелли была архитектором-пейзажистом и проходила стажировку в Париже, изучая разбивку садов на французский лад... Дворянское занятие! Она не обладала широтой взглядов Сюзи... Возможно даже, она разделяла образ мыслей старого графа. Однажды я слышала, как она говорила, что, к счастью, корпорация садоводов остается чистой, потому что определенные элементы не любят возиться с землей... И сейчас я вдруг поняла, что она хотела этим сказать... А Сюзи продолжала: «Граф знаменит своим антисемитизмом, сочтите это за чудачество и посмейтесь над ним, Ольга! В двадцатом веке антисемитизм уже устарел! Вы знаете, граф по вечерам вместо электричества зажигает свечи! Разве это не такое же чудачество?» Я глотала чай и невидимые слезы... Цейлонский чай, коричневый, английский, а я люблю только золотистый китайский чай! С одним кусочком сахара, а я люблю очень сладкий чай. Сюзи старалась быть любезной... она пригласила меня остаться обедать... Правда, я должна была заплатить

за этот обед. А обед у Сюзи стоил 10 франков... У меня не было денег, это со мной часто случалось... Достаточно было купить губную помаду, чтобы у меня не хватило денег на автобус, — и приходилось идти пешком... Это было очень мило со стороны Сюзи, но я твердо решила уйти, бежать...

Ольга замолчала, и молчание длилось так долго, что Фрэнк сказал, чтобы прервать его:

— И вы туда больше не вернулись?

— Внизу, на улице, меня ждал молодой сын графа: с некоторых пор он постоянно поджидал меня вечерами на углу. Он тоже сказал мне: «Не обращайтесь внимания на моего отца — антисемитизм у него вроде мании. Он уверяет, что распознает евреев издалека, немедленно и безошибочно. Его очень разозлило, что он публично продемонстрировал обратное». Все были в курсе дела! А самый факт, что я еврейка, наверное, уже давно и долго обсуждался среди моих знакомых... И как обсуждался!.. И вот, когда он поцеловал мои пальцы, уверяя, что я настоящая танагрская статуэтка, я вырвала руку, оттолкнула его и бросилась в метро так, как бросаются в воду.

— И вы больше не вернулись к Сюзи? — спросил Фрэнк, когда Ольга опять замолчала.

— В тот вечер нет... Тогда Серж одолжил мне сто франков. Я переночевала в гостинице. Потом я постаралась распрощаться с ними «прилично»... И вот мораль басни: с тех пор я ношу еврейскую фамилию сознательно и благословляю свою детскую интуицию, которая толкнула меня на верный путь.

Ольга уже исчезла в темноте, от нее оставался только голос, а теперь и он исчез. Фрэнк неимоверно страдал оттого, что не мог обнять эту поглощенную мраком женщину.

— Но, Ольга, — сказал он робко, — не кажется ли вам, что это... донкихотство?

— Почему? Во время оккупации некоторые христиане носили желтую звезду<sup>1</sup>... Поль Элюар выдавал себя за еврея под предлогом, что его настоящее имя Гриндель... — И, очень поспешно, она добавила: — Но это не имеет никакого значения... не правда ли?

---

<sup>1</sup> Во время оккупации евреи обязаны были носить на одежде желтую звезду с надписью «еврей».

И она замолчала, как захлопывают дверь. Фрэнк больше не задавал вопросов. Ольга сидела так неподвижно, что ее плетеное кресло ни разу не скрипнуло, как будто оно было пустым. Кресло Фрэнка, наоборот, скрипело, красная точка его папиросы то поднималась, то опускалась. Каждый живет как знает, думал он, а встречаются и такие, которые выигрывают за чужой счет... И даже с блеском. Но не Ольга. Она не хочет иметь дела ни с кем. Кроме себя самой. Да, она играет в шахматы сама с собой. И не хочет других партнеров. И его, Фрэнка, тоже не хочет... А он, хотел бы он жить всегда рядом с Ольгой, с этой прекрасной загадкой? Фрэнк подумал о своей жене... Как хорошо она его понимала, как с ней было легко... Бедная, дети были ее единственной радостью, как для него живопись... Нелегкая у нее жизнь, какая женщина согласилась бы примириться, как с чем-то естественным, с его вечными отлучками? И никогда ни вопроса, ни упрека... А приступы тоски, которые на него находили! Иногда ему казалось, что он сходит с ума. Его ненадежное положение в экспортно-импортной фирме... но не это сводило его с ума: всего важнее для него была живопись... Ольга поднялась к себе, а Фрэнк еще долго оставался в темноте среди запахов сада.

Фрэнк не был похож на Ольгу... Ему недостаточно было высказаться один раз, он должен был говорить без конца. Пусть только Ольга представит себе... начинал он, и поток слов прорывал плотину... У него был один свет в окошке — живопись... Соглашаясь поступить на службу в экспортно-импортную фирму, он никогда не думал, что останется там. Он думал, что имя, которое он себе составил в Голливуде... Но нет, это ему не помогло, а конкуренция в кино была такая, что он отступился. И потом в Париже он сразу же вернулся к своей единственной и подлинной любви — к живописи! Он все время занимался ею понемногу. Но в Голливуде ему так же легко было бросить живопись, как излечившемуся алкоголику не напиваться в стране, где нет спиртных напитков. А возвращение в Париж разбудило дремавшие в нем чувства — он снова увлекся живописью! Через год у него уже накопилось достаточно полотен, чтобы устроить выставку... Выставка была настоящей маленькой революцией... Новая кровь нового мира, так говорили о нем! Похвалы, договор с маршалом, улыбки, званные обеды... В Голливуде ведь было то

же самое, вот Фрэнк и отнесся к успеху, как к чему-то само собой разумеющемуся, разве не то же самое повторилось с ним теперь, в другой области? Конечно, он видел вокруг себя немало художников, которые напрягали все силы и не могли ничего добиться — в смысле «успеха», — но Фрэнк об этом не задумывался, он только стремился совершенствоваться, идти вперед, и ему никогда не приходило в голову, что то, чего он уже достиг, может ускользнуть от него...

И тут Фрэнк начинал терять самообладание... В этом саду, где лето сконцентрировалось, как во флаконе духов, под безоблачным небом, среди природы, нарядившейся во все самое красивое, чтобы обольстить людей, бесновался одержимый; отколовшийся от человечества, Фрэнк был подобен сумасшедшему, который замыкается в своем собственном мире и не узнает общей для всех людей вселенной. Перед Ольгой был человек, истекающий кровью. Да, никогда он не представлял себе, что то, чего он уже добился, может от него ускользнуть. А именно это и случилось. То, что он принял за неистощимую жилу, оказалось просто-напросто находкой, которую нужно вернуть. Что произошло? То отношение к себе, которое он ощущал в экспортно-импортной фирме, он ощутил и в других кругах: в художественной среде, на вернисажах, у торговцев картинами, в художественных журналах... На выставках и коктейлях для прессы он стал замечать, что его подчеркнуто игнорируют. Маршан не возобновил контракта, точно так же как это сделал раньше его продюсер в Голливуде. Не сразу все стало ясным. Он понял не сразу. Никто еще не сделал ставки на его живопись, никто не вложил в нее денег, поэтому никому не было до него дела, никто не захотел его поддержать как художника... Может быть, нескольких презрительных улыбок его соотечественников оказалось достаточно? «Ах, Фрэнк Моссо, тот самый... Но что вы в нем находите? У нас он не был художником, даже дилетантом не был... Но у него были неприятности с ФБР... Крупные неприятности. Он пытается теперь отыграться на живописи. Его подозревают в коммунизме». Наверное, такие замечания сделали свое дело. Можно ли придумать историю глупее? Он кончит тем, что действительно станет коммунистом! Да, в конце концов они, наверное, правы — коммунисты! Да, в конце концов он пойдет вместе с ними бороться против общества!..

Фрэнк не очень ясно представлял себе, что такое коммунизм, да и дело было не в коммунизме. Дело было в живописи. И Фрэнк принимался разоблачать механику успеха, перечислял ухищрения, при помощи которых создаются «имена»... Правда, он был не совсем уверен, что все происходит именно так, как он говорил, как он себе представлял и как это представляют себе все, у кого нет ни успеха, ни имени. И он начинал противоречить самому себе. В наше время нет непризнанных гениев,— говорил он,— эти люди не дураки, они не так богаты, чтобы упустить «ценность», они подбирают каждый клочок, каждую крошку таланта... Да они и любят талант. Просто они заметили, что у него, у Фрэнка, таланта нет... Боже мой, боже мой, они знают, что делают! И Фрэнк вдруг принимался топтать ногами, как капризный ребенок. Этот высокий парень, в старых военных штанах, без рубашки — крепкий скелет, туго обтянутый кожей, — извивался, корчился, и Ольга видела, как движутся его позвонки, видела ребра... Он поднимал к небу свои жилистые кулаки, раскидывал руки и подскакивал, как летающая рыба... Он орал под безоблачным небом, орал цветам и сливам: «Они знают, что делают, сволочи! Но я их оседлаю, они еще будут лизать мне пятки. Никто ничего мне не запрещал, но они все делают для того, чтобы я не смел... и у них уже входит в привычку унижать меня, презирать, и ничто — ничто! ничто! — не заставит их заметить меня, отнестись ко мне со вниманием, позволить мне работать... Боже, сжался надо мной, что я ем? Ничтожество, калека или жертва американской тайной полиции? Если бы я знал, если бы я мог знать, стоит ли все это труда? А вдруг они правы? Что если я действительно только калека, инвалид, который хочет выиграть на велосипедных гонках? Но я хочу выиграть на гонках, хочу!.. Немедленно! Мне некогда ждать!.. Я хочу! Сейчас же!.. Немедленно!..

Выкрики Фрэнка становились бессвязными. Он то невнятно бормотал что-то, то выкрикивал... «Я хочу создавать фильмы, оперы, картины! У меня есть мысли, я талантлив... Мне хочется учиться, ошибаться, начинать снова... Почему они мне мешают... Мне хочется проявить себя во всю меру своих сил. И в то же время я сам говорю себе: «Да, я жалкий калека, они правы. Вот это-то и ужасно... — Фрэнк обрушивался в кресло, запрокидывая свою трагическую голову. — Жизнь проходит, Ольга, у меня уже

морщины, седые волосы, мысль застывает, становится все медлительнее, медлительнее... Где же искра божия? Мне кажется, они меня одолели...»

«Идите побрейтесь, Фрэнк,— говорила Ольга,— займитесь полезным делом».

И Фрэнк шел бриться, довольный, что Ольга отослала его, что он сможет, побыв в одиночестве, прийти в себя. Ольга обращалась с ним просто, и это всегда хорошо на него действовало. Пока Фрэнк брился, Ольга сидела в саду, в котором опять наступал дивный покой. Зерна безумия, которые были во Фрэнке всегда и раньше только придавали ему особое очарование, вдруг проросли, дали ядовитое растение... Ольга думала о том, что здесь, с ней, он еще, наверное, не так сильно беснуется, как дома, подобно ребенку, который лучше ведет себя с чужими, чем с матерью. Но она угадывала под слабым налетом временного облегчения растущую меланхолию, злорадный смех безумия... Через толстую стену, разделявшую их комнаты, она слышала, как по ночам он разговаривал сам с собой — привычка, уверял Фрэнк, которая у него выработалась, когда он писал диалоги и сам играл все роли, проверяя слова, интонации. Ольга этому не верила, он разговаривал сам с собой потому, что слова были для него своего рода защитным клапаном, он говорил, чтобы не взорваться. Пусть говорит, раз ему от этого легче. Ей было легче, когда она молчала.

Им было хорошо вдвоем. Погода по-прежнему стояла прекрасная. Покой благотворно влиял на Фрэнка, и Ольга думала, что если бы он мог прожить здесь целый месяц, она его вернула бы жене более терпеливым, успокоившимся.

#### XIV

Август — месяц летних каникул. Было воскресенье, первое августовское воскресенье. Воздух дрожал от миллионов шагов, от голосов и суетни освободившихся, вырвавшихся на природу людей. Ольге и Фрэнку захотелось в этот день быть, как все. После завтрака они пошли приодеться. Свежевыбритый Фрэнк ждал Ольгу во дворе, он надел свою лучшую рубашку в мелкую клеточку, которую он по-американски носил навывпуск, поверх фланелевых брюк. Ольга спустилась вниз, свежая, в белом полотняном платье и новых белых туфлях на низком каблучке... В этот погожий солнечный день они радостно отправились в путь.

Дорога через поле сразу увела их от людского жилья, потом они свернули на тропинку, которая завела их в густой перелесок, где в солнечных просветах роилась мошкара. Наконец они вышли на большую дорогу и поднялись по ней до перекрестка нескольких широких, гладких дорог. Они пошли наугад по той, которая пролегалa по широкому плоскогорью, где зелень деревьев, круглых, как воздушные шары, оттенялась зеленью полей и лугов. Ольга и Фрэнк были хорошие ходоки, и километр за километром так и таяли у них под ногами. Вот поселок, где по-воскресному одетые ребяташки, целая колония, ждали автобуса... звуки духового оркестра неслись из кафе под вывеской «Банкеты и свадьбы»... промчались велосипедисты, с пением и криками... старики и старушки, одетые в черное, сидели перед своими дверями в плетеных креслах и «обсуждали» молодежь, которая была теперь совсем не та, что в их время.

Выйдя из деревни, Фрэнк и Ольга свернули под деревья, чтобы поскорее уйти от большой дороги, где то и дело приходилось спасаться от автомобилей, мчавшихся в двух направлениях. У Ольги побаливала нога, — туфли тер-

ли, не надо было надевать новые. По ту сторону деревьев небольшая лужайка в низине манила к себе цветами, свежей зеленью.... Они сели на траву, радуясь отдыху и прохладе после палящего солнца на дороге. Фрэнк бронзово загорел, а Ольга будто смыла с лица пачкавшие его мелкие морщинки. Ах, как хорошо! Надо будет вернуться по другой дороге, покороче, сказала Ольга, в этой проклятой туфле оказался шов, который трет... Фрэнк встал на колени, чтобы поглядеть: да у нее волдырь на пятке! Ей, наверно, страшно больно! Обратно они пойдут самой прямой дорогой. А пока отдохнут на этой лужайке, здесь так хорошо, куда спешить?

— Здесь,—сказала Ольга,—можно любить все, что захочешь...

Часто случалось, что одной фразой она давала Фрэнку тему, которую он тотчас же принимался развивать:

— Да. Здесь мы можем любить Францию.... Это никого не касается. Можно любить свою родину и любить Францию. Страна, в которой человек родился, называется его родиной. А что мы в это слово вкладываем — это наше дело, над этим администрация не властна. Администрация устанавливает только факт нашего рождения в определенной стране, которая и называется нашей родиной. Но с родиной у нас ведь семейные отношения, которые не касаются администрации. Роль администрации ограничивается установлением места нашего рождения.

— А также девичьей фамилии вашей бабушки...<sup>1</sup> — Ольга, не вставая с места, собирала, срывая цветы вокруг себя, букетик из маргариток.

— Да, девичья фамилия бабушки... Ха-ха! Государственному управлению не легко навести порядок среди людей, вывалившихся из ящиков больших комодов, называемых континентами... Теперь, когда я представляю собой частицу этого беспорядка...

— Как после обыска,—сказала Ольга.

— Как после обыска, хотя я этого еще не испытал... Недавно я встретил одного испанского республиканца... по воле случая я все время встречаюсь с людьми, с которыми не должен бы встречаться. Он мне разъяснил много такого, о чем я только начинал догадываться... По-види-

---

<sup>1</sup> В нацистских анкетах был такой или схожий с ним вопрос, задававшийся в целях выяснения чистоты арийского происхождения.

мому, каждая страна справляется с этим беспорядком по-своему. Если все пойдет, как я предполагаю — ха-ха! — то я скоро окажусь за бортом общества — в той полосе, где все занесены в списки по карточной системе, введенной некоторыми комитетами. Есть, конечно, и такие люди, которые находятся вне закона, они проскользнули сквозь сеть, твердо решив не попадаться тем, чья задача состоит в размещении людей в таком порядке, чтобы в случае надобности каждого можно было бы немедленно найти. Не будем говорить об этой категории людей... Но те, кто еще находится в легальной полосе, хотя бы и за бортом общества, все внесены в списки «Международной организации беженцев и апатридов». И я спрашиваю вас, Ольга, как можно лишиться родины? Кто может отнять у вас родину? С таким же успехом можно сказать, что у вас не было матери. Я понимаю слово «беженец», я понимаю слово «изгнанник»... но я не понимаю, что значит «апатрид» — «лишенный родины»! Разве может Франко лишить родины испанского республиканца? Конечно, нет! Республиканец, несмотря ни на что, продолжает любить свою родину. Как вы думаете, Ольга, любовь к родине — это добродетель? Разве привычку к определенному пейзажу, к языку, к пище, которая дает физический и духовный покой, можно назвать добродетелью?

— Говорят... Говорят, что чувство, создающее героев, неизбежно является добродетелью. — Ольга вдруг оживилась: — Вполне естественное чувство называют добродетелью! Почему?.. Честность не добродетель — ненормально жульничать. Материнская любовь не добродетель — естественна мать, не любящая своего ребенка... Почему называют добродетелью такое естественное, такое эгоистическое чувство, как патриотизм? — Она уронила букетик, и маргаритки рассыпались по ее коленям. — Патриотизм — это добродетель человека, который способен любить. Вот в чем вопрос: любить или не любить. Был ли Христос патриотом?.. Но такие люди, как мы, Фрэнк, — сегодня я, а завтра, может быть, вы, — мы имеем право на любовь разве что на этой лужайке...

Ольга! Ему невыносимо хотелось обнять ее, утешить, приласкать... «а завтра, может быть, вы...» Но здесь они вместе, здесь они могут любить, могут говорить об этом... Любить добродетель, любить Францию, не отдавая в этом никому отчета, ни от кого не ожидая одобрения. Я люблю,

но это мое личное дело, ведь любовь людей, находящихся за бортом, всегда нелегальна, она всегда вызывает подозрение.

— Во все времена по земле бродили эмигранты и путешественники, — робко произнес Фрэнк, — всегда существовали люди, покидавшие свою родину в поисках богатства, счастья или приключений, чтобы исследовать или посмотреть новые земли или поклониться своим богам — посетить святые места... На свете всегда существовали беглецы, политические изгнанники и уголовные преступники, крестоносцы и паломники. Не говоря уже о кочевниках, для которых перемена места — вещь естественная и которые тоскуют по новым местам, как другие тоскуют по родине... Я думаю, что мы не должны жаловаться на нашу судьбу, на то, что мы оказались вне общества, и лишать себя из-за этого права на любовь, если только мы ее испытываем... Ведь мы не себя лишаем любви, а других. Имеем ли мы на это право?

— Не знаю, — Ольга легла на спину... Она смотрела, как по голубому небу, точно пух, летели мелкие облачка. — Может быть, есть люди, для которых все это и верно... Но вы и я, мы представляем собой «крайние случаи». Мы никому этого не скажем, но и вы и я, мы приговорены быть жертвами пожизненно... Вы — жертва максимальной нелепости, я — жертва максимально веских причин... Мы не типичны, мы карикатуры на наши собственные типы... Исключительные случаи, в превосходной степени... Как по-вашему, Фрэнк, что даст лучшее представление о человеке — карикатура или портрет, составленный из многих лиц того же типа, сфотографированных на одной пленке?... но о чем это я... Вы и я, мы не просто за гранью общества, против нас накопилось слишком много нелепых и веских обстоятельств. Верьте мне, нам надо хранить нашу любовь в тайне... Ее отвергнут...

Ольга по-прежнему следила за облачками. Они еще долго лежали так, бок о бок, подобные лежащим изваяниям на могилах. И Фрэнк так и не решился ее обнять.

Если бы у Ольги не так болела нога... Они явно заблудились, им надо было повернуть налево там, где они повернули направо. Что теперь делать? Вернуться обратно на лужайку, откуда до их фермы по меньшей мере две-

надцать километров?.. Нет, лучше уж идти дальше, может быть, они доберутся куда-нибудь, где ходит автобус. И они действительно вышли на широкую дорогу... Должна же она в конце концов куда-нибудь их привести... Дорога довольно круто спускалась между двух склонов, на которых стояли пригородные домики, окруженные садиками,— по-видимому, где-то недалеко был город. Машины и обгоняли их и попадались навстречу... Спасаясь от колес и пыли, они, ежеминутно подворачивая ноги, шли по обочине. Это шоссе не было создано для пешеходов... Бесконечная каменная ограда сменила домики, она окружала чье-то владение, по видимому избегшее деления на участки. Стена кончилась, а с ней кончилась и дорога, которая была только ответвлением магистрали, идущей из Парижа.

Уже давно центральная магистраль давала о себе знать шумом машин... Когда Ольга и Фрэнк вышли на шоссе, они остановились, пораженные: машины стояли неподвижно тесными рядами, они походили на коней, роющих от нетерпения копытом землю, пытались налезть друг на друга, терлись боками и не могли стронуться с места, не могли продвинуться ни на сантиметр... То был величайший затор, какой только можно себе представить: все машины Франции и Наварры выехали на дороги в воскресный августовский день, ведь август — месяц летних каникул. Но не успели Фрэнк и Ольга, ныряя между колесами и крыльями, с трудом продираясь через эту лавину машин, выбраться на другую сторону, где перед кафе висела табличка: «Остановка автобусов», как лавина тронулась. Шум, пыль, гудки, голоса, скрип и скрежет... Фрэнку и Ольге, которые уже привыкли к тишине, казалось, что они попали в ад! Они вошли в кафе-ресторан.

Там было сравнительно спокойно. Несколько мужчин с физиономиями, не внушающими доверия, выпивали возле стойки бара, подавальщица расставляла приборы. Фрэнк спросил, как им лучше попасть в их деревушку; оказалось, что надо было доехать на автобусе до городка Ф..., а там пересесть на парижский автобус, который высадит их на дороге к их деревушке. Автобус будет через четверть часа. Они сели за столик около окна и стали глядеть на машины... Никогда в жизни не видели они такого количества машин! Да, это действительно было августовское воскресенье, один из тех дней, когда вся страна приходит в

движение, а все население Парижа покидает город, запружая шоссе и железную дорогу... Впрочем, на этом шоссе, наверное, и в будни большое движение, и если здешнему жителю понадобится, скажем, марку купить в табачном ларьке, что напротив, ему тут никак не перейти!.. Фрэнк и Ольга пили виши, ожидание становилось томительным. «Не беспокойтесь,— сказала подавальщица,— автобус без вас не уйдет, вы его отсюда увидите...» И действительно, автобус появился в окне, как неуклюжее огромное чудовище, собирающееся проломить стену маленького кафе. Но он не сокрушил стену, а со скрежетом остановился около дверей. Надо было его не упустить! В автобусе Ольга посмотрела, что у нее с ногой... как глупо — такой пустяк, а она почти не может ступить.

Городок Ф..., где они вышли из автобуса, тоже был переполнен до краев. Сильно пострадавший от войны, он переживал величайший беспорядок реконструкции: леса составляли прохожих шагать прямо по мостовой среди машин; обвалившиеся стены, черный щебень развалин, рельсы, балки, горы камней, а рядом безупречно белые новые здания и земля, посыпанная белой пудрой обвалившейся штукатурки; собор все еще был заключен в прозрачную клетку лесов; зато мост был готов, он кишел машинами и пешеходами — громадный, широкий, удобный, куда великолепней прежнего, разрушенного немцами. Воскресная толпа проникала всюду, она наводнила улицы, быстро просачивалась между домами там, где улицы были только еще в зародыше. Ольга хромала...

В «Кафе-Табак»<sup>1</sup>, около которого была остановка автобуса, им сказали, что следующий автобус будет только в восемь часов. Если они хотят, они могут взять номера на очередь. Они заплатили за номера и пошли обедать, хотя еще не было семи часов<sup>2</sup>. Но надо же было убить время, спрятаться от толпы, от машин, — даже Фрэнк слишком устал, чтобы бродить по улицам. Они вошли в первый попавшийся ресторан, угощавший посетителей по стандартным ценам.

<sup>1</sup> «Кафе-Табак», или просто «Табак», — кафе, в котором продаются папиросы и марки. Вывеска «Табак» — большая красная сигара.

<sup>2</sup> Во Франции обедают обычно в восемь часов.

движение, а все население Парижа покидает город, запуская шоссе и железную дорогу... Впрочем, на этом шоссе, наверное, и в будни большое движение, и если здешнему жителю понадобится, скажем, марку купить в табачном ларьке, что напротив, ему тут никак не перейти!.. Фрэнк и Ольга пили виши, ожидание становилось томительным. «Не беспокойтесь,— сказала подавальщица,— автобус без вас не уйдет, вы его отсюда увидите...» И действительно, автобус появился в окне, как неуклюжее огромное чудовище, собирающееся проломить стену маленького кафе. Но он не сокрушил стену, а со скрежетом остановился около дверей. Надо было его не упустить! В автобусе Ольга по-смотрела, что у нее с ногой... как глупо — такой пустяк, а она почти не может ступить.

Городок Ф..., где они вышли из автобуса, тоже был переполнен до краев. Сильно пострадавший от войны, он переживал величайший беспорядок реконструкции: леса составляли прохожих шагать прямо по мостовой среди машин; обвалившиеся стены, черный щебень развалин, рельсы, балки, горы камней, а рядом безупречно белые новые здания и земля, посыпанная белой пудрой обвалившейся штукатурки; собор все еще был заключен в прозрачную клетку лесов; зато мост был готов, он кишел машинами и пешеходами — громадный, широкий, удобный, куда великолепней прежнего, разрушенного немцами. Воскресная толпа проникала всюду, она наводнила улицы, быстро просачивалась между домами там, где улицы были только еще в зародыше. Ольга хромала...

В «Кафе-Табак»<sup>1</sup>, около которого была остановка автобуса, им сказали, что следующий автобус будет только в восемь часов. Если они хотят, они могут взять номера на очередь. Они заплатили за номера и пошли обедать, хотя еще не было семи часов<sup>2</sup>. Но надо же было убить время, спрятаться от толпы, от машин, — даже Фрэнк слишком устал, чтобы бродить по улицам. Они вошли в первый попавшийся ресторан, угощавший посетителей по стандартным ценам.

<sup>1</sup> «Кафе-Табак», или просто «Табак», — кафе, в котором продаются папиросы и марки. Вывеска «Табака» — большая красная сигара.

<sup>2</sup> Во Франции обедают обычно в восемь часов.

Обед получился праздничным. Успокоившись относительно возвращения домой, они были рады отдохнуть. Ресторан мало-помалу наполнялся, и этот августовский вечер был похож на конец свадьбы, когда молодые уже удалились, а гости — в изнеможении от съеденного и выпитого, от шуток, песен, танцев... Молодые забыты, у торжества уже нет центра, оправдания, все пришло в беспорядок, чувствуется усталость и какое-то разочарование.

Фрэнку и Ольге было хорошо за маленьким столиком, украшенным цветами. Очень уютно. Обед был до того плохой, что оставалось только смеяться. Кассирша, которая не знала, над чем они так искренне потешаются, смеялась издали вместе с ними. Они чувствовали себя чудесно затерявшимися в этой занятой едой толпе, для которой они были всего лишь августовской влюбленной парочкой. «В конце концов,— говорил Фрэнк,— может быть, они не такие уж плохие, все эти люди, такие же потные и усталые, как мы. На то и воскресенье, чтобы уставать и потеть». Они вели себя, как все. Как все! Фрэнк был в состоянии блаженного упоения... «Зачем страдать,— говорил он,— не надо возводить свое несчастье в систему. Все еще может измениться. По взмаху волшебной палочки. Не обязательно быть Наполеоном, чтобы зависеть от войн и революций, политика часто влияет на судьбы самых обыкновенных людей... простых людей, как теперь говорят. Посмотрите биографии великих людей, все они зависели от чудес, случайностей, несчастий... Всегда происходило что-нибудь, что их спасало, а пока что надо заниматься своим делом, работать изо всех сил. Замкнуться в своем ремесле, сделать из него панцирь и не позволять себе терять время из-за окружающей тебя ненависти. Работать, работать и работать! Ольга улыбкой подтверждала, что он прав, и Фрэнк чувствовал себя бесконечно ей благодарным: она возвращала ему жизнь, с каждым днем он обретал кусочек жизни, постепенно он вернет ее себе всю-всю, целиком! Но надо было торопиться на автобус!..

День склонялся к вечеру. Перед «Табаком» стоял длинный хвост, загораживая тротуар и террасу; от посетителей, которые только еще собирались обедать, уже шел запах анисовой водки. Фрэнк достал свои номера и пытался выяснить, когда будет автобус и где их место в очереди... Как раз в этот момент произошло какое-то движение,

началась давка: подъехал автобус — пустой! Если только это тот самый... Ольга и Фрэнк кое-как протиснулись во всеобщей сутолоке. Но водитель вышел, не выключив мотора и не открыв дверь для пассажиров... Он вихрем вбежал в «Табак», тут же вернулся, вскочил на свое место и тронулся без всяких объяснений, оставив позади себя ошеломленную, обескураженную очередь. А ведь это был парижский автобус, тот самый, который должен был подвезти Ольгу и Фрэнка. Они остались на тротуаре, где уже стояла не очередь, а просто толпа усталых и довольно мрачных людей... Еще один автобус остановился перед «Табакком», и снова началась давка; кондуктор крикнул: «Только в Париж!» — и Фрэнк с трудом вытащил Ольгу из толпы пассажиров, бросившихся к автобусу... Автобус отошел, а на тротуаре было все так же много народу. Фрэнк возмутился: такой беспорядок! Он отправился за разъяснениями в «Табак» и вернулся разозленный: они там не знают, будет ли сегодня автобус, в общем они ничего не знают, никто ничего не знает... Зачем же они тогда им сказали, что автобус будет, и что это за порядковые номера на очередь? Должно же быть расписание? Фрэнк и Ольга топтались на месте в ожидании. Люди вокруг них ждали, как и они, и тоже не говорили ни слова. Когда еще один пустой автобус остановился перед «Табакком» и шофер, забежав туда, отбыл с грохотом, опять оставив всех ожидавших на тротуаре, терпение Фрэнка лопнуло. «Что это значит?» — закричал он, призывая в свидетели людей из очереди, — впрочем, очереди уже не было, все разбрелось, сидели где попало: на краю тротуара, на столах и стульях террасы «Табак»... Никто ему не ответил, а некоторые даже отвернулись, как будто он совершил какую-то неловкость. Но чем меньше Фрэнк находил отклика, тем больше он распалялся, кричал... Что случилось со всеми этими людьми, почему они позволяют, чтобы над ними так издевались? Фрэнк переходил от одного к другому, пытаясь вызвать в них возмущение, а сам все больше раздражался и говорил все громче. «И потом, — кричал он, — я первый раз вижу, чтобы за порядковые номера брали деньги, да еще зря!» И вдруг какой-то невзрачный и вялый господин из толпы сказал очень отчетливо:

— Вы просто склочник, мосье, все ждут, ждите и вы, как все.

— Вы, значит, тоже из этой лавочки,— завопил Фрэнк,— по какому праву они берут с людей деньги, это незаконно!

Тут в ответ ему раздались выкрики, все кричали и смеялись, и, честное слово, они издевались над ним.

— Посмотрите-ка на этого шута! — крикнул кто-то... какой-то молодой человек, сидевший на столике рядом с девушкой.

Внезапно вспыхнуло всеобщее раздражение против Фрэнка... Эта толпа, которая должна была бы поддержать его, обрушилась на него, издевалась над ним, дразнила его, высмеивала. В довершение всего, расталкивая собравшихся, появилась подавальщица из «Табака»:

— Вот ваши деньги, мосье! Они нам не нужны! — И она попыталась сунуть Фрэнку в руку сто франков мелочью.

— Отдайте их кому-нибудь другому! — завопил Фрэнк, бросая деньги в голову невзрачному вялому господину, который первый назвал его «склочником». Тогда из-за какого-то столика поднялся толстый человек, в сером костюме, со сползавшими брюками.

— Посмотрите на этого склочника, на этого шута горохового,— загремел он,— приехали к нам со своим уставом! Убирайтесь к себе, мосье, туда, откуда приехали!

Толпа смеялась и кричала: «Шут гороховый! Склочник!..» Больше всего поразила Ольгу молодая парочка, сидевшая на столе и надрывавшаяся от крика...

— Дураки! — рычал Фрэнк, делая беспорядочные движения.— Вам нравится, чтобы вас обворовывали и заставляли торчать на тротуаре! Вам нравится сделка между автобусами и «Табаком»!

— Вы мне надоели! — заявил толстый человек и пошел на Фрэнка.

— В 1944 году вы мне были рады! — вопил Фрэнк.— А вы, что вы тогда делали, толстопузый!

Толстопузый размахнулся и опрокинул Фрэнка в одну из кадок с цветами, обрамлявших террасу. Прежде чем Фрэнк поднялся, Ольга встала между ним и толстяком: «Бандиты...» — прошипела она с такой сдержанной яростью, что толстяк заколебался: как-никак женщина, дама. Фрэнк, поднявшись, хотел кинуться в драку, но два официанта, вышедшие из кафе, схватили его под руки и, вытолкав на мостовую, потащили за собой... Ольга

пошла за ними на противоположный тротуар. Фрэнк вырывался, машины, чтобы не раздавить их, шарахались, тормозили, гудели... Фрэнк был похож на Лаокоона, отбивающегося от змей! Подъехавший автобус, к счастью, скрыл их от толпы, у которой теперь было дело поважней. «Ну, ну, мосье,— говорили официанты,— мы вам советуем не задерживаться здесь, для вас же будет лучше...» И они отошли...

— Пойдемте на вокзал, возьмем такси,— сказала Ольга.

Они отправились на вокзал. Идти было недалеко, но Ольга, как ни старалась, хромала, припадая чуть не до земли...

— Вам больно, бедная девочка...

Голос Фрэнка, раздавшийся на темной мрачной улице, причинил ей еще большую боль, чем нога: она понимала, что он пришел в такую ярость главным образом из-за ее ноги, при мысли, что опять, хочешь не хочешь, а придется ей идти пешком... Она прекрасно понимала, что он вспылил из-за этого.

Такси на вокзале не оказалось, большая площадь была темна и пустынна. Они зашли в кафе — посоветоваться: да, может быть, в каком-нибудь гараже еще есть такси, надо позвонить. И действительно, им обещали прислать машину. С этого и надо было начать, как они сразу не догадались.

В стареньком такси, шофер которого запросил с них двести франков за двадцать километров пути, они ехали, прижавшись друг к другу. Внешний мир состоял из толчков и запаха бензина в слепой, глухой ночи...

Фрэнк заплатил шоферу. Они вошли в большой прохладный дом. Ночной аромат цветов, чернозема, необъятное звездное небо... Все это было не для них.

На другой день они оставили деревушку так поспешно, как спасаются бегством.

## XV

Они вернулись в августовский Париж. Париж иностранцев. Пустой Париж. И Ольга и Фрэнк вернулись каждый к своей жизни, как будто они никуда и не ездили.

Миссис Моссо была счастлива: вот он, ее муж, ее Фрэнк! Она так беспокоилась о нем, она была так одинока — ведь дети тоже уехали на каникулы. Она не спрашивала у Фрэнка, где он пропадал целых две недели, не подавая признаков жизни. Наверное, тут кроется что-нибудь, связанное с живописью, этой его открытой раной. Не надо ее касаться.

Фрэнк вернулся довольно мрачный, неразговорчивый, но он хорошо выглядит, загорел дочерна, глаза блестят. Она не хотела раздражать его вопросами. Покой, ему ведь нужен покой, сказал доктор. Несмотря ни на что, тот день, когда ранним утром Фрэнк переступил порог ее комнаты, был счастливым днем. Третье августа было счастливым днем! Пока Фрэнк принимал ванну, она, громко разговаривая, чтобы он мог слышать ее через открытую дверь ванной, готовила кофе. Сама она была еще в пижаме... За время каникул, проведенных среди американских детей, говорила она, девочка, может быть, почувствует ту американскую атмосферу, по которой она так тоскует.

— Кто-то ее настраивает, — донесся голос Фрэнка сквозь шум воды, — это неестественно, чтобы ребенок восьми лет, четыре года проживший во Франции, до сих пор оплакивал Голливуд.

Миссис Моссо возражала: девочка — настоящая американка, родина у нее в крови!

— Ну да, в крови, в крови, — донесся из ванной ворчливый голос Фрэнка, — по-моему, надо воспитывать их по-другому и отдать во французскую школу. Раз нам приходится жить во Франции, надо сделать из них настоящих

французов. Они не должны отличаться от других детей ни произношением, ни одеждой, ни привычками, ни образом мыслей.

— Разве можно так говорить, Фрэнк, — он услышал из ванной, как захлопнулась дверца холодильника. — Да это и невозможно, никогда наша бедная девочка на это не пойдет. Джон, может быть, и согласится, а она — нет. И потом, мы ведь здесь все-таки не на всю жизнь. Не думаете же вы, что мы останемся здесь навсегда, вы ведь просто пошутили, Фрэнк?

Фрэнк появился в дверях кухни в купальном халате, босиком, его мокрые блестящие черные волосы прилипли к черепу. Бронзовая с красноватым оттенком кожа казалась еще темнее от белизны халата. Жена любовалась им... Он был красив, слишком красив для нее. Она разлила кофе и села напротив Фрэнка, который с явным удовольствием принялся за ледяной грейпфрут. Какие у него были усталые, провалившиеся глаза... Теперь, когда она его лучше разглядела, оказалось, что он не так уж хорошо выглядит. Миссис Моссо слегка отодвинула свой стул, поставила чашку на стол.

— Вы ведь просто пошутили, Фрэнк? — повторила она.

Фрэнк оторвался от своего грейпфрута: когда его жена не была накрашена, отчетливо выступала ее бескровная бледность, а неподведенные глаза были совсем белесые... Желтые зубы. Фрэнк представил себе Ольгу такой, какой он ее видел по утрам, в саду, пахнувшем нагретыми солнцем сливами и розами... Светящийся взгляд серых глаз под соболиными бровями, пепельная волна волос на шее... Четкий контур фигуры, туго завернутой в коричневый шелк кожи. Острая жалость сдавила Фрэнку горло: его жена, бедная его жена... Он вернется к вопросу о школе в другой раз, не стоит говорить об этом сейчас, сразу по возвращении... Да к тому же ей все равно никогда не понять.

— Мы, как и все, зависим от общей ситуации, не так ли? — Фрэнк взял сухие, с вздувшимися венами руки жены и поцеловал их. — Все это должно же когда-нибудь кончиться, моя дорогая... Одевайтесь, пойдемте погуляем по городу, как туристы, если только вы не возражаете...

Миссис Моссо пережила несколько счастливых дней. Фрэнк, заботливый, внимательный, как влюбленный, показывал ей Париж. Вот уже четыре года они в Париже, а она знала только бульвар Сюше, где они жили, гастрономические магазины на углу, Булонский лес, куда она водила детей, «Труа-Картье», куда она ходила за покупками, Елисейские поля, где они смотрели американские фильмы... И вот Фрэнк показывал ей Париж. Как он любил этот город! Никогда он так не говорил о Нью-Йорке, где он родился, и, уж конечно, никогда — о Голливуде! «Разумеется, — ответил он, когда она сказала ему это, — однако то, что я люблю Париж, не мешает мне любить Нью-Йорк... Нью-Йорк — это я сам, а себя я, разумеется, люблю! Париж же я люблю, как любят другого человека, как любят женщину, беспрестанно ею любуюсь!..»

Он рассказывал своей жене о камнях Парижа, о парижской толпе, о его мостах, о его улицах, о его деревьях... Миссис Моссо воображала себя одной из туристок, тысячи которых бегают по улицам с фотоаппаратом на ремне, во все глаза разглядывая Париж. В Тюильри и на Монмартре огромные автобусы из Голландии, Скандинавии и других стран сверкали блестящим лаком и никелем, гиды висели на подножках, держась одной рукой за поручни, а другой яростно жестикулируя в пояснение своих разглагольствований. У миссис Моссо был свой личный гид. Фрэнк обещал свозить ее в Версаль и в Робинзон<sup>1</sup>, покатать на лодке, показать Лувр, музей Гревен, Сакре-Кер<sup>2</sup> и Пер-Лашез, покормить ее на Центральном рынке, на площади Тертр и в ресторанчиках, которые были известны ему одному. Казалось, судьба даровала миссис Моссо небольшую передышку. Как бы счастлива она была, если бы и впрямь оказалась туристкой, уверенной, что вернется на родину и там, вспоминая чудесное путешествие, ощутит всем существом, что все-таки нет ничего на свете лучше своего дома!.. Но она охотно соглашалась с тем, что все, что ей показывает Фрэнк, прекрасно. От детей они каждый день получали открытки; они писали, что здоровы, поправляются, им весело. Миссис Моссо была счастлива, и если счастье ее продолжалось недолго, то не Фрэнк был в этом повинен.

---

<sup>1</sup> Робинзон — место прогулок под Парижем.

<sup>2</sup> Сакре-Кер — название собора.

Никто не ожидал Ольгу в отеле «Терминус». Августовский Париж, Париж одиночества...

Когда будешь большая,  
Отдадут тебя замуж  
В деревню большую, в деревню чужую,  
И утром там дождь, дождь,  
И вечером дождь, дождь...

Стоя в своей комнате у стеклянной двери балкона, Ольга смотрела на Париж, большую чужую деревню, на дождь. Не превращать несчастья в систему... Они попробовали взять судьбу в свои руки, считать, что за гранью стоят остальные, а они — крошечная сердцевина громадного плода. Но можно ли за несколько дней превратиться в центр мироздания, когда столько лет бродишь по его задворкам? Достаточно было ничтожного случая на автобусной остановке, чтобы снова оказаться за какой-то гранью, вне жизни всех остальных людей, ощутить себя в чем-то не такими, как все... Это было обидно и печально из-за Фрэнка, — ей так хотелось ему помочь, так от всего сердца хотелось помочь; что же касается ее самой... Отдых кончился. И все это потому, что в один прекрасный день ей вздумалось купить себе туфли на низком каблуке...

Телефон... Кто может ей звонить в опустевшем Париже?.. Фрэнк?.. «Здравствуйте, мадам Геллер, наконец-то! Вы неуловимы!..» Это был голос Дювернуа. Она молчала. «Алло! Алло! — кричал голос. — Алло! Вы слушаете? Да не разъединяйте же, черт возьми! Мадам Геллер! Ольга! Алло! Алло!» — Ольга повесила трубку. Она ненавидела этот голос. Он был совсем как те голоса с автобусной остановки. Ольга пожалела, что не обругала Дювернуа... Но он бы не понял, за что! Оскорбление должно бить без промаха. Ольга опять подошла к балкону:

...и утром там дождь, дождь,  
и вечером дождь, дождь...

Опять звонок! На этот раз ей придется ответить ему невежливо! Неужели этот Дювернуа не понимает, как он ей неприятен! Ольга колебалась, брать ли трубку, телефон продолжал звонить... Она все-таки подошла... Женский голос: это была Сюзи. Она никак не ожидала, что застанет Ольгу в Париже! Зачем, спрашивается, она тогда звонила? Да просто на всякий случай, не рассчитывая за-

стать, она сама тоже совсем неожиданно оказалась в Париже. Но все-таки, почему Ольга не на ферме, которую Сюзи ей сдала? Значит, жить там действительно невозможно? Ольга не могла удержаться от смеха: что же, значит, Сюзи думает, что на этот раз она несколько переборщила? Сюзи с возмущением восклицала: не может быть, ферма — рай, но тем не менее ей говорили... и так как Ольга оказалась в Париже... Ольга ее успокоила: эта ферма действительно — райское место... А в Париже Ольга совершенно случайно, так же как и Сюзи. Но у Сюзи, наверно, к ней дело? Да, раз уж Ольга чудом оказалась здесь, то у Сюзи будет к ней просьба... Она только что вернулась из Довиля со своим другом князем... Да нет, ничего подобного! Она просто воспользовалась его машиной... Князя вызвали телеграммой: его невестка пыталась покончить самоубийством, а так как Сюзи узнала, что в Париж приехал один ее важный клиент из Нью-Йорка... Да нет, нет, она не умерла. Просто сумасшедшая! Она только что родила и, едва родив, приняла огромную дозу снотворного... Да, ведь Ольга ее знает, она тоже жила у Сюзи в тридцать седьмом или тридцать восьмом году... Нет, не помнит? Такая высокая девушка, страшная мямля?.. Как я могу ее помнить, отвечала Ольга, в тридцать седьмом году я уже давно не жила у вас... Неужели? Не может быть! Впрочем, верно... Но все равно Ольга, может быть, вспомнит, как один раз, когда она была у Сюзи, Сюзи ей рассказывала, что у нее неприятности из-за одной из живущих у нее девушек: вместо того чтобы ходить на лекции, она встречалась с «товарищами»... с коммунистами! Родители об этом узнали и позволили себе потребовать у Сюзи отчета... Как будто она обязана была следить за их дочерью!

— Уверяю вас, Сюзи, я ее не знаю, это было не в мое время.

— Вы думаете? А я была уверена!..

В голосе Сюзи чувствовалось разочарование...

— Может быть, отдаленно...— Ольга совсем не помнила девушки, которую Сюзи назвала мямлей, но ей хотелось наконец узнать, в чем же дело.

— Видите ли...— голос Сюзи пропал.

— Алло! — сказала Ольга.

— Да, да, я у телефона... Одну минуточку! Вы не могли бы заехать ко мне? Я была бы так рада вас видеть...

Что же... Который теперь час? Шесть часов? Хорошо. Она выезжает. Ольге совершенно нечего было делать. А время не шло, оно стояло как вкопанное.

Особняк Сюзи можно было принять за антикварный магазин, из тех, очень дорогих, что на набережных или на улице Фобур Сент-Онорэ. Ольгу всегда подмывало осведомиться у Сюзи о цене мебели и прочих предметов — как это иногда случается, когда заведомо известно, что цена тебе не по карману, но уж очень все красиво! В этом доме не оставалось ничего, что могло бы напомнить Ольге те дни, когда она здесь жила; и каждый раз, как она попадала к Сюзи, дом бывал обставлен по-новому. На этот раз бывшая английская гостиная превратилась в очень светлую гостиную Людовика XV, кресла и кушетки были обиты материей, затканной птицами в гирляндах цветов. Расшитый крестиком ковер — букеты по белому полю — был так красив и изыскан, что на него страшно было ступить. Даже камин был другой, прелестный, из белого мрамора с бронзой. Ольга любовалась им, и Сюзи сказала с легким вздохом, что все это должен увезти с собой американский клиент... Да, даже камин. А Сюзи ничуть не изменилась. По-прежнему выхоленная, причесанная волосок к волоску, одетая в хорошо сшитый светлый костюм... рядом с перстнем-печаткой на мизинце она носила теперь на безымянном пальце обручальное кольцо и перстень с большим бриллиантом.

— Seriously, Ольга, вам не слишком плохо было на ферме? У меня угрызения совести... В прошлом году жильцы уехали в середине лета, но я думала, что они слишком привередливы...

— Напротив, мне там было очень хорошо. А сейчас мне лучше в Париже.

— Ах, так! Ну прекрасно. Хотите оранжада? В такую жару...

— У вас прохладно, — сказала Ольга, выжидая, когда Сюзи наконец решится попросить ее о том, о чем она хотела ее попросить.

— Да, но все-таки в Довиле лучше... Правда, ужасная история? Женщина, покушающаяся на самоубийство на другой день после родов?

— Мне ведь эта история неизвестна.

Сюзи посмотрела на нее и улыбнулась:

— А вы все та же, Ольга! Все та же невозмутимая

красавица. Но как вам идет загар! Да, это ужасная история... Бедная Марта не хотела убить своего ребенка... мальчика... Мне рассказывали, что когда князь, этот старый циник, получил телеграмму, он стал страшно ругаться по-русски... говорят, что в русском языке есть ужасающие ругательства! Это правда? Он проклинал своего сына! Проклинал все на свете... Марта замужем за сыном князя, я не помню, успела ли я вам об этом сказать.

— Какого князя? — спросила Ольга, перебивая Сюзи.

— Да князя Н...! Это поразительная история.

И Сюзи рассказала Ольге то, о чем князь поведал Дювернуа в тот день, когда они завтракали вместе в русском ресторане: как женщина, которую князь очень любил, бросила его, оставив ему сына, как князь избавился от этого ребенка, Феде, поручив его своим старым слугам, как эти слуги прикармливали деньги князя и плохо обращались с его сыном... Потом они поместили Федю в русскую школу, но он ее не кончил, его выгнали... Федя — хулиган, человек порочный. Князь мстил сыну за мать, а теперь пожинал плоды своей мести... Федя — игрок, он слоняется по Монмартру, занимается темными делами и живет на случайные доходы. Ко всем его делам-делишкам примешивается политика, ненависть к коммунистам, и не только к коммунистам, но также и к французам... Однажды летом Федя поехал отдохнуть к своим приемным родителям, которые купили домик в Бретани. Марта, дочь владельцев замка, была уже не первой молодости... Федя, вдруг решив зарабатывать себе на жизнь, поступил в замок помощником садовника и... сошелся с Мартой.

— Как странно... — равнодушно сказала Ольга.

— Не правда ли? Вы не помните Марты, но это очень на нее похоже! Блюсти себя до тридцати лет, чтобы отдалась этому негодю только потому, что она приняла его за рабочего! Если бы еще это был настоящий рабочий, но нет, несчастная Марта всю силу воли употребила, чтобы сделать как раз обратное тому, чего хотела! Она жила в замке круглый год, родители ее там буквально заперли, так они боялись ее воззрений... Во время войны она помогала Сопровтивлению и в результате вступила в коммунистическую партию... Но у нее не хватало силы воли, чтобы вырваться из замка! Когда Марта объявила родителям, что она беременна и что ее любовник — помощник садовника, они немедленно согласились на брак. Все знали, что

это за садовник, все знали, что у его отца огромное состояние, все, кроме Марты.

Сюзи помолчала. Но Ольга ничего не спрашивала... Тогда Сюзи возобновила рассказ: в мэрии, когда Марта узнала, что ее будущий муж — князь, она едва не упала в обморок... Все наоборот! Марта искала «прекрасного» рабочего, а «принцы» вызывали у нее отвращение... У этой сумасшедшей хватило решимости только на то, чтобы отказать венчаться в церкви, она угрожала устроить там публичный скандал. И вдруг, без всякого перехода, Сюзи спросила:

— Ольга, вы бы не отказались повидаться с князем?

— Зачем? Я знаю этого господина.

— Вы знаете князя?

— Да, по слухам!

Сюзи почувствовала себя на зыбкой почве, что-то тут было не ладно... Однако ей хотелось оказать князю услугу: среди прочих благодеяний он направлял к ней клиентов. А князь хотел встретиться с Ольгой. Сюзи сказала наугад:

— Ольга... Я не знаю, что вы слышали о князе. Это просто очень несчастный старый человек.

По правде говоря, она боялась Ольги. В глубине души она всегда испытывала перед Ольгой своего рода страх... ее пугала биография Ольги, пугали ее поступки, невысказанные мысли... И в данный момент Сюзи положительно не знала, как ей быть.

— Пусть войдет,— сказала Ольга.

Сюзи была потрясена... Откуда Ольга знала, что князь здесь, рядом? Она ничего не сказала, встала и открыла дверь в бывшую маленькую гостиную, а теперь столовую, обставленную мебелью из желтой полированной вишни.

Князь величественно вошел и издали поклонился Ольге:

— Ольга Александровна... Оля! — сказал он, тяжело дыша.

— Опять вы... — сказала она.

— Оля... Жена моего сына при смерти... и она сходит с ума. Ей хочется увидеть кого-нибудь из «товарищей». А ее муж отказывается идти за... ну! как бы вы их там ни называли... Я не знаю никого, кто мог бы говорить с ней на ее языке. По дороге в Париж мадам де Маллар, Сюзи, случайно мне рассказала, что она сдала вам ферму.

И я подумал... Ведь и ваша жизнь... вам тоже жилось не всегда легко... Я подумал, что, может быть, вы сможете понять Марту, поговорить с ней. Я не знаю ни одного коммуниста.

— Это нелепо, — сказала Ольга, — вы и меня не знаете.

— Оля! Я тебя знаю...

Больше четверти века прошло со дня последней встречи Ольги и князя. Именно князь был возле ее отца, когда тот бежал. Именно он занялся потом Ольгой, ее документами, ее учителями, ее замужеством. Это тяжелое лицо с черными глазами навывкате под черными выгнутыми бровями, с очень резко очерченными губами, с двойным подбородком было как бы лицом ее несчастья. Теперь этот Петр Великий стал стариком, у него седые волосы и живот, как бочка... Да, вот уже четверть века прошло с тех пор, как Ольга ушла из навязанной ей жизни, просто взяла и ушла, даже не хлопнув дверью. Первые двенадцать лет, прожитых в Советском Союзе, оставили на Ольге более глубокий след, чем все то, что ей пытались внушить позднее, чем все то, что пытались предпринять, чтобы дать ее жизни определенное направление. Князь смотрел на эту высокую женщину, прислонившуюся спиной к камину, и ему вспоминалась та совсем молоденькая девушка в глубине парка в Ницце... Это было сразу же после бегства ее родителей, их спрятали там, на этой расположенной около русской церкви вилле, окруженной огромным парком... Он, как сейчас, видел Ольгу в желтой аллее мимоз... ах, как она была хороша в четырнадцать лет! Фигура, как у мальчика, как у маленького гимнаста... и прелесть, нежное очарование... Ему слышался ее крик: «Опять вы, всегда вы, везде вы!..» Щенок, бросившийся к ногам Ольги, отвел выстрел: она стреляла из маленького револьвера. Если бы не щенок, она бы наверняка ранила князя, может быть, даже убила бы его. Князь понял тогда, на что способна женщина, когда ее страстная политическая убежденность наталкивается на преграду... Так по крайней мере объяснил себе князь чувства Ольги. И он говорил тогда, так же как повторял это и теперь, что в его время одна лишь любовь могла довести женщину до преступления. И вот его невестка, раздираемая противоречиями между любовью и убеждениями, покусилась на самоубийство... Да, если бы не щенок... Отец Ольги прибежал слишком поздно: когда он схватил дочь за руку, она уже выстрелила.

Между Ольгой, которая стояла прислонившись спиной к белому мрамору камина, и князем, прислонившимся к двери на другом конце салона Сюзи, молчаливо присутствовавшей при их встрече, стеной встала прожитая жизнь. Жизнь с того момента, когда князь появился на Ольгином горизонте... Если для Ольги жизнь была трагедией, то для князя, в этой части, она была невыгодной сделкой. Отец Ольги по занимаемой им должности встречался со многими людьми, и было нетрудно подмешать к ним «соглядатаев». Никому не приходило в голову, что этот человек, приятный в обращении, хотя несколько замкнутый, член партии, может в один прекрасный день «выбрать свободу», как принято говорить в наши дни. И вдруг подкарауливающим его людям почудилось, что он идет навстречу, что он прислушивается... А потом он без обиняков предложил сделку. Князь, который взялся, после того как чудовищный скандал уже разразился, довести дело до конца, так и не смог себе составить точного представления об этом человеке... Иногда ему казалось, что поведение его объяснялось страхом... Перед кем? перед чем? Может быть, он в чем-то провинился и боялся, что по возвращении в Москву ему не поздоровится? Возможно... Говорили, что он как раз должен был вернуться, что его отозвали. Во всяком случае, очутившись «под покровительством» и не без средств, этот человек решил, что он в расчете. Он так и не сделал обещанных разоблачений. И если он и располагал какими-нибудь интересными сведениями, то унес их с собой в могилу. В общем единственная прибыль заключалась в самом факте скандального бегства советского служащего, это было само по себе неплохо, но не стоило затрат, произведенных французским Министерством внутренних дел и лично самим князем. Князь старался оказать давление на этого человека, но создавалось впечатление, что отец Ольги, освободившись от какого-то панического страха, не боялся уже больше ничего — ни тюрьмы, ни смерти. Ни бесчестья. Ведь он все равно уже был навсегда обещен. Да, в смысле характера Ольга была в отца, она тоже не боялась ни тюрьмы, ни смерти. А бесчестье... Несчастливая, она считала себя обещенной на веки веков.

С того самого дня, когда Ольга промахнулась в мимозовой аллее, она срывала все попытки князя как-то повлиять на ее жизнь. Начать с того, что она переделала

фамилию Гельер, которую отец потребовал для нее, в еврейскую фамилию Геллер. Князь был уверен, что она хотела досадить именно ему — князю. А после смерти отца и матери она вышла замуж за того поляка, которого князь рекомендовал ее родителям в качестве учителя французского языка! — и таким образом избавилась от князя, своего законного опекуна. Ей было тогда шестнадцать лет. В семнадцать она уже развелась, вернула поляку его дворянское имя и, живя под фамилией Геллер, стала свободной и независимой. Когда князь попробовал ей угрожать, она рассмеялась ему в лицо: что бы он ни предпринял, у нее всегда оставался запасный выход — она могла лишиться себя жизни. Он оставил ее в покое, и они больше не встречались. Да, все в этом деле было похоже на парадокс и принесло одни убытки, а в свое время князь лично вложил в него большие деньги — ведь отец Ольги был крупной фигурой, ему нельзя было предложить мелкий куш, с ним речь шла о миллионах. Князю хотелось вернуть хотя бы свое, и, как это бывает во всех азартных играх, он делал все более и более крупные ставки... Сперва он обхаживал отца, потом дочь. По правде говоря, он гораздо скорее перестал бы интересоваться Ольгой, если бы она была не так хороша собой.

Вот что всплывало между Ольгой и князем, стоявшими друг перед другом. Жизнь создает положения, куда более романтические, чем творчество романиста. Случайно сказанная фраза Сюзи во время их совместной поездки, трагической для князя, — ведь возможно, что его ждало известие о смерти невестки, — эта случайная фраза заставила его вспомнить Ольгу... Несмотря на потрясение, князю доставлял удовольствие романтический характер их встречи. Он никогда не упускал случая насладиться романтизмом, драматизмом, необыкновенностью ситуации, невероятностью случайностей. Князь читал только мемуары, романы казались ему слишком пресными, действующие в них персонажи — вырезанными из бумаги; акварельная кровь и словесные муки были ему скучны. Только действительность создает потрясающее и грандиозное искусство. И вот Ольга явилась перед ним! Прошло двадцать три года, значит, ей уже под сорок... Она все еще хороша. По всей видимости, не нуждается. Он не успел спросить Сюзи, как обстоят дела Ольги. Сам он теперь уже старик, которого неожиданно, в самое сердце, поразило самоубий-

ство невестки: ведь у нее ребенок, продолжатель рода, наследник имени. Разве его сын Федя, этот негодяй, сумеет воспитать ребенка; князь не хотел, чтобы повторилась его собственная неудача в отношении сына. Пускай внук растет французом, без каких-либо сложностей и комплексов. Позднее кровь скажется.

— Я счастлив, что вы так хороши, Оля,—сказал князь.— Я верю, ведь я знаю вас, что вы не покинете в несчастье женщину, близкую вам по убеждениям. Ведь вы тоже извели горе...

Ольга отошла от камина, и князь сразу же замолчал. Она прошлась по комнате, остановилась у окна; обстановка гостиной Сюзи менялась, но за окном все оставалось неизменным с того самого времени, как Ольга сидела на стуле, который когда-то здесь стоял... Каштаны, высокая стена соседнего дома... Даже мальчишка, которого тащила за собой нагруженная покупками мать, и большая овчарка, которую прислуга вывела на прогулку, тоже, казалось, вынырнули из тех далеких времен... Тогдашний ребенок теперь, может быть, отбывает военную службу, а собака... от нее в земле, наверное, уже ничего не осталось. Сюзи, забывшаяся в уголок, не проронила ни слова. Князь позвал тихонько:

— Оля...

— Да,—сказала она,—я пойду. Но без вас. Вы для меня слишком компрометантны.

Сюзи уже ничто не могло удивить. Мнение, которое она давно составила себе об Ольге... ведь у Сюзи Ольгу всегда третировали, и вот теперь она говорит свысока — даже и не свысока, а хуже того, неизвестно, как это называть! — с князем, человеком, который задает тон даже в Довиле! — и он ей униженно отвечает.

— Я хотел бы доказать моей невестке, что я ей друг, союзник...

— Не рассчитывайте на мою помощь.

Князь не стал настаивать. Этот стоящий перед ним высеченный из белого мрамора ангел со сложенными крыльями... того и гляди раскроет их и улетит...

— Возьмите ее под свое белое крыло, Оля,—сказал он,—это все, чего я прошу, все, на что надеюсь.

— Игра,—сказала Ольга,—я люблю театр в театре. Дайте мне адрес клиники. Приемные часы?

— Вы можете пойти туда в любое время. Она в таком

состоянии, что теперь все дозволено... Хотите, я вас подвезу?

Ольга не ответила и вышла, Сюзи поспешила за ней:

— Ольга! Что же мне делать с князем? — спросила Сюзи у выхода.

— Спустите его в нужник.

У Сюзи перехватило дыхание. Такая грубость со стороны Ольги, которая никогда не произносила неблагозвучных слов! Она дала Ольге адрес клиники и закрыла за ней дверь; на этот раз Сюзи была поистине возмущена.

## XVI

Голова Марты неподвижно лежала посредине подушки, как голова трупа. Белизна подушки подчеркивала желтизну лба, резко чернели брови и пряди волос. Плотные, прямые плечи под ночной рубашкой, на которой сохранились все заглаженные складочки, подчеркивавшие безжизненность тела... высокая, наверное, забинтованная грудь. Постель была не широкая, но стояла она посредине комнаты, а пустая розовая колыбель была отодвинута к розовой гладкой стене. Все в этой комнате было розовое и гладкое, и на блестящих стенах еще лежал отблеск уходящего дня небесно-розового цвета. Это была роскошная клиника, где принимали во внимание влияние окраски стен на настроение больных. Полная тишина, свежий воздух... И однако по руке Марты ползала муха, черная, неторопливая муха. Рука была неподвижна...

— Она умерла! — пробормотала Ольга.

— Нет, мадам, она выжила...

Белая монахиня склонила свой чепец над кроватью, муха улетела.

— Мадам,— прошептала монахиня, — ваша подруга...

Марта не шевельнулась. Монахиня направилась к двери, под ее длинной до земли юбкой не видно было ног, казалось, она скользит по блестящему полу на роликах. Хорошо смазанная дверь бесшумно закрылась. Ольга услышала тиканье часов. «Товарищ...» — сказала она тихонько, осторожно первое, что ей пришло в голову. Только это могла она противопоставить князю и тому несчастью, которое было сейчас распростерто перед ней. Наудачу... Марта открыла глаза, большие мутные глаза больной собаки. Они смотрели на Ольгу. Бескровные губы зашевелились:

— Неужели правда? — сказала она. — Неужели обо мне вспомнили?

Значит, Ольга правильно начала. Она медленно подошла к Марте, как подходят к птице, которую боятся спугнуть. Со стороны нельзя было заметить, как она боялась этого больного незнакомого тела, мертвенно-бледного, полного злого несчастья. Ольга опять заговорила наудачу:

— Я пришла, как только это стало возможно, товарищ Марта.

— Вас не пускали?

— Нет, но вы были очень больны.

Ольга тихонько протянула руку и положила ее на руку Марты; рука была холодная. Муха опять взлетела и села на лоб Марты.

— Он меня мучает...— сказала Марта, и вдруг слезы застлали ее глаза, перелились через край и потекли, как теплый дождь, по щекам, ушам, шее... Она подняла свои бледные руки, сложила их на груди.— А я, я его люблю... и это ужасно, ужасно!— Марта оперлась на локти, как на костыли, отчего плечи у нее стали квадратными, и отделилась от подушки...— Он мне не позволил родить без боли, потому что этот способ придумали «там». Он говорит, что это против библейского завета. Он хочет отнять у меня ребенка и отдать своим приемным родителям... чтобы они воспитали его так сурово, как он сам был воспитан, без глупостей... витаминов... гигиены... Он говорит, что вырастит воина для царя. Он хочет оградить его от моего пагубного влияния. Он ругает меня, называет уличной девкой... Он говорит, что я ходила в ячейку, чтобы принимать участие в оргиях, которые там происходят... он грозил, что придет туда за мной со своими приятелями... Скажите товарищам, что поэтому я и перестала ходить в ячейку: они бы пришли, они бы наверняка пришли... с дубинками и бомбами! Он говорит, что я несчастная дура, единственная коммунистка, которой ничего не платят... все остальные — жида и иностранцы — наживаются на этом... Дубинки и бомбы... я представляла себе, как все взорвется, взлетит... и избиение... Я представляла себе Полетту, Рожэ, одного за другим... Федя и его друзья силачи, они очень, очень сильные... Они хорошо питаются, они спортсмены... Из-за меня они стали бы бить моих товарищей... из-за меня...

Марта говорила, говорила, захлебываясь, кашляя и хрипя, как кран, когда воды в водопроводе не было

и вдруг ее снова пустили. Она говорила, говорила... На лбу у нее выступили капли пота, глаза остекленели и блуждали из стороны в сторону, ни на чем не останавливаясь.

— Я коммунистка,— бормотала она,— и всегда буду коммунисткой. Я умру коммунисткой... Как Пьеро, которого расстреляли на лужайке, как другие... Они не отреклись... Когда он меня истязает, я думаю о Пьеро, о том, что он вынес... Я тоже коммунистка! Коммунисты правы...— Марта села на кровати, вскинула руки над головой.— Я не умею спорить...— Она снова упала на подушки.— Товарищ,— сказала она нормальным, спокойным голосом,— я не умею доказывать... Я знаю, знаю, знаю, что коммунисты правы, но он приходит с газетами, он доказывает мне черным по белому... Я дура, я не умею спорить... Но я знаю, знаю, знаю, что коммунисты правы! Я коммунистка и останусь коммунисткой. За это я умру... я умру коммунисткой...

Марта отвернулась, и Ольга увидела ее правильный молодой профиль, маленькое бледное ухо, выглядывавшее из-под волос, обтекавших его чернильной волной. Она говорила теперь жалобным тонким голоском:

— Федя! Он уходит, и я никогда не знаю, когда он вернется... Я не знаю, что с собой делать, и я его жду, все жду, жду... Он отнимает у меня все деньги. Я не говорю — м о и деньги... Все деньги должны принадлежать ему, он ведь глава семьи... Но когда я хочу оставить себе немного, он говорит... Он говорит, что я отвратительная французская мешанка... он говорит, что Франция отвратительная страна, что в ней нет ни величия, ни благородства!.. Он говорит: «Глуп, как француз!», «Мелочная, нищая, трусливая страна... правительство из тысячи партий позволяет коммунистам водить себя за нос...», «Бог и царь! Бог и царь!» И днем и ночью он твердит одно и то же: «Бог и царь...»

Марта опять села на постели, сбросила одеяло... показали ее ляжки, крутые, бледные... ногти на больших белых ногах были похожи на когти.

— Я не хочу, чтобы он до меня дотрагивался,— прошептала она,— я не хочу... Ох, это ужасно...

Ольга уперлась обеими руками в плечи Марты, потихоньку уложила ее и накрыла одеялом. Марта взяла Ольгу за руку и сказала ясным, трезвым голосом, тоном обычного разговора:

— В ячейке мне сказали: разведись. Они не понимают. Они не понимают, что я его люблю. А вы понимаете?

— Нет...— сказала Ольга.

Марта отпустила руку Ольги и всем телом повернулась к стене.

— Это ничего не меняет,— сказала Ольга,— товарищи шлют тебе братский привет, они приветствуют рождение маленького француза. Они надеются, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Ольга говорила все это быстро, монотонным голосом, все равно Марта едва ли была в состоянии уловить что-нибудь другое, кроме знакомых слов: товарищи, братский, коммунистический... В то же время она думала, что надо бы разыскать ячейку Марты... Она не сможет продолжать лгать, как бы свята ни была эта ложь. Но как разыскать ячейку Марты?

— Где твой партбилет? — спросила она как можно естественнее.— Я хотела посмотреть...

Ах, что она наделала! О господи, она не должна была этого говорить! Марта, лежавшая к ней спиной, сделала резкое движение, как бы собираясь выпрыгнуть из постели и разбить себе голову об пол. Потом одним махом она повернулась и опять села в постели...

— Товарищ,— сказала она,— это была целая церемония... Он пригласил друзей... Если бы вы знали, что они сделали с моим партбилетом! Как раз перед родами...

Марта вскрикнула, потом голос ее сломался, и она принялась выть, как собака на луну. В дверях появилась монахиня... «Добились своего!»— сказала она злобно и принялась капать в стакан лекарство. С помощью поильника им удалось вдвоем влить жидкость сквозь сжатые зубы Марты.

— Вам лучше уйти, мадам,— сказала монахиня, укладывая Марту и похлопывая ее по щекам,— опыт не удался.

Ольга собрала свои вещи — сумочку, перчатки... Марта лежала очень спокойно, опять в том же положении, в каком Ольга ее застала сначала.

— Пусть она останется,— прошептала Марта.

Монахиня, не возражая, скользнула к двери и исчезла.

— Товарищ,— шептала Марта,— поцелуй меня... Скажи им, что я их люблю... Я разведусь... Я сама воспитаю своего сына.

Слова ее затерялись среди розовых стен, пустой колыбели, умывальника... Ольга вышла на цыпочках.

На другой день вечером Марта умерла от закупорки сосудов. Ольга узнала о ее смерти только накануне похорон из записочки, посланной Сюзи. Тело перевезли на парижскую квартиру родителей Марты, потому что жилище Марты было слишком скромно, чтобы показывать его знакомым ее родителей и свекра. Ольга прочла записку, взглянула на часы и вышла.

После посещения клиники Ольга беспрестанно думала о Марте. Ничто не отвлекало ее от мыслей о ней, у нее было сколько угодно свободного времени, ничем не заполненного, пустого, как августовский Париж — чужая деревня. Встреча с князем — настоящим гиппопотамом — разбудила прошлое, разбредила старые раны. А тут еще это мельком увиденное тело и эти крики... Они говорят — сумасшедшая! А может быть, это не сумасшествие, а переносимое несчастье! Князь приложил и здесь свою руку, это одно из его злодеяний... Ольга яростно становилась на сторону мертвой против ее врагов. У Ольги и у Марты были общие враги. Они с Мартой были одной породы, Ольга слышала ее последнюю волю: «Я умру коммунисткой... Скажи им, что я их люблю...» Вот и такси... Ольга поехала к Сюзи, заставила ее позвонить князю и узнать адрес Марты... Квартал Лион-де-Бельфор.

В такси Ольга старалась вспомнить — кого, какого коммуниста знает она в этом районе? Художника Фрэнсиса, как его... Но был ли он членом партии? Она поискала в записной книжке, нашла адрес художника.

Фрэнсис был дома и оказался членом партии. Но Марта была не из его ячейки. Ольга отвезла его в своем такси в райком, счастье еще, что там не соблюдают рабочих часов. Было уже больше восьми, когда она получила нужные ей сведения: к какой ячейке принадлежала Марта Н... и где эта ячейка собиралась. Ольга простилась с Фрэнсисом на улице и дала шоферу адрес ячейки. Она спрашивала себя, как ей поступить... Даже если случайно у них в этот день собрание, она не может явиться к ним так... не называя себя... Но не может также и назвать себя... Она постучала по стеклу. «Постарайтесь, — сказала она флегматичному шоферу, — отыскать цветочный магазин, который еще не закрыт».

Такси катилось. Цветочный магазин? — пожалуйста! — казалось, говорила широкая спина шофера, — очередные капризы клиентов... Счетчик уже показывал астрономиче-

скую сумму. Они ездили от одного цветочного магазина к другому, пока не нашли открытый, несмотря на поздний час. Ольга заказала очень большой, очень дорогой, очень красный венок с трехцветными лентами: *«Марте Н..., нашему дорогому товарищу, от ячейки имени Луизы Мишель Французской Коммунистической Партии»*.

— Положитесь на меня, товарищ,— торжественно сказал хозяин цветочного магазина,— у нее будет прекрасный венок.

Бывают же такие совпадения... На следующий день Ольга встала рано, спустилась в метро... Ей надо было попасть на улицу, выходящую на авеню Виктора Гюго. Коротенькая улица, где незачем было отыскивать номер дома, дверь в черной раме сразу бросалась в глаза. Ольга села у окна, завешенного кружевными занавесками, в маленьком кафе, напротив. На улице было пустынно и солнечно. Тихо, жарко... Ольга видела, как подъехал похоронный катафалк, его медленно везла пара черных лошадей... Похоронные дроги для цветов следовали сзади. Все было так обычно, так просто, как будто это приехал грузовик за товаром. Люди в черном слезли, открыли обе половинки двери, зашли в дом и исчезли там. Ольга пила кофе с булочкой, она не успела позавтракать. Люди в черном выносили цветы, венки они ставили на тротуар, прислоняя к стене... А вот и ее венок! Ольга с удовлетворением отметила, что он был самый красивый... Вообще цветов было немного, может быть, их послали прямо в церковь... Ольга подумала, что хорошо сделала, дав домашний адрес,— теперь ее венок поместят на видном месте... Факельщики поставили его так, что надпись *«Марте Н..., нашему дорогому товарищу, от ячейки имени Луизы Мишель Французской Коммунистической Партии»* была прекрасно видна. Люди приходили по одному, по два, входили в дом. Потом Ольга увидела гроб... Красивый, светло-желтый, полированный, с серебряными ручками. Людям, которые его несли, было жарко. Одна из лошадей, впряженных в катафалк, била копытом... другая стала мочиться. «Но, балуй!» — кричал кучер, сознавая все неприличие поведения лошади. Факельщики поставили гроб на катафалк, мало-помалу на тротуаре собралась толпа зевак... Все ждали.

Вот наконец родственники. В черном, под траурными вуалями. Князь вел под руку какую-то женщину, может быть мать. С другой стороны ее поддерживал высокий

стройный молодой человек с пухлыми щеками. У него был такой вид, как будто он собирался прыскать водой или дуть в трубу. Это, наверное, муж—Федя. Марта смертельно его любила. Господи! Господи... из-за этого толстомордого... Сзади шли люди, одетые, как обычно. Жара была пестрой, веселой... Маленький посыльный в полосатом жилете, вихрем мчавшийся на велосипеде, объехал процессию и перестал свистеть. Черный кучер обрел свое достоинство, лошади тоже, они двинулись без понукания. Процессия тронулась.

По правде говоря, это трудно было назвать процессией, скорее одна голова змеи, у которой отрубили туловище и хвост. Может быть, соберутся в церкви? Чтобы проводить Марту в ее последний путь, как говорят. Может быть. Вот Сюзи... костюм из чесучи, белая широкополая шляпа—она, видимо, боялась солнечного удара. Князь шел как раз за венком с трехцветными лентами: «...нашему дорогому товарищу...» Как раз за ним. Ольге показалось, что князь поднял голову и увидел его... Во всяком случае, рано или поздно он должен будет заметить то, что написано у него перед глазами. При этой мысли Ольга почувствовала удовлетворение. Нет, она сделала это не из мелочной мести... Почему же тогда? Почему она принимает все это так близко к сердцу? Почему она сидит за этой занавеской? Чего она здесь ждет? Может быть, просто из чувства солидарности... Ведь Марта была в своем роде неизвестной героиней. Шествие удалялось, толпа расходилась... Как только похоронная процессия скрылась, задержанные ею легковые машины, грузовики, велосипедисты сорвались с места и исчезли за поворотом. А еще через несколько минут улица снова опустела и обрела свое обычное спокойствие.

Ольга заплатила за кофе. Она не пойдет ни в церковь, ни на кладбище... Как ей убить время, ведь всего только девять часов утра! Завтракать рано. В кино идти рано... Вернуться домой? Ольга шла по авеню Виктора Гюго, она чувствовала себя наэлектризованной, полной энергии, которую ей не к чему было приложить. Может быть, будет гроза? Остановившись перед витриной холодильников, она думала, что ей следовало бы объясниться с ячейкой Марты. Если она им ничего не расскажет, вполне возможно, что они так никогда ни о чем и не узнают. Но она им скажет. Как и зачем? Ольга шла, избыток энергии, которую она ощущала во всем теле, застав-

лял ее спешить, почти бежать. Причитавшийся ей свежий воздух, деревенский покой были не сполна ею получены... Почему бы ей не вернуться на ферму? В Париже ей делать нечего. Пробираясь между машинами, Ольга, как лунатик, пересекла площадь Звезды и не осознала чуда, очутившись целой и невредимой на противоположной стороне, у входа в метро. Но она не спустилась в метро, а села в такси и сказала шоферу адрес клиники, в которой навещала Марту.

В клинике ей пришлось подождать. Ласковая монахиня, сидевшая за конторкой, сказала ей, что профессор еще не пришел, к тому же он принимает не здесь, а только у себя и только по предварительной записи. Однако она согласилась передать секретарше профессора, там наверху, что одна дама хотела бы его видеть; она позвонила по телефону... По поводу молодой княгини Н... Ольга ждала... Часы были неприятные, тишина нагоняла сон. Негромкий звонок: «Вы можете подняться, мадам... Второй этаж, в конце коридора направо...»

Белая, никелированная где только можно лестница. В коридоре, поразительно чистом и белом, было тихо, из-за белых дверей не доносилось ни малейшего шума. На полу, возле стен, множество ваз с цветами — пахучими цветами, которые нельзя оставлять в комнатах больных. Они благоухали, аромат их смешивался с запахом эфира и дезинфицирующих средств... В конце коридора направо... Марты там уже не было. Незнакомки Марты.

Профессор стоял за большим, напоминающим операционный, письменным столом. Высокий квадратный человек в белом халате. Он был похож на холодильник.

— Мадам... Садитесь, пожалуйста.

Ольга села. Зачем она пришла сюда? Марта умерла, а она, Ольга, вот уже двое суток бегает то туда, то сюда и, не принося никому пользы, вмешивается в то, что ее вовсе не касается.

— Я пришла...

Профессор ждал. Ольга сделала над собой отчаянное усилие... надо же было найти что-нибудь, какой-нибудь предлог...

— Я пришла,— повторила она.— Все ли было принято, чтобы спасти мадам Н..., доктор?

Он рассматривал ее, он оглядывал ее без всякого стеснения:

— В качестве кого задаете вы этот вопрос, мадам?..

— В качестве друга... Князь Н..., может быть, говорил вам обо мне. Я видела мадам Н... накануне ее смерти. Меня зовут Ольга Геллер.

— А!..

Короткое «а!», очень короткое. Профессор обошел стол и сел напротив Ольги. Его черные брюки, которые были видны под безукоризненно белым халатом, напомнили Ольге похоронный катафалк, черных лошадей... Он кокетливо перекинул ногу на ногу, складка на его брюках была остра, как бритва. Большой холодильник на черных ножках. Ольга подняла голову и встретила взгляд голубых, выцветших глаз...

— Княгиня Н..., — говорили тонкие губы, — была душевнобольной. Не сумасшедшей в полном смысле слова, но серьезно больной. Мы ждали разрешения от бремени, чтобы начать ее лечить. Когда она прибыла в клинику, на нее очень плохо подействовало то обстоятельство, что муж запретил ей рожать без боли... Молодой князь устроил здесь, в клинике, неприличную сцену, и мы предпочли не настаивать, хотя княгиня прошла соответствующую подготовку и впечатление складывалось положительное...

Глаза профессора скользнули по ногам Ольги, по ее бедрам, остановились на груди. Руки у него были немного морщинистые, чистые, асептические, с коротко стриженными ногтями. Дневной свет опалово проникал сквозь матовые стекла в тишину, наполненную запахом эфира.

— Это был заколдованный круг, — говорил профессор, — чтобы выздороветь, она должна была оставить своего мужа, а чтобы у нее хватило сил его оставить, ей надо было сперва вылечиться. Жизнь с ним сделала ее психически больной, и если бы она не умерла, то наверняка попала бы в сумасшедший дом...

Бесцветные глаза профессора остановились на губах Ольги. Челюсти у него были, как у дога.

— Да... в подобных случаях единственный выход — развод. Не было никакой надежды, что их отношения наладятся... И случай с княгиней не единичный в своем роде. Мы все чаще констатируем психические заболевания на почве политических конфликтов между супругами... Особо — у женщин.

Взгляд профессора остановился на глазах Ольги. Он встал. Она тоже рывком поднялась, оттолкнув кресло,

охваченная внезапной паникой... Но он всего лишь направился к двери:

— Это все, что я могу вам сказать, мадам...

Он открыл дверь. Ольга так быстро вышла, будто за ней гнались... Внизу любезно улыбалась монахиня.

«Здравствуйте, мадам Геллер,— сказал портье «Термиюса»,— хороший денек, не правда ли?» Мальчик-лифтер поднял ее, получил свои пятьдесят франков. Ольга пошла по длинному коридору. Здесь трудно было определить час дня, время года. Круглый год была одинаковая температура, и лампы всегда горели одинаковым ровным светом. Вдруг Ольга вспомнила, как она шла по этому коридору... на ней было длинное, переливающееся белое платье... Здесь, недалеко от этой вот двери, стоял юноша... Молодой и безукоризненно красивый... «Нинон, Нинон, что делаешь ты со своей жизнью? Как ты живешь без любви?..» Как она живет?.. Что же делать? Упасть в объятия старого профессора?.. Вот ее 417-й.

Еще только одиннадцать часов. Мари уже убрала комнату, она задернула занавеси, полагая, что Ольга не вернется до вечера. Было темно, сильно пахло фруктами. Ольга добралась до постели, упала на нее, сбросив туфли, и сразу заснула с застрявшим в горле рыданием. В этом рыдании соединилось все накопившееся в ней горе... В нем были Фрэнк, князь, Марта, профессор... И Карлос — слишком молодой и слишком красивый... «Как ты живешь без любви?..»

## XVII

Да, передышка, которую судьба даровала миссис Моссо, оказалась непродолжительной. Но в том, что ей и Фрэнку удалось поиграть в туристов всего-навсего каких-нибудь пять дней, она не могла винить мужа. Конец игре положила всеобщая чудовищная забастовка... С чего она началась?... Никогда еще не было такой внезапной, похожей на обрушившуюся снежную лавину забастовки. Вся жизнь в стране разом остановилась. Председатель Совета министров Лангель не хотел вступать в переговоры с профсоюзами, пока не возобновится работа. Он не хотел собирать парламент. Венсан Ориоль вернулся из Рамбуйе. На вокзалах толпы людей ждали, пока снова тронутся поезда. Мусорные ящики были полны через край, почтовые — тоже. Полицейские, отряды Республиканской безопасности, парашютисты, танки, военные грузовики... Все это заставило миссис Моссо проникнуться еще большим презрением к Франции, к ее правительству и народу, допускающим такой возмутительный беспорядок. «Система пенсий!» Страна теряет миллиарды из-за этой непонятно кому нужной «системы»!

Фрэнк, угрюмый, небритый, слонялся по комнатам, рассматривал книжки с картинками своего маленького сына, решал кроссворды. Мастерская была слишком далеко, чтобы ходить туда пешком. Миссис Моссо, не получая известий от детей, нервничала, беспокоилась, переходила от смеха к слезам, от слез к смеху: вдруг поезда не будут ходить еще несколько месяцев? А погода стояла такая хорошая, теплая!..

В это утро миссис Моссо предложила Фрэнку устроить завтрак по-американски. Она была в хорошем настроении, по-видимому, забастовка скоро прекратится. Все с нетер-

пением ждали, когда она кончится, и прежде всего — рабочее. Надо отпраздновать конец забастовки. Фрэнку не хотелось спорить с женой — пусть будет завтрак по-американски.

Письмо пришло, пока Фрэнка не было дома, он ходил за покупками. Вернувшись, только открыв дверь, он сразу увидел на полочке перед зеркалом конверт со штампом: «Американское посольство». Он помрачнел, бросил покупки и нетерпеливо распечатал конверт: его очень вежливо просили зайти в посольство, в любой день и час, но как можно скорее. Что бы это могло означать? Он взволнованно шагал по маленькой кухне и передней. «Да ничего особенного тут нет!» — говорила ему жена. Как мало надо, чтобы вывести его из равновесия, как это неразумно, врач ведь сказал, что ему необходим покой. Миссис Моссо была бы только рада, если бы и у нее был предлог пойти в роскошное здание посольства, она всегда испытывала гордость, когда видела на площади Согласия у посольства въезжавшие и выезжавшие красивые машины, ей imponировало все это богатство, пышность... Хорошо, хорошо, поговорим о чем-нибудь другом, пожалуйста... Фрэнк едва притронулся к американскому завтраку, ему было не до того, совсем не хотелось есть. Ах, он совсем забыл сказать, что автобусы уже пошли! Наконец-то! Тем лучше, ему не придется идти пешком.

Все оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

Дама с седыми волосами, выкрашенными в лиловый цвет, спросила у него паспорт, который тут же положила в ящик стола, потом она указала Фрэнку какую-то дверь. Он прошел туда и увидел некоего мужчину... И вот тут-то и произошел у Фрэнка разговор, от которого на лбу у него выступили капли пота и подкосились ноги. Словно первая атака на фронте, словно рука, срывающая повязку, присохшую к кровоточащей ране... Понос и кровь... Человек сказал ему, что они осведомлены о его связи с женщиной, по имени Ольга Геллер; значит, именно через нее он сносился со странами, находящимися по ту сторону железного занавеса? Но у него не было связи с Ольгой Геллер! И у него не было никаких сношений со странами, находящимися по ту сторону железного занавеса, какие сношения, зачем? Если он не в связи с Ольгой Геллер, значит,

их совместное пребывание в окрестностях Парижа может объясняться только причинами, в которых он не хочет или не может признаться. Прекрасно, прекрасно... А кто был тот человек, с которым он встретился на террасе кафе «Ротонд» двадцать четвертого июня? Прекрасно, прекрасно... Они не намерены разрешать ему продолжать такого рода деятельность. Ему предлагается немедленно вернуться в Соединенные Штаты. Но ведь это же безумие, это нелепо! Почему, ведь он ничего, ничего не сделал такого, что могло бы причинить вред его стране! А ваше поведение по отношению к делу Розенбергов, если даже не говорить ни о чем другом? «Дело Розенбергов,—зарычал Фрэнк,—да, поговорим о нем! О вреде, который оно принесло моей стране!» Вашей стране? Я был склонен думать, что это уже не ваша страна, что при ваших воззрениях ваше место за железным занавесом. Мы были очень терпеливы с вами... Но эта последняя история с коммунистической шпионкой Ольгой Геллер слишком серьезна, чтобы мы могли позволить вам оставаться в Европе. Вам дадут паспорт, с которым вы сможете без шума вернуться в Соединенные Штаты. Пропуск... Но Фрэнк больше его не слушал. Он бросил на говорившего с ним человека дикий взгляд и вышел. А пропуск... он о нем и не думал.

Он шел под деревьями авеню Габриэль... вспомнил, что когда-то эта улица называлась Аллеей вдов, что она притягивала к себе плачущих, что Ольга сказала ему однажды, характеризуя какой-то период своей жизни: «Я ходила плакать на авеню Габриэль...» Теперь на авеню два театра, и для слез не осталось места. Странно, что можно думать о тысяче разнообразных вещей, находясь в апогее отчаяния... Точно так же, как на похоронах любимого существа замечаешь пыль, которая осела на черные туфли, соболезнование на лицах друзей и родственников, помнишь час отхода поезда, думаешь о багаже... Он представил себе свою жену! Боже мой... Несчастливая... Ей никогда не понять, почему им нельзя вернуться в Америку, что его там посадят под любым предлогом и никто не подумает дать ему работу, и все будет куда хуже, чем до отъезда.

Фрэнк опять очутился перед посольством, он, очевидно, кружил на одном месте. Скоро истекал срок удостоверения, выданного ему Префектурой, о праве на жительство во Франции... Как же в таких случаях поступают? А он-то надеялся, что на этот раз ему выдадут «привилегирован-

ное» удостоверение, разрешающее иностранцу проживать во Франции в течение десяти лет, то есть почти постоянно, и что он наконец избавится от полицейских придирок. Он представил себе, как идет вонючими коридорами Префектуры, где он всегда чувствует себя преступником, повинным в каком-то неведомом преступлении, раздавленным навалившейся на него всей своей тяжестью гигантской машиной, которая предъявляет на него права всеми своими окошечками, штемпелями и километрами, тоннами бумаг... Власть над ним, Фрэнком, каждого из «причастных к учреждению»... Он был охвачен паникой, как солдат, который вдруг понял: вот он окружен, пропал. У него похолодел и заныл живот. А если он не вернется в США — как жить? Где? Его ведь выгонят из экспортно-импортной фирмы... Ему незачем ходить объясняться с ними, их, наверное, уже давно предупредили, гораздо раньше, чем его самого, и они, конечно, принимали во всем этом участие. Где же ему найти работу? Иностранец. Без паспорта. А дети! Их выгонят из американской школы. Девочка и без того такая нервная! А квартира? Их из нее выселят. И у его жены не будет больше холодильника... Ужасно. Отвратительно. Бедная моя, терпеливая моя... Фрэнк шагал вдоль Сены, касался толстых каменных плит парапета, думал о том, какие они белые и шершавые, слышал, как машины проезжали за его спиной и останавливались у красного светофора. Сена была слишком далеко. Живопись. А, да что о ней говорить! Он вспомнил о своих соседях по мастерской; среди них есть иностранцы, может быть, они знают, что полагается делать в таких случаях? Ольга... «Мы живем во времена подозрений... во времена подозрений!» — повторяла она. Серый шелковистый взгляд. Он был на мосту, в двух шагах от «Терминюса» — может быть, надо ее предупредить, рассказать ей? А если за ним следят? Конечно, за ним следят, а то как бы они узнали? Тогда куда же идти? Он не мог появиться перед женой в таком состоянии. Мастерская? А если он приведет туда шпи-ков? Фрэнк остановился, посмотрел на небо, посмотрел на воду. Но он умел плавать, он очень хорошо плавал. И разве не подло было бы бросить жену и детей. Они впускают в это дело Ольгу, Ольгу, которую уже поджидают за углом, с ножом. С ведром помоев. Если уж умирать, то так, чтобы смерть показалась естественной. Идеальное самоубийство.

их совместное пребывание в окрестностях Парижа может объясняться только причинами, в которых он не хочет или не может признаться. Прекрасно, прекрасно... А кто был тот человек, с которым он встретился на террасе кафе «Ротонд» двадцать четвертого июня? Прекрасно, прекрасно... Они не намерены разрешать ему продолжать такого рода деятельность. Ему предлагается немедленно вернуться в Соединенные Штаты. Но ведь это же безумие, это нелепо! Почему, ведь он ничего, ничего не сделал такого, что могло бы причинить вред его стране! А ваше поведение по отношению к делу Розенбергов, если даже не говорить ни о чем другом? «Дело Розенбергов,—зарычал Фрэнк,—да, поговорим о нем! О вреде, который оно принесло моей стране!» Вашей стране? Я был склонен думать, что это уже не ваша страна, что при ваших воззрениях ваше место за железным занавесом. Мы были очень терпеливы с вами... Но эта последняя история с коммунистической шпионкой Ольгой Геллер слишком серьезна, чтобы мы могли позволить вам оставаться в Европе. Вам дадут паспорт, с которым вы сможете без шума вернуться в Соединенные Штаты. Пропуск... Но Фрэнк больше его не слушал. Он бросил на говорившего с ним человека дикий взгляд и вышел. А пропуск... он о нем и не думал.

Он шел под деревьями авеню Габриэль... вспомнил, что когда-то эта улица называлась Аллеей вдов, что она притягивала к себе плачущих, что Ольга сказала ему однажды, характеризуя какой-то период своей жизни: «Я ходила плакать на авеню Габриэль...» Теперь на авеню два театра, и для слез не осталось места. Странно, что можно думать о тысяче разнообразных вещей, находясь в апогее отчаяния... Точно так же, как на похоронах любимого существа замечаешь пыль, которая осела на черные туфли, соболезнование на лицах друзей и родственников, помнишь час отхода поезда, думаешь о багаже... Он представил себе свою жену! Боже мой... Несчастливая... Ей никогда не понять, почему им нельзя вернуться в Америку, что его там посадят под любым предлогом и никто не подумает дать ему работу, и все будет куда хуже, чем до отъезда.

Фрэнк опять очутился перед посольством, он, очевидно, кружил на одном месте. Скоро истекал срок удостоверения, выданного ему Префектурой, о праве на жительство во Франции... Как же в таких случаях поступают? А он-то надеялся, что на этот раз ему выдадут «привилегирован-

ное» удостоверение, разрешающее иностранцу проживать во Франции в течение десяти лет, то есть почти постоянно, и что он наконец избавится от полицейских придирок. Он представил себе, как идет вонючими коридорами Префектуры, где он всегда чувствует себя преступником, повинным в каком-то неведомом преступлении, раздавленным навалившейся на него всей своей тяжестью гигантской машиной, которая предъявляет на него права всеми своими окошечками, штемпелями и километрами, тоннами бумаг... Власть над ним, Фрэнком, каждого из «причастных к учреждению»... Он был охвачен паникой, как солдат, который вдруг понял: вот он окружен, пропал. У него похолодел и занял живот. А если он не вернется в США — как жить? Где? Его ведь выгонят из экспортно-импортной фирмы... Ему незачем ходить объясняться с ними, их, наверное, уже давно предупредили, гораздо раньше, чем его самого, и они, конечно, принимали во всем этом участие. Где же ему найти работу? Иностранец. Без паспорта. А дети! Их выгонят из американской школы. Девочка и без того такая нервная! А квартира? Их из нее выселят. И у его жены не будет больше холодильника... Ужасно. Отвратительно. Бедная моя, терпеливая моя... Фрэнк шагал вдоль Сены, касался толстых каменных плит парапета, думал о том, какие они белые и шершавые, слышал, как машины проезжали за его спиной и останавливались у красного светофора. Сена была слишком далеко. Живопись. А, да что о ней говорить! Он вспомнил о своих соседях по мастерской; среди них есть иностранцы, может быть, они знают, что полагается делать в таких случаях? Ольга... «Мы живем во времена подозрений... во времена подозрений!» — повторяла она. Серый шелковистый взгляд. Он был на мосту, в двух шагах от «Терминюса» — может быть, надо ее предупредить, рассказать ей? А если за ним следят? Конечно, за ним следят, а то как бы они узнали? Тогда куда же идти? Он не мог появиться перед женой в таком состоянии. Мастерская? А если он приведет туда шпи-ков? Фрэнк остановился, посмотрел на небо, посмотрел на воду. Но он умел плавать, он очень хорошо плавал. И разве не подло было бы бросить жену и детей. Они впускают в это дело Ольгу, Ольгу, которую уже поджидают за углом, с ножом. С ведром помоев. Если уж умирать, то так, чтобы смерть показалась естественной. Идеальное самоубийство.

Фрэнк снова зашагал. Идеальное самоубийство. Из этого можно сделать сценарий. Как его осуществишь? Что, если пойти поговорить с продюсерами? Как же!.. Идеальное самоубийство... Он не пойдет к Ольге. Что она подумает, если он вдруг исчезнет? Как знать, что может подумать Ольга? Вечные снега. Она будет по-прежнему идти своей дорогой, мягко сверкая... Для нее самой, для ее же пользы он прервет всякие сношения с ней. Что касается его — все пропало, ничего худшего не придумаешь. Мертвец не боится смерти. Все кончено. Но он не может вынести встречи с женой, не может сказать ей, что они отрезаны от родины... Потому что туда он не вернется, туда его и насильно не затолкаешь... Пока можно, он будет скрывать от жены правду. Правду? Какую правду? А вдруг ей скажут, что он ей изменял, вдруг ей докажут, что он две недели прожил вдвоем с другой женщиной в большом пустом доме, где были только они двое — он и другая. Никто не поверит, что они жили там, как брат и сестра. А между тем это ведь было именно так. По отношению к жене его единственным грехом была та воскресная прогулка, во время которой он вдруг почувствовал себя счастливым. Жаркий летний день, весь народ вышел на прогулку, и они тоже, как все... Ресторан, где им было так весело... Если бы у Ольги не болела нога, не было бы этой дурацкой сцены на автобусной остановке... Ведь только мысль, что ей больно, а придется еще идти пешком, вывела Фрэнка из себя. Если бы Ольга не надела новые туфли, если бы она не купила туфель, которые натирали ей ногу, вся жизнь могла бы пойти по-иному. Они бы не уехали так стремительно... Но дело теперь не в этом! Куда, куда деваться... Фрэнк не мог решиться на встречу с женой.

Он пошел по направлению к мастерской. Это было самое разумное, самое естественное, так он по крайней мере объяснит потом жене, не прибегая ко лжи, причину своего долгого отсутствия, своего озабоченного, усталого вида... После работы в мастерской он часто возвращался совсем разбитый, мрачный и молчаливый... Что касается шпиков, все равно они уже знают туда дорогу... К тому же, если они заинтересуются, к кому из соседей он зайдет, им придется стать на лестнице, а тогда Фрэнк их увидит. Может быть, убьет...

Автоматически, как лунатик, он сел в автобус. Сошел.

Перешел улицу. Пересек двор. Еще один двор, на этот раз узкий, длинный, мощеный. Двери мастерских первого этажа, выходящих во двор, были открыты, через них было видно работающих людей... человек, окруженный маленькими ящиками из белого дерева, строгал доски; женщина склонила голову над кустарным ткацким станком... Фрэнк, проходя, всегда видел только тонкий пробор, разделяющий ее черные волосы... Мастерские художников находились на втором и третьем этажах, туда вела очень крутая деревянная лестница. Площадка, темный коридор, двери и та особая атмосфера, которая свойственна всем парижским домам, где есть мастерские, в которых никогда не делают ремонта, не красят, не моют и не подметают. Сквозь грязные окна вот таких мастерских иногда пробивается радуга гения.

Фрэнк открыл дверь своей мастерской, которая, собственно, не была его мастерской, он получил ее заимообразно, он должен быть готовым в любой момент с благодарностью ее вернуть. Это была довольно большая комната, выходявшая на север, как и полагается мастерской художника, пыльные стекла умеряли дневной свет, и освещение там всегда было серым. Железная кровать, стол и стулья были отодвинуты к тоскливо грязным стенам, а в середине комнаты стоял только мольберт и на нем картина... Картина ждала Фрэнка, молчаливая и коварная, как подстерегающий злоумышленник. Фрэнк встал перед ней и посмотрел ей прямо в лицо...

Неужели именно он создал эту бледную и плоскую вещь. Эту песчаную пустыню, по которой черный контур рисунка, угловатый, как дерево, разбитое молнией, выписал угрюмую решетку. Фрэнк отошел, потом приблизился, снова отошел... Отвращение, разочарование охватили его, как боль, боль такая сильная, что он даже не заметил, как из горла его вырвался крик. Когда крик этот дошел до его ушей, он бросился на пол и стал кататься по нему, чтобы потушить крик, как тушат огонь... Наконец ему удалось его остановить, и теперь крик раздавался только у него внутри. Фрэнк старался не двигаться; он неподвижно лежал на полу, дожидаясь, пока сердце его перестанет колотиться, а оно так стучало, как будто просилось, чтобы его выпустили наружу. Наконец он смог подняться, добрался до умывальника: в засиженном мухами зеркале, покрытом пятнами от сырости, он увидел свое лицо, потемневшее,

с провалившимися щеками, неузнаваемое... Фрэнк умылся, подставил голову под кран... Ему стало легче.

Когда Фрэнк вошел в мастерскую Дариуса, он прежде всего увидел Сержа, лежавшего на диване с поднятыми коленями, прислонясь к полосатым подушкам... Дариус, стоя перед мольбертом, писал его портрет.

— Разве идет дождь? — спросил Серж.

— Нет, я облился из крана, очень жарко... — объяснил Фрэнк.

— Перестань вертеться, Серж, — сказал Дариус, — Фрэнк, сядь, ты его будоражишь.

Фрэнк осторожно сел на стул с соломенным сиденьем, немедленно провалился, что его нисколько не смутило, и пересел на ободранное кресло, прислоненное к стене. Кресло устояло. Фрэнк сел поудобнее. Какой-то человек с лицом цвета вороненой стали, тонкий, как шпага, стоял со стаканом в руке у стены и наблюдал, как Дариус работает. Он улыбнулся Фрэнку, поднял свой стакан.

— Хотите? — спросил он. — Вино холодное.

— Знакомьтесь, — сказал художник, не оборачиваясь. — Мистер Фрэнк Моссо, дон Альберто. Налей ему, Альберто. Но не хвастай, что вино холодное, — у нас здесь нет холодильника! Ну, как дела, Фрэнк? Уже давно твои соседи не слыхали, как ты объясняешься со своими картинами. Ты был в отпуске во время забастовки? А мне досталась модель, Серж сидит в Париже без дела... Я на тебя не смотрю, но чувствую, что у тебя расстроенный вид.

— Со мной случилась ужасная вещь: у меня отобрали американский паспорт. Они хотят заставить меня вернуться в США.

Дариус положил кисти.

— Сволочи... — сказал он.

— А что случается, когда у человека отбирают паспорт? — спросил Серж, поднимаясь со своего ложа.

Альберто протянул Фрэнку полный стакан:

— За всех патриотов, за всех изгнанников!.. — сказал он, поднимая стакан.

Фрэнк осушил свой.

— Не знаю, — сказал он через некоторое время. — Практически я не знаю, что со мной будет. У меня такое чувство, будто я стал астральным телом, может быть, меня уже не существует... Я, наверно, уже не отбрасываю тени, я что-то не заметил ее на тротуаре...

— Да что ты? — Серж загоготал. — Да здравствует полиция! Мы существуем только благодаря имеющемуся на нас делу. Когда прекратится вся эта бумажная канитель, мы перестанем существовать. Нет, кроме шуток, Фрэнк, неужели они подложили тебе такую свинью?

— Подложили. Ты смеешься. Но у меня больше нет никаких доказательств, подтверждающих действительность и законность моего существования. А мой экспорт-импорт выставит меня за дверь.

— А трудовая книжка у тебя есть?

— Да... Но если я лишусь работы, мне ее не возобновят.

Фрэнк помолчал.

— Теперь вы видите, — вновь начал он, — мне остается только утопиться.

— Да, — сказал Серж, — ты совершенно прав. Надо спросить у сведущих людей, как поступают в подобном случае. Американская эмиграция — дело еще новое, и никто ничего толком не знает. Как по-твоему, Альберто, что ему нужно предпринять? Есть ли какая-нибудь возможность уладить дело?

Альберто задумался.

— Что вам, в сущности, нужно? — спросил он. — Ваше удостоверение о праве на жительство во Франции еще действительно?

— Срок почти истек. Если я не смогу доказать, что у меня есть средства к существованию, мне его не возобновят... А если я останусь без работы...

— Тогда... Паспорт беженца, я думаю... Надо пойти на улицу Коперника в «Бюро помощи беженцам и апатридам». Оно было изобретено для эмигрантов из народных демократий... А мы им пользуемся... Вряд ли они позволят себе выслать американца!

Фрэнк воспринял эти слова, как пощечину: беженец! Лишенный родины! Он, американский гражданин, гражданин государства, не находящегося в состоянии войны, не разрушенного землетрясением, государства, где не было революции... Он, простой американский гражданин, — беженец!..

— Может быть, — сказал он, — да, паспорт беженца... Что-нибудь в этом роде.

— У нас есть люди, профессия которых состоит в знании законов, они укажут нам верный путь, — сказал Серж

с пафосом,— но не жди, пока тебя выставят из твоей фирмы. Устраивайся немедленно. Ты же художник.

— Есть о чем говорить!

— Конечно. Есть о чем говорить...— Дариус откупорил еще одну бутылку.— У тебя есть профессия. Я видел твою картину в мастерской этой скотины Полетта. Здорово заверчено, сразу видно, что ты понимаешь толк в живописи.

Фрэнк ничего не ответил. Дариус просто хочет его утешить. Он ведь не знает, что Фрэнка ничем уже не утетишь.

— Я спрошу у наших,—сказал Альберто, продолжая свою мысль.

— Спроси. А я хочу еще раз повторить Фрэнку, что его картина здорово заверчена. Но живопись не может прокормить художника, у которого точка зрения на свои картины меняется каждую неделю.

— Она меняется не у меня, а у моего покупателя... бывшего покупателя.

— А! Его бы я убил,—мечтательно произнес Серж.— Мне пришла в голову одна мысль. Во всяком случае, мне кажется, что это мысль...

— Мне нравится,—продолжал Дариус,— что твоя живопись, как математика... Ты не виляешь, все построено, решительно все точно, все стоит на месте, все существует, а если кому-нибудь это не подходит, тем хуже для них.

— Сделано по-портновски,—добавил Серж,— как сказала бы моя мать, у нее-то самой прямые швы не получаются. Я всего лишь музыкант, и, поскольку музыка — искусство низшего порядка, как это известно каждому в этом доме, у меня нет права голоса... Но твой покрой хорош, Фрэнк... по моему скромному мнению.

— Твоя мать права,—Дариус наливал вино,— живопись Фрэнка утверждает его видение, в ней нет ничего случайного, ему не кажется, что он видит, а он действительно, несомненно видит...

— Но я все-таки рисую не по линейке,—обидчиво сказал Фрэнк,— к тому же...

Все замолчали, каждый думал о своем.

— Вам нужно получить,—сказал наконец Альберто, продолжая свое,— паспорт беженца. Бюро дает их беженцам и лицам, лишенным родины, которые не могут обра-

титься за бумагами в консульства своих стран, так как они взаимно друг друга не признают.

Но Серж, подняв палец, сделал отрицательный жест:

— Никогда,— сказал он,— если Фрэнк это сделает, то он сам отрежет себя от своей родины, он санкционирует действия ФБР. Странное положение — быть эмигрантом, не будучи им и в то же время являясь им.

Они снова помолчали. Серж притянул к себе гитару, валявшуюся около дивана, начал ее настраивать.

— Положи гитару,— сказал Дариус,— за работу...

Серж положил гитару, принял позу...

— Лишенный родины... — повторил Фрэнк. — Я не могу понять смысл этих слов. Эти слова задавили меня, как могильная плита, и я все же не понимаю, что они значат. У меня жена и двое детей. Я не решаюсь рассказать им, что с нами произошло. Дети учатся в американской школе — их исключат, представьте себе, какой это будет для них удар. У моей жены больше не будет холодильника. У меня не будет работы. Мне кажется, лучше со всем этим покончить. Я не хочу жить, как пария. У вас есть убеждения, а у меня есть только гордость. Я — не лишенный родины; пока я жив, я с этим не соглашусь: У меня должны быть те же права, что у всех остальных людей, платящих налоги. Я ничего не сделал против своей страны. Я даже и не помышлял «свергнуть правительство»! Я не пария. С этим я никогда не соглашусь.

Серж слушал Фрэнка. Он думал об эмигрантах евреев, сгрудившихся в одном из кварталов Парижа... рабочих, ремесленниках, мелких торговцах, приехавших из Польши между двумя войнами, бежавших от погромов, преследований, разорения... Они до дна испили чашу тех неприятностей, о которых говорил Фрэнк, пока еще новичок. Их неприятности с документами были отнюдь не морального свойства. Несчастные люди! Они не пытаются вступать в борьбу с силами природы, называемыми законами, визами, паспортами, документами, разрешениями, высылкой... Разбушевавшаяся стихия не может вас оскорбить, она только может сделать вашу жизнь невыносимой — в уголке Парижа так же, как бывало в польских городках... Они попадают в лапы жуликов, которые отбирают у них последние деньги, якобы улаживая их дела, но не улаживают ровно ничего, и они остаются все в том же положении, да еще без денег.

— Я налью вина,— сказал Серж, вставая.— Чувствую, что сегодня у нас будет сильная жажда, я схожу куплю несколько бутылок.

Дариус потянул его за рукав, чтобы он сел:

— Вина хватит, у меня есть погребок... Сиди ты, ради бога, спокойно, Серж!

Он пошел к стенному шкафу на другом конце мастерской и вернулся, неся по бутылке в каждой руке.

— Во время всеобщего бегства в 1939 году,— сказал Альберто,— когда Франция посадила за колючую проволоку нас, испанских бойцов, могильщикам приходилось копать на кладбище не ямы, а траншеи, так много заключенных умирало каждый день. Когда комендант лагеря, французский генерал, велел привезти доски, чтобы построить бараки для администрации лагеря, и испанские заключенные поняли, что дело не только затягивается, а будет продолжаться до бесконечности, они стали умирать в еще большем количестве... И вот однажды мы увидели, как молодой испанец, интернированный, как и все остальные, идет по лагерю и тащит за собой одно из тех бревен, которые привезли для постройки барakov. Мы смотрели, как он медленно шел и тащил бревно, оставлявшее за собой борозду на грязной земле... Охранявшие нас сенегальцы тоже это видели. Парень шел один со своим бревном, и вид у него был странный. Один из сенегальцев крикнул ему, чтобы он остановился. Все ждали, что произойдет, потому что парень не остановился, а продолжал идти в нашу сторону... Тогда сенегалец бросился на него со штыком! И тут произошла невероятная вещь: не успел еще сенегалец напасть на парня, как толпа заключенных кинулась на сенегальца, подмяла его под себя, поглотила его, а когда толпа отхлынула, от сенегальца остались одни лохмотья.

Альберто внимательно посмотрел на остальных, как бы проверяя, поняли ли они его. Потом продолжал:

— На другой день нам принесли хороший суп. Нам объявили, что привезенные бревна пойдут на постройку барakov, чтобы нам больше не приходилось спать под открытым небом... И с этого дня испанцы в лагере уже не мерли, как мухи, а умирали, как люди, время от времени.

Глядя на Альберто, Дариус наливал вино. Какой поразительный тип идадьго, испанского гранда, смесь стали

и закалившего ее огня. Человек, рожденный быть вожакom мужчин, а, может быть, также и женщин. Дариус стал мечтать о портрете Альберто.

— Да,— сказал Фрэнк, это, конечно, поучительно... Но я — единственный в своем роде. И я не привык...

Никто не сказал ему — «привыкнешь», но каждый это подумал.

— Единственный? — повторил Серж. — Насколько мне известно, вас в Париже несколько тысяч...

— Несколько тысяч кого?..

— Несколько тысяч американских граждан, которые сбежали из Соединенных Штатов.

— Возможно. И все-таки я один. Что меня с ними связывает?

— Ну,— сказал Дариус,— за работу.

Серж лег на продавленный диван. Его загорелое лицо, черные, штопором выющиеся волосы на полосатых подушках, желтых с зеленым, были уже сами по себе готовым портретом.

— Можно мне побренчать на гитаре, Дариус, а то уж очень скучно.

— Можно.

Альберто поднял гитару и подал Сержу, который начал ее настраивать, потом откашлялся и запел глухим голосом... французские, испанские, русские песни... В мастерской все застыло: Дариус углубился в работу, Серж — в песни, а Альберто и Фрэнк — в свои мысли.

Сумерки замарали окна. Когда Дариус положил кисти, Серж спал, Альберто размышлял за бутылкой, а Фрэнк исчез.

Ботинки Дариуса скрипнули, Серж открыл глаза и, вставая, задел коленом гитару... Альберто заворчал.

— Он не застрелится? — спросил один из троих. Никто не ответил.

— Так... — сказал Серж, — я, наверно, очень люблю тебя и твою живопись, если способен зря тратить время, развалившись на твоём диване. Сейчас, когда забастовка кончилась... Меня, наверно, человек десять ждут дома... Перед уходом, Альберто...

Отряд не заметил  
Потери бойца  
И «Яблочко»-песню  
Допел до конца...

— Собачья жизнь...— сказал Дариус.— Где он живет?  
Никто не знал, где живет Фрэнк, все встречались с ним  
только здесь, в мастерской.

— Пошли,— сказал Серж,— «Гренада, Гренада, Грена-  
да моя...» Я сегодня, сейчас же, узнаю у нашего юриста,  
как Фрэнк должен поступить...

Но «Яблочко»-песню  
Играл эскадрон  
Смычками страданий  
На скрипках времен...

Привет!

Они расстались, и каждый из них уносил с собой тре-  
вогу за Фрэнка.

## XVIII

Десять человек ждали Сержа... Его всегда ждало десять человек. Серж не был ни адвокатом, ни врачом, ни членом Центрального Комитета своей партии. Он не был профессиональным борцом за справедливость, одним из тех надоедливых людей, которые усугубляют конфликты вместо того, чтобы их сглаживать; он не был ни мстителем, отвечающим по крайней мере двумя обидами на одну, ни хитрецом, умеющим обходить препятствия, ни влиятельной персоной, которая может устранять трудности... И все-таки человек десять всегда нуждались в Серже, потому что он никогда не оставался равнодушным к несчастьям и неприятностям других.

Сержа ждали в той квартире, в которой он родился. В этой квартире обосновались его родители, после того как в 1907 году отцу Сержа удалось с помощью жены бежать с царской каторги. Здесь, в этой квартире, собирались тогдашние революционеры; некоторые из них стали потом всемирно знаменитыми. Отсюда отец Сержа ушел в 1914 году на войну, и здесь же мать получила уведомление, что муж ее пропал без вести под Аррасом... Через несколько месяцев родился Серж. Из этой квартиры Серж отправлялся каждое утро в лицей Людовика Великого. Здесь в 1936 году ему исполнилось двадцать лет, и отсюда он отправился в Испанию, чтобы вступить там в Интернациональную бригаду. Эту квартиру он опять покинул во время войны 1939 года. Тогда же он вступил в коммунистическую партию, и именно сюда, когда он был уже в армии, пришла с обыском полиция. Отсюда его мать вынуждена была бежать через крышу, спасаясь от рыскавших по дому немцев; с помощью жильцов, передавших ее с рук на руки, она добралась до глухого переулка позади дома и укрылась у друзей. Сюда же она вернулась и

ждала за закрытыми ставнями, когда её вернут сына. Здесь, когда его освободили из лагеря, Серж познал счастье возвращения и все, что последовало за этим счастьем. У Сержа оставалось немного времени для музыки, которую он хотел сделать своей профессией. Жизнь во что бы то ни стало стремилась превратить этого музыканта в бойца.

Все та же консьержка, все та же деревянная лестница с толстыми балясинами, грубо покрашенными в коричневый цвет, и все то же дерево в глубине двора... Столовая и комната матери выходили во двор, а комната Сержа и кухня — в переулочек, по которому они никогда не проходили, если не считать того случая, когда мать Сержа бежала по нему, спасаясь от немцев. Еще была маленькая темная передняя. Сейчас во дворе играли другие дети, но они кричали «Салка!», как тридцать лет назад кричали «Салка!» Серж и его приятели. В эту самую квартирку переехала к Сержу та женщина, которую он отнял у другого и которая вернулась потом обратно к этому другому... Серж оплакивал ее, как мертвую, что не мешало ему влюбляться. Он был галантен и ласков, и многим женщинам нравилась его крепкая ладная фигура, восточное лицо, большие глаза и черные волосы, выходящие штопором.

Десять человек ждали Сержа... Впрочем, это только так говорится — десять, его ждали: Фанни, Патрис, один молодой музыкант, принесший свою партитуру, да еще Фернандо — коридорный «Гранд-отеля Терминюс», который в испанской армии был политкомиссаром Сержа.

— Целая толпа, — сказал Патрис, — если бы ты поставил себе телефон, то этого бы не было.

— Мама! — закричал Серж, как только вошел. — Чайник!

В кухне свистел чайник, и мать Сержа мелкими шажками просеменила через столовую.

— Третья очередь, — сказал Патрис, — твоя мать уже угощала нас два раза, по мере появления вновь прибывавших. Первым пришел я и жду тебя уже больше часа...

— Дариус пишет мой портрет. — Серж уселся за стол и принялся за еду, пропустив для начала рюмку водки и закусив ее селедкой. Так когда-то делал его отец.

— Красив ты на портрете? — спросила Фанни.

— Как сказать... Смотря с какой точки зрения... — ответил Серж уклончиво.

Так как все были знакомы с живописью Дариуса, ответ Сержа вызвал всеобщий смех.

— Садись за рояль,—сказал Серж молодому музыканту,—все будут разговаривать, но я буду слушать. Как поживает твой протеже, Фернандо?

— Карлос? Хорошо. Так хорошо, что мне теперь ночью не с кем сыграть в карты. Вернее, не с кем время провести, в карты-то мы все равно не играли. Норвежский ученый без ума от Карлоса. Он говорит, что Карлос — Галилей, Ньютон и Жюлио-Кюри, вместе взятые... Новый Эйнштейн! Он собирается взять его с собой в Норвегию, а пока выправляют документы, он его устроил в лабораторию. Повезло парню... И мечта его сбылась, и вдобавок он станет нормальным гражданином... Ведь уже больше года он жил в Париже с одной только квитанцией вместо документов и даже не потрудился их получить. Он так глубоко, надежно погрузился в ночь, на песчаное дно большой гостиницы...

— У людей со спокойным характером всегда все получается гораздо лучше,—сказала Фанни.

— Это верно...—Фернандо внимательно посмотрел на Фанни, которую видел в первый раз: — Вы это очень правильно сказали. А у людей, лишенных родины, часто бывают беспокойные характеры, они всегда чего-то боятся... Документы, которые они носят при себе, для них необычайно ценны. Им все время чудится, что к ним придерутся. А Карлосу на все это наплевать, документы его не волнуют, он ничего не боится, он о них и не вспоминает.

— Собаки,—сказал Серж,—кусают людей, которые их боятся.

Музыкант, неловкий и застенчивый, возился с пюпитром рояля и с партитурой, которая все время падала. Но как только он уселся, пальцы его ловко и быстро забегали по клавишам. Мать Сержа принесла чай.

— Как подвигается портрет, Сереженька? —спросила она, наливая ему чай.

— Понемножку, мама. Сегодня Дариус сделал мне красивые рыжие волосы и добавил в них немножко зелени.

— О господи! — испуганно вздохнула г-жа Кремен и исчезла в своей комнате.

Патрис нетерпеливо ждал, когда ему наконец удастся вставить слово:

— Послушай, Серж, а как с Китаем, поездка состоится?

— Конечно, состоится! Отъезд пятнадцатого октября, вас будет пятнадцать делегатов. Не знаю от кого, но делегатов.

— А кто эти делегаты?

— Не знаю. Единственный мой кандидат и протеже — ты, других я не знаю. Почти все — из интеллигентов, это все, что я могу тебе сказать. Ах, да... по-видимому, будут два политических деятеля.

— Ты их тоже относишь к интеллигентам?

Патрис сказал это так серьезно, что все, кроме музыканта, занятого своим делом, рассмеялись.

— Я бы с удовольствием поехал в Китай, — сказал Фернандо задумчиво, — но пока что мне приходится заниматься товарищами, которых высылают в Канталь<sup>1</sup>. После Корсики и Африки — Канталь!

Серж перестал жевать и посмотрел на него, ожидая продолжения.

— В Канталь, — повторил Фернандо, — я пришел рассказать тебе об этом. Мы начинаем кампанию против высылки... Но пока что они уехали. Да и мне не миновать... Придется мне ехать на Корсику или еще куда-нибудь!

Серж встал весь красный. Патрис не совсем понимал, почему этого человека высылают на Корсику или еще куда-то... Но он чувствовал какую-то неловкость. Фанни крепко сжала руки. Один только музыкант продолжал брать звучные аккорды.

— Многовато для одного дня, — сказал Серж, засовывая руки в карманы, — американское посольство отобрало паспорт у Фрэнка Моссо... художника, у которого мастерская рядом с Дариусом. Испанцев высылают к черту на рога — в Канталь! Фернандо тоже, чего доброго, вышлют вслед за ними. На Корсику или в Канталь. И, конечно, как всегда, когда он бывает нужен, Ива нет!

Ив, друг Сержа, был адвокатом и заходил к Сержу почти каждый вечер, хотя бы на минуту. Он бывал у Сержа так часто потому, что жил бобылем, а у Сержа чувствовал себя дома, в своей семье. Ив был «домашним» адвокатом, как бывают «домашние» врачи. По всем болезням, по обычным неприятностям, которые бывают у людей, находящихся не в ладах с властью имущими, и по тем раз-

---

<sup>1</sup> Канталь — департамент Франции.

образным, бесчисленным неприятностям, которые происходят из положения эмигранта.

— Высылают! — воскликнула Фанни, сжимая на груди уки. — Но ведь это ужасно! Они очутятся там без работы, без жилья.

— Простите за нескромный вопрос, — сказал Патрис, — эта высылка — дело серьезное? Большое несчастье?

— Несчастье? Да, это несчастье, — ответил Серж, который стоял, засунув руки в карманы брюк.

— Это очень серьезно, — со свойственной ему степенной вежливостью подтвердил Фернандо, обращаясь к Патрису на своем изысканном с невероятным испанским акцентом французском языке, — более чем серьезно, потому что является симптомом определенного направления в политике. Репрессии против испанских республиканцев означают сближение с Франко. Одних отправляют на Корсику... других в Сахару... В Канталь, если очень повезет.

— Ты не мог сказать мне этого раньше, — вдруг обрушился на него Серж, — а что, если и тебя вышлют!..

— Нас не предупреждали, — вежливо возразил Фернандо, — за товарищами просто пришли на рассвете, когда они еще спали. Что касается меня, то со мной еще ничего не произошло, я только чувствую, как что-то надвигается. А с другими все случилось так быстро, что мы и опомниться не успели...

— Разрешите задать вам вопрос, мосье? — сказал Патрис своим самым консульским тоном, — вы, конечно, занимались политической деятельностью, живя во Франции? Не может быть, чтобы без причин...

Серж нетерпеливо прервал его:

— Послушай, Патрис... Как ты не можешь понять, что его политическая деятельность во Франции началась во французском лагере, куда он попал во время всеобщего бегства из Испании. Что его политическая деятельность во Франции привела его во французскую армию, где он был ранен. Что за эту деятельность его опять посадили во французскую тюрьму. Что за нее его наградили французским военным крестом. А как только он перешел испанскую границу, его за эту деятельность посадили в испанскую тюрьму... можешь ли ты взять в толк, что Фернандо всего два года находится на свободе...

— Моя политическая деятельность во Франции, —

вмешался Фернандо, — всегда касалась только моей родины — Испании...

— Но, — возразил Патрис очень холодно, — если вы продолжали политическую деятельность, будучи беженцем, которому Франция предоставила убежище...

— Патрис, — сказал Серж, — я уже пытался тебе объяснить, что гражданская война в Испании была подготовкой к войне с нацистами. Ты как будто это понял тогда, а теперь начинаешь все сначала...

— Я не понял. Я тебе поверил.

— А теперь ты мне больше не веришь?

— Теперь я хотел бы также и понять.

Серж снова сел и отпил большой глоток чая. Сказанное Патрисом было понятно только им двоим... В лагере Патрис верил всему, что говорил Серж, и хорошо делал, так как только благодаря этому вышел оттуда живым. Музыкант брал последние аккорды при всеобщем молчании, которое он истолковал по-своему:

— Ну как, Серж, ничего? — спросил он.

— Я плохо слушал, прости меня. На нас свалилась беда: высылка испанцев...

— Сволочи! — сказал музыкант.

Раздался звонок. Серж пошел открывать, и слышно было, как он говорил в передней: «Ты слышал, что испанцев выслали в Канталь?»

Вслед за Сержем вошел Ив — адвокат. Он подошел к столу и, не поздоровавшись, налил себе чаю. На нем был синий костюм, корректный, но плохо сшитый. Большеголовый, с пышными волосами, стоявшими высоким бобриком, сутулый человек. Очки скрывали синеву его глаз. Он смотрел в пространство и помешивал ложкой в чашке. Все молчали. Серж, заменивший музыканта за роялем, ударил кулаком по клавишам.

— Так вот, — сказал Ив, — в первую очередь известили, конечно, меня. Ясно, что мы старались приостановить высылку всеми способами. Но они действовали так быстро, что мы ничего не успели добиться. Надо собрать деньги. Это, правда, не корсиканская чаша, но у высланных товарищей нет ни гроша, и пока они найдут работу...

Ив снял очки, запотевшие от чая.

— Я с вами попрощаюсь, — Фернандо встал, — теперь у вас есть Ив... Он объяснит вам все лучше, чем я.

Фернандо всем пожал на прощанье руку.

— Мам! — закричал Серж. — Фернандо хочет с тобой проститься!

Г-жа Кремен вышла из своей комнаты и проводила Фернандо в переднюю. Серж последовал за ними. Остальные сидели молча.

— Тебе что-то было нужно, Фанни? — спросил Серж, вернувшись.

— Нет, пустяки... — Фанни сидела в уголке большого дивана, поджав под себя ноги, как нахохлившийся птенец, — хору негде репетировать, нет денег на помещение... Мои поляки выходят из себя. Вот и все.

Патрису хотелось еще раз спросить про Китай, но после этой истории... Серж был чернее тучи. Патрис с раздражением думал, что всегда неприятно видеть загнанного человека, он знал, что это значит, он сам побывал в лагере, но Канталь не Маутхаузен... Молчание затягивалось, нагнеталось. Серж опять сел за рояль, легонько тронул клавиши, звуки падали капля за каплей...

...Чтоб землю в Гренаде  
Крестьянам отдать...

— скорее пробормотал, чем пропел, он на одном ему известный мотив. Патрис тотчас же поднялся: эти строки всегда были сигналом к прощанию, Серж его выпроваживает...

— Нет, — сказал Серж, — я тебя не прогоняю. Просто так, вспомнилось... — Однако он тоже встал. — Кстати, относительно твоего Дювернуа — вот и еще материал для его романа об эмигрантах. Как ты думаешь, он может ему пригодиться?

Патрису очень хотелось поехать в Китай, да и вообще он не намерен был ссориться с Сержем:

— Я больше не встречаюсь с Дювернуа, он вел себя по-хамски с Ольгой. Он сам мне об этом сказал.

— Прелестное дитя, этот... — Серж не договорил.

— Не провожай меня. — Патрис вышел, и слышно было, как за ним захлопнулась входная дверь.

— Так твои поляки выходят из себя, Фанни?..

— Да... Ничего не готово. Нельзя печатать афиши, потому что программа все еще не подготовлена. Что же делать?

— Сыграй мне еще раз твою вещь, Пьеро, — сказал Серж, — ноне играй слишком громко, я лучше пойму, если потихоньку... А мы пока поговорим и подумаем.

Музыкант Пьеро покорно направился к роялю, а Серж сел на диван рядом с Фанни.

— Ты звонила Ольге?

— Я не решилась...

— Почему? Ты ведь знаешь, что ей это только приятно. Хочешь, я ей позвоню сейчас?

— Если ты находишь нужным... Пойдем позвоним. Который теперь час?

— Около девяти. Если она обедает дома, как раз самое время.

Как только музыкант кончил первое анданте, Серж похлопал его по плечу. «Послушай,— сказал он,— сегодня слишком много неприятностей, но я все запомнил, завтра зайду к тебе. У тебя нам будет спокойнее!»

Они вышли все вчетвером. Музыкант побежал к метро, Фанни, Ив и Серж пошли звонить по телефону в соседнее кафе-табак.

— Можно мне пройти к телефону в заднюю комнату? — спросил Серж хозяина.

— Иди... — хозяин получал деньги с клиента, который спешил.

Серж прошел в комнату за стойкой. Она была загромождена ящиками и бутылками, посредине стоял круглый стол. Здесь хозяин и его жена обедали, но сейчас клеенка была уже вымыта, в маленькой кухоньке, которая находилась рядом, было темно. Пока ячейка Сержа не сняла другое помещение, она собиралась здесь. Хозяин был «сочувствующим», но не очень пылким. Серж набрал номер «Терминюса».

Ольга оказалась у себя, они назначили свидание в кафе около отеля — у Ива была машина.

Ольга их уже ждала, перед ней стояла чашка кофе...

— Так вот,— сказала Фанни,— полякам из угольного бассейна обещали устроить праздник франко-польской дружбы, а у нас ничего нет — ни программы, ни актеров.

— Чем же я могу быть вам полезна?

— Мы хотели,— продолжал вместо Фанни Серж,— чтобы вы выбрали нам стихи или прозу. Что-нибудь на эту тему... Я берусь найти актеров... и музыку.

Ольга размышляла. Другие ждали: не надо было ее топотить.

— Хорошо,— сказала она,— у меня еще не кончился отпуск. Я пойду в библиотеку. Но у вас, как всегда, все в последнюю минуту?

— Да нет, у нас есть время, по крайней мере месяц... не правда ли, Фанни? Лучше отложить праздник, чем все испортить.

Фанни с этим согласилась, но что она скажет полякам... Однако она вздохнула с облегчением.

— Мы вам очень благодарны, мадам!

— Знаете ли вы, Ольга,— сказал Серж, после того как им подали виши и все остальное,— знаете ли вы, что в вашем отеле у нас есть испанский товарищ? Он не постоялец, а коридорный на этаже.

— Нет, я не знала. Он, очевидно, скромный человек. Или он не на моем этаже.

— Наверное, и то и другое. А знаете ли вы, что под крышей вашего отеля обитает также гениальный физик божественной красоты?

— Во всем отеле есть только один человек божественной красоты. И появляется он лишь по ночам. Но он не физик, а ночной дежурный.

— Ага! Так, значит, вы его знаете; это он и есть!

— Каким образом?

Серж заметил интерес в обычно бесстрастных глазах Ольги.

— Та-ак! Неужели он до такой степени хорош собой? А что вы о нем знаете?

— Ничего.

— Тогда... если вас это интересует... Его зовут Карлос, и он круглый сирота, без роду и племени. Никто не знает, какая страна — родина этого гения. До того как стать ночным дежурным, он был студентом. В отеле он познакомился с Фернандо, который в действительности не коридорный, а политический комиссар. На этаже Фернандо поселился норвежский ученый, Фернандо устроил так, что ученый и Карлос встретились. Ученый поговорил с Карлосом и признал его гениальным. И вот Карлос не будет больше дежурить по ночам в отеле, а займется вместе с норвежским ученым судьбами человечества... Фернандо тоже не будет больше коридорным, потому что его наверняка вышлют из Парижа... В Канталь, очевидно, потому что туда уже отправили других испанцев.

Краска залила бледные щеки Ольги.

Ольга уже начала различать людей, сидящих за столом. Последние слова произнесла та женщина, которая вначале воскликнула: «Умерла от родов!» Молоденькая, симпатичная, в берете на светлых волосах.

— Недоглядели, недосмотрели... — сказала со слезами на глазах седая женщина.

— Но что же мы могли сделать? Вы ведь знаете, что ее муж выгнал бы нас...

— Когда несчастье уже стряслось, тогда только понимаешь...

— Но сама Марта никогда нам не говорила...

— Значит, мы не сумели дать ей почувствовать...

— Вы говорите все сразу... А мы еще ничего не знаем. Может быть, эта дама нам расскажет...

Пока они говорили все это и многое другое, Ольга разглядывала комнату и людей... Дверь на улицу то и дело открывалась, люди проходили через комнату и исчезали за одной из трёх дверей. Пол был цементный. На деревянных перегородках висели афиши и диаграммы. Ольга думала о том, что милостивая блондиночка, наверное, домашняя хозяйка, может быть, молодая мать, жена какого-нибудь служащего... женщина с седыми волосами — может быть, учительница?... а та, довольна сухая... перед которой лежали какие-то сводки и бумаги, похожа на кассиршу... Парень в рубашке с короткими рукавами, очевидно, рабочий, а другой, немолодой, с подтяжками, которые ему длинны, и в штанах, которые ему широки, возможно, ремесленник? Тот, что заговорил с ней первый, хорошо одетый, в пиджаке из твида, наверное, представитель какой-нибудь свободной профессии...

— Она не сумела примирить любовь к мужу-фашисту со своими коммунистическими идеалами, — сказала женщина со сводками.

— Ну, — воскликнул парень в рубашке с короткими рукавами, — если бы я был на месте Марты, я бы показал этому типу! Взял бы ребенка в охапку и был таков!

— Вам легко говорить, — сказала блондинка, — бывают случаи, когда делаешь вовсе не то, что хочется. У меня тоже разные убеждения с мужем. Я была совсем одна в Париже, заболела, и обстоятельства сложились так, что пришлось выйти замуж. А потом, с ребенком на руках...

— У тебя с мужем разные убеждения, но тем не менее он расклеивает «Юманите»!

— Да, человек он хороший...

— Это неподходящий пример... Вот один товарищ, в другой ячейке, женился на женщине члене МРП<sup>1</sup>, и активном — я вам скажу! Так вот, она как была членом МРП, так и осталась... Вот жизнь!

— МРП там или нет... Иногда приходится довольствоваться тем, что подвернется. Я знаю одну женщину в моем квартале... Ее муж умер на прошлой неделе. Он бил ее и пропивал все, что она зарабатывала. А на похоронах она плакала, плакала... И все твердила: «Когда он был жив, он мне ничего не давал, а теперь, когда он умер, он все унес с собой»... Вы знаете, в нашем обществе без мужчины...

— Это неважно,— сказал тот, у которого было серое лицо и слишком длинные подтяжки,— мы, коммунисты, оказались не на высоте. Если бы Марта ощущала нашу дружбу, если бы мы заботились о ней...

— Как быть, в Париже это не так просто... Здесь, когда мы уходим с собрания, каждый возвращается к своей обычной жизни и исчезает. В провинции или в деревне все на виду, все всё друг про друга знают. А в Париже, в большом городе, мы живем врозь, у каждого своя профессия, свой образ жизни... Заботиться друг о друге... разве это реально?..

Внезапно тот, на котором был пиджак из твида, вспомнил:

— Но вы что-то сказали про венки, мадам?

— Да, я пришла сказать вам, что я взяла на себя смелость послать Марте венок. Красный, с трехцветными лентами и надписью: «*Марте Н..., нашему дорогому товарищу, от ячейки имени Луизы Мишель Французской Коммунистической Партии*».

— Мадам, это для всех нас большое облегчение. По крайней мере я лично чувствую так.

— Вот и все,— сказала Ольга,— остается передать вам самое главное,— она поднялась.— Марта просила меня: «Скажи им, что я их люблю... что я умру коммунисткой».

Все встали... Вероятно, для того, чтобы почтить память товарища минутой молчания... и так стояли, растерянно, в беспорядке и совсем не торжественно. Женщина со сводками вытирала глаза. Другая сморкалась. Но нельзя же было стоять так до бесконечности... Ольга собиралась

---

<sup>1</sup> МРП — католическая республиканская партия.

попроситься, но кто-то... немолодой человек в подтяжках... хотел задать ей еще один вопрос:

— Простите за нескромность, — сказал он, — но как вам пришла в голову такая мысль, я говорю о венке?..

Ольга ответила не сразу. Ведь она и сама хорошенько не знала, почему она так поступила... То есть она чувствовала почему, но не знала, как это выразить...

— Это сложно, — сказала она, — я совсем не знала Марты Н... Один человек попросил меня зайти к ней, он думал, что я тех же убеждений, что и она... а так как я не знала, как вас найти... Это случилось уже после того, как она пыталась покончить с собой... Все думали, что она спасена, по крайней мере физически, но ведь она была больна и психически: чтобы выздороветь, ей надо было бы прогнать мужа; а чтобы у нее хватило на это сил, ей надо было сначала выздороветь... Я не только послала венок... Когда я ее увидела... она мне показалась уже мертвой... и так как я знала, в чем ее горе, я невольно сказала ей «товарищ»... Она подумала, что я пришла от вас, а я не стала ее разубеждать. Остальное получилось само собой.

Опять открылась одна из внутренних дверей: два человека в форме служащих метро приостановились, разглядывая собрание ячеек...

— Что это у вас за прения? — сказал один из них, посмеиваясь, — похоже, что вам здорово нагорело...

— Так оно и есть... и поделом, — ответил тот, у которого было серое лицо.

— Что-то тут у вас странное происходит... — сказал служащий метро, и дверь захлопнулась за ним и его товарищем.

— Простите меня, мадам, — сказал молодой парень в рубашке с короткими рукавами, — но, значит, вы тоже наш товарищ!

— Нет. То есть я не член партии.

— Нет? Что же, ваш поступок вполне подходит как рекомендация для приема, — сказал человек в пиджаке из твида.

— У меня свои трудности... — сказала Ольга мягко, — может быть, поэтому я сразу поняла Марту. Несмотря на то, что судьба у нас не одинаковая.

— Но, мадам, ваш поступок должен был заставить вас ошутить себя членом нашего коллектива!

— Ненадолго, товарищ...— Ольга встала. За ней поднялись и остальные. Каждый пожал ей руку.

— От лица членов ячейки имени Луизы Мишель Французской коммунистической партии,— сказал человек в твиде,— я вас благодарю, товарищ, за то, что вы сделали для Марты Н... и для нас!

Ольга вышла на темную улицу и быстро-быстро зашагала по направлению к метро.

## ХІХ

Саша Розенцвейг познакомился с молодым князем Федей Н... в клубе. С тех пор прошло уже больше двух лет, это был памятный для Саши день — он тогда оказался в крупном выигрыше. Рядом с ним кто-то, кому не везло, крепко выругался по-русски. Саша обернулся, увидел расстроенного молодого человека и, чтобы утешить, пригласил его выпить стакан вина: это и был Федя Н... Выигрыш привел Сашу в хорошее настроение, и в тот вечер к нему вернулось что-то от дней его золотой молодости, от его былой заразной веселости. Да, в свое время Саша был весел, как застольная песня, был настоящим гусаром — любил женщин, вино, музыку и карты. Он был бы и за войну, если бы она, как некогда, велась в белых перчатках. Сидеть за столиком в ночном ресторане и пить шампанское в обществе князя, да еще и угощать его за свой счет — для Саши, гуляки по призванию, было давно позабытым счастьем... В нем пробудилось бывшее молодечество и удаль, которые делали его незаменимым собутыльником. С того вечера Федя уже не мог обходиться без Саши. Федя не интересовался происхождением этого Розенцвейга, тот факт, что Саша не любил коммунистов, был для него достаточной рекомендацией... Федя свел его со своими приятелями, и скоро Саша превратился в гида целой банды молодых шалопаев: тот первый вечер, когда он платил за князя, не повторился, у Саши на это не было средств, но благодаря ремеслу журналиста он знал Париж как свои пять пальцев; по долгу службы ему приходилось бывать повсюду, где собирался «весь Париж», — на спектаклях, в театрах, кабаре, ресторанах, на скачках, на матчах, на выставках моделей мод... Из любопытства и склонности к ночной жизни он, уже для собственного удовольствия, знакомился с ночным Парижем: Центральный рынок,

Монмартр, бездомные бродяги... Случалось, он набредал на любопытных людей и любопытные места.

В этот вечер Саша играл — и проигрывал. Он бешено нервничал. Днем он получил письмо из издательства, его просили зайти в конце недели, и он метался от восторга к отчаянию и от отчаяния к восторгу. Может быть, жизнь его переменится, может быть, ему не придется больше работать в газете, может быть, он перестанет играть и выносить презрение и высокомерие, лишь бы ему как милостыню подали несколько франков еще на одну ставку или стакан вина в ночном кабаке, когда не хочется возвращаться домой и расплачиваться приходится дифирамбами престелям кабака... Ему надоело всё и все, и в первую очередь он сам... Ему претила Федина компания, которая увивалась за ним, потому что он знал адреса публичных домов и был вхож в рестораны, где за ним ухаживали, как за корреспондентом крупной газеты, который может помочь их процветанию. К счастью, после Фединой женитьбы его приятели тоже переженились, и компания понемногу стала распадаться: что бы там ни думал старый князь, этим парням все-таки удавалось задорого продавать свои титулы, хотя женитьба Феде, казалось бы, доказывала обратное. Федя подцепил богатую наследницу только потому, что выдал себя за рабочего... К тому же Федя не получил на руки приданого Марты, ее родители боялись, что он его промотает, и Федя любил рассказывать своим друзьям, как он заставляет жену расплачиваться за это... Потом он извещил их о том, что Марта беременна, он рассказывал приятелям все подробности своей семейной жизни. Наконец они узнали о рождении ребенка и последовавшей затем смерти Марты. Тут Федя исчез и пропадал до того самого вечера, когда Саша проигрался, думая о письме из издательства.

Федя появился перед Сашей мертвецки пьяный, весьма мало привлекательный на вид. Где он был, валялся ли в канаве или ползал на четвереньках по мокрой от осеннего дождя мостовой? Во всяком случае, он был отвратителен. Саша встал и, взяв Федю за руку, постарался его увести; крупные уже неприязненно поглядывали на них, а Саше вовсе не хотелось скандала.

— Уведи меня, Саша, — мямлил Федя, — чтобы она не маячила у меня перед глазами со своим огромным животом...

Саше удалось свести его с лестницы, впахнуть в такси. Он сел рядом с Федей, раздраженно думая: надо же, чтобы Федя привязался к нему именно сегодня, когда он и без того расстроен. Отчего Федины друзья и отец о нем не заботятся, почему все сваливается на Сашу... Что ему теперь делать с этим пьяницей?

— Хочешь, я тебя отвезу домой? — спросил он.

— Домой? Господи! А если она там? С животом... Саша! Не оставляй меня! Они увезли ребенка... У меня ничего не осталось, у меня больше нет ничего в жизни...

— Ну, ну... Не распускай нюни. Что бы ты стал делать с грудным младенцем? У тебя же нет молока.

— Давай напьемся, Саша! Я боюсь... Господи, как я боюсь...

Саша дал шоферу адрес кабачка на Монмартре, который почти всегда был пуст: дела там шли плохо. В этом заведении были русские танцоры и корректный бармен. В другом месте с пьяным Федей не оберешься неприятностей.

В кабачке действительно было пусто... Длинное узкое помещение было похоже на коридор; стойка бара помещалась у входа, банкетки и столики стояли вдоль стен — по середине свободное место для танцев. Когда они вошли, все оживилось: три девицы, скучавшие у стойки, расплылись в улыбке, бармен сказал: «Привет, мосье Саша!», а маленький оркестр начал настраивать инструменты. Только два русских танцора, которые сидели в дальнем конце зала, продолжали партию в шахматы, обдумывая ходы. Тишина, спокойствие. Федя развалился на банкетке. «У тебя есть на что напиться?» — спросил осторожный Саша, усаживаясь рядом с Федей. Федя порылся в карманах и достал смятую кучу десятитысячных бумажек. Саша взял их и положил к себе в карман. «Я тебе их потом верну, ты сейчас пьян как стелька — пусть лучше деньги будут у меня». Саша подозвал бармена и заказал ужин и шампанское.

— Ваш друг плохо себя чувствует? — спросил бармен, не глядя на Федю, который уронил голову на стол.

Саша пожал плечами и, оставив Федю, сел на табурет возле стойки: пока подадут... Бармен приготовил ему коктейль.

— У него умерла жена, — сказал Саша. — Два месяца назад... и как видите...

— Н-да, — произнес бармен.

— Любовь — великая вещь! — сказала одна из девиц.

Все три девицы были растроганы. Бедный! Потерять жену! Должно быть, она была еще молодая. Красивая? А дети есть? Сколько? И так как Саша загадочно молчал, одна из девиц, испанского типа, осведомилась: «Может быть, он ее убил?»

Саша встал и со стаканом в руке прошел в дальний конец, где русские танцоры, неподвижные и немые, склонились над шахматной доской.

— У вас пахнет плесенью, — сказал Саша.

— Х-м... — отозвался более вежливый из двух партнеров.

— Андрэ работает? — спросил Саша.

— Нет, он дома. Здесь ему слишком скучно. Поглядите, сколько у нас народу. Чего только хозяин смотрит...

— А как поживает Ася?

— У Аси все хорошо. Она уехала с детьми на юг. Готовит там блестящий номер. Что это с вашим приятелем?

— У него два месяца тому назад умерла жена. Вот он ее и оплакивает.

Один из игравших поднял голову:

— Умерла жена? Что же вы раньше не сказали?

— А почему я должен был вам об этом сообщить? Что это меняет?

— Как что? Это меняет дело. Он русский?

Саша объяснил, кто такой Федя. Белокурый танцор с волосами, расчесанными на пробор и гладко примазанными, с золотым браслетом, видневшимся под манжеткой, муж Аси, уехавшей с детьми на берег Средиземного моря, подошел к Феде и сел рядом с ним:

— Послушайте, — сказал он, — давайте выпьем, а?

Саша остался с другим танцором, который все еще обдумывал ход.

— Он зря теряет время, ваш приятель, — сказал Саша, — парню на жену было наплевать, он просто пьян.

— Это неважно, — ответил танцор, не поднимая головы, — смерть есть смерть. Кто он, я не расслышал?

— Молодой князь Н..., — повторил Саша.

Танцор вытянул ноги и, откинувшись, прислонился к стене, где висели фотографии звезд, с автографами и в рамках: он все еще обдумывал свой ход. Из кухни появился бармен, неся тарелки с холодным мясом. Саша вернулся к своему столу и сел рядом с Федей. Федя поднял голову,

вид у него был дикий — глаза красные, волосы спутанные... Белокурый танцор протянул ему стакан водки, за которой ходил к бармену.

— Музыка! — закричал Федя.

— Что вам сыграть? — спросил танцор, севший к нему за столик.

— Музыка! — тупо повторял Федя.

— Федя, ешь, — сказал Саша, — тебе станет легче.

Федя покорно взял нож и вилку, стал резать мясо и с трудом его прожевывать.

— Ничего нет отвратительней смерти, — говорил он с набитым ртом. — Ничего не поймешь. Взяла и умерла, как раз когда я начал к ней привыкать. Она была хорошая девка. Но я тебе хочу сказать одну вещь, Саша... — Федя перестал есть и положил руку на черный рукав Саши. — Когда я увидел перед своим носом этот венок, который прислали, чтобы посмеяться надо мной, я перестал жалеть, что она умерла...

— Какой венок?

— *«Марте Н..., нашему дорогому товарищу, от ячейки имени Луизы Мишель Французской Коммунистической Партии»*. Я успел налюбоваться... Красные гвоздики, трехцветная лента. Если бы она была жива, я бы ее убил.

Круглые щеки Феди стали пунцовыми.

— Между вами не было согласия? — сказал понимающе танцор.

— Не было! — Федя осушил бокал шампанского. — Не было согласия! Мне так же противно было жениться на коммунистке, как ей выйти замуж за князя.

Танцор задумчиво покачал головой.

— Я знал одну чету, — сказал он, — жена была русская, преданная памяти его величества царя, а он — француз и совсем других убеждений... Она стала пить. Мы ее часто здесь видели... Красивая женщина, тонкая, элегантная и прочее. А напивалась каждый день.

— Это ее муж-коммунист вызывал у нее жажду? — сострил Саша.

— Да он не был коммунистом, просто он был не за царя.

— Ну и что же?

— Она попала в сумасшедший дом...

— В наше время перед регистрацией следовало бы тре-

бовать справку о политических убеждениях нареченных, — сказал издали бармен, и одна из девиц рассмеялась.

Федя ел с аппетитом.

— Все-таки она была хорошая девка, — говорил он, — я бы к ней привык, — слезы снова потекли по его щекам, — если бы не мои приемные родители, мы бы с ней как-нибудь сговорились. Она была дура, но... Они все время заставляли меня требовать у нее денег... А мой отец, князь, издевался надо мной из-за того, что вместо выгодного дельца я заполучил в дом коммунистку... Почему он меня ненавидит, отец? Разве люди имеют право родить детей, чтобы потом их ненавидеть?

— У вас остался ребенок, — вспомнил танцор и поднял рюмку. — За вашего ребенка!

Федя выпил и опять принялся жевать мясо. Пианист напевал под сурдинку. Одна из женщин подошла к Саше и сказала ему тихо, так чтобы Федя не услышал:

— Можно мне с ним поговорить? Пусть зайдет ко мне... Я уверена, что ему это будет полезно... Знаешь, я такая ласковая... А не пошлет он меня подальше?

Саша устал и нервничал:

— Откуда я знаю, у него не каждый день умирают жены... Попробуй...

Федя галантно сказал ей, что тронут вниманием.

— Дай ей десять тысяч франков, Саша, она милая, хочет меня утешить.

Саша достал деньги.

— Послушай, Федя, — сказал он, — я больше не могу, я пойду домой... Ты здесь в хороших руках... а мне надо завтра работать, я пойду...

Федя начал хныкать, но женщина, севшая рядом с ним на место Саши, стала его утешать, гладить, говорить ему ласковые слова, и Саше удалось уйти.

Он вернулся к себе на шестой этаж. С каждым годом число ступенек, казалось, росло, он поднимался, задыхаясь, точно взбирался на самый верх небоскреба, все чаще оставаясь, чтобы дать сердцу успокоиться.

Саша разделся, выпил стакан выдохшегося теплого виши и лег. Не следовало ходить с пятерки... Федя — никуда не годный, безвольный парень. Если бы у Саши были Федины возможности... Старый князь давно бы примирился с Федей, если бы тот подавал хоть какие-нибудь надежды стать приличным человеком. Саше было прекрасно

вид у него был дикий — глаза красные, волосы спутанные... Белокурый танцор протянул ему стакан водки, за которой ходил к бармену.

— Музыка! — закричал Федя.

— Что вам сыграть? — спросил танцор, севший к нему за столик.

— Музыка! — тупо повторял Федя.

— Федя, ешь, — сказал Саша, — тебе станет легче.

Федя покорно взял нож и вилку, стал резать мясо и с трудом его прожевывать.

— Ничего нет отвратительней смерти, — говорил он с набитым ртом. — Ничего не поймешь. Взяла и умерла, как раз когда я начал к ней привыкать. Она была хорошая девушка. Но я тебе хочу сказать одну вещь, Саша... — Федя перестал есть и положил руку на черный рукав Саши. — Когда я увидел перед своим носом этот венок, который прислали, чтобы посмеяться надо мной, я перестал жалеть, что она умерла...

— Какой венок?

— *«Марте Н..., нашему дорогому товарищу, от ячейки имени Луизы Мишель Французской Коммунистической Партии»*. Я успел налюбоваться... Красные гвоздики, трехцветная лента. Если бы она была жива, я бы ее убил.

Круглые щеки Феди стали пунцовыми.

— Между вами не было согласия? — сказал понимающе танцор.

— Не было! — Федя осушил бокал шампанского. — Не было согласия! Мне так же противно было жениться на коммунистке, как ей выйти замуж за князя.

Танцор задумчиво покачал головой.

— Я знал одну чету, — сказал он, — жена была русская, преданная памяти его величества царя, а он — француз и совсем других убеждений... Она стала пить. Мы ее часто здесь видели... Красивая женщина, тонкая, элегантная и прочее. А напивалась каждый день.

— Это ее муж-коммунист вызывал у нее жажду? — сострил Саша.

— Да он не был коммунистом, просто он был не за царя.

— Ну и что же?

— Она попала в сумасшедший дом...

— В наше время перед регистрацией следовало бы тре-

бовать справку о политических убеждениях нареченных,— сказал издали бармен, и одна из девиц рассмеялась.

Федя ел с аппетитом.

— Все-таки она была хорошая девка,— говорил он,— я бы к ней привык,— слезы снова потекли по его щекам,— если бы не мои приемные родители, мы бы с ней как-нибудь сговорились. Она была дура, но... Они все время заставляли меня требовать у нее денег... А мой отец, князь, издевался надо мной из-за того, что вместо выгодного дельца я заполучил в дом коммунистку... Почему он меня ненавидит, отец? Разве люди имеют право родить детей, чтобы потом их ненавидеть?

— У вас остался ребенок,— вспомнил танцор и поднял рюмку.— За вашего ребенка!

Федя выпил и опять принялся жевать мясо. Пианист напевал под сурдинку. Одна из женщин подошла к Саше и сказала ему тихо, так чтобы Федя не услышал:

— Можно мне с ним поговорить? Пусть зайдет ко мне... Я уверена, что ему это будет полезно... Знаешь, я такая ласковая... А не пошлет он меня подальше?

Саша устал и нервничал:

— Откуда я знаю, у него не каждый день умирают жены... Попробуй...

Федя галантно сказал ей, что тронут вниманием.

— Дай ей десять тысяч франков, Саша, она милая, хочет меня утешить.

Саша достал деньги.

— Послушай, Федя,— сказал он,— я больше не могу, я пойду домой... Ты здесь в хороших руках... а мне надо завтра работать, я пойду...

Федя начал хныкать, но женщина, севшая рядом с ним на место Саши, стала его утешать, гладить, говорить ему ласковые слова, и Саше удалось уйти.

Он вернулся к себе на шестой этаж. С каждым годом число ступенек, казалось, росло, он поднимался, задыхаясь, точно взбирался на самый верх небоскреба, все чаще оставаясь, чтобы дать сердцу успокоиться.

Саша разделся, выпил стакан выдохшегося теплого виши и лег. Не следовало ходить с пятерки... Федя — никуда не годный, безвольный парень. Если бы у Саши были Федины возможности... Старый князь давно бы примирился с Федей, если бы тот подавал хоть какие-нибудь надежды стать приличным человеком. Саше было прекрасно

известно, как котируется старый князь, он был осведомлен и о его связях и о его состоянии: светский хроникер должен быть в курсе того, как фабрикуются светские отношения, политические и финансовые сделки. Дамы, у которых крадут драгоценности на Лазурном берегу, обладают мужьями и любовниками, которые оплатили эти драгоценности и которые играют какую-то роль в чем-то, например в стальном тресте... и их имена появляются то в светской хронике, то в официальных отчетах, а то и в отделе происшествий. Когда Саша интервьюировал людей в роскошных отелях «Ритц» или «Крийон», он иногда заранее разузнавал всю их подноготную. Бега, биржа, светские приемы — и все те же имена за кулисами политики и финансов... Саша отлично знал, что представляет из себя «весь Париж» середины двадцатого столетия. Сон не приходил, и Саша без конца ворочался на жесткой постели своего отрочества... Письмо из издательства лежало рядом, и Саша не мог забыть о нем ни на минуту. Он встал, чтобы выпить еще стакан виши. В кабачке было гнусное шампанское — он им скажет... Если только издательство опубликует его роман, он сейчас же напишет второй — в голове у него он уже сложился. Такой же скандальный роман, как и первый... с намеками на действительные события... он ведь знает жизни! О, он-то знает!

Щелкнувший выключатель заставил его прислушаться... Смотри-ка, соседи не спят. Рядом двигались, шаги доносились так отчетливо, как если бы ходили по Сашиной комнате. Что за невыносимая парочка! К тому же еще и коммунисты, а Саша лишен возможности сделать им какую-нибудь гадость, ведь они — друзья его племянников, а племянники могли поссорить его с сестрой, Мишу, которая уступила ему эту комнату на шестом... Саша не мог себе позволить ссориться с Мишу. «Хочешь апельсин, милая?» — сказал сосед, правда, шепотом... Щебечущий голос соседки... Молчание, подобное многоточию, неприличному, непристойному. Шаги. Молчание... Саша встал, чтобы допить бутылку виши. Снова лег и заснул.

## XX

На плоской земле, под низко нависшим небом, похожим на подведенные углем глаза шахтеров, черные остроконечные терриконы заменяли горы, были похожи на грозные дымящиеся вулканы. Башни над колодцами шахт, путешествующие по воздуху вагонетки напоминали Всемирную выставку 1890 года, Эйфелеву башню, Большое колесо... А у подножья этих высот, этих гигантских черных вершин, этого ажурного железа, все было плоско, стелилось по земле. Однообразие кирпича, досок, ржавого железа, вцепившихся в черную землю, грязную и липкую... По обе стороны прямых улиц поселка углекопов стояли двухэтажные домики, все одинаковые, будто сотни сиамских близнецов; около всех домиков — грядки с круглыми кочнами переросшей капусты, дворы, где бродят кролики и куры, лают дворняжки. На улицах играли, бегали и кричали белобрысые дети. На пустыре они забавлялись, наподдавая ногами пустую консервную банку; такая вот игра формирует футболистов международного класса, как например знаменитый Копá из польской команды футболистов...

Серж оставил Фанни и Ива в «Зале» шахтерского поселка, куда они приехали накануне. Они бились над импровизированной программой; что касается хора, то он распался еще до их отъезда из Парижа, и Серж поехал вместе с Фанни и Ивом, рассчитывая собрать хор на месте, а главное оттого, что ему хотелось побывать в этом районе. Сержу не часто удавалось путешествовать, уезжать из Парижа. Он не был ни знаменитостью, ни «католиком», ни «социалистом», и никто не стремился его убеждать, что построение социализма — нужное и хорошее дело, потому что он и так был в этом убежден. Никто его не приглашал на Восток, куда ему так бы хотелось поехать, а чтобы ехать за свой счет, у него не было денег. Вот он и жил безвыездно

около Гобеленов, в своей выходящей во двор квартире. Но его интересовали новые люди и места, вот почему, хотя эта небольшая поездка на север Франции и нарушала его ежедневные занятия, он решил воспользоваться случаем, а потом как-нибудь наверстать упущенное время.

Ему хотелось посмотреть на шахтеров, пересаженных с польской земли на французскую, как рассада. Он хотел посмотреть, принялась ли эта рассада и что из нее получилось — французы или поляки. Хотя сам Серж не считал себя эмигрантом — поскольку он жил в стране, в которой родился, и Франция была его единственной родиной, как для любого француза, — он знал, что иногда пересадка оставляет неизгладимые следы даже во втором поколении... «Ростки» этой рассады возбуждали его воображение, у него был к ним повышенный интерес. Если бы родители Сержа эмигрировали позднее, если бы он родился в России, может быть, и его — как это происходит с миллионами женщин и мужчин, рассеянных по всему миру, — разрывали бы противоречивые чувства? «У меня две любви — моя родина и Париж...»<sup>1</sup> Даже сама Жозефина Бэкер не осмелилась бы петь: «У меня две родины...» Даже в Фоли-Бержер, даже в шутку... У нее была только одна родина, которую она чувствовала всей своей кожей, и не только потому, что кожа у нее была черная.

Серж искал дом польского шахтера, который пригласил его зайти к нему до начала праздника. Серж торопился, он был приглашен на кофе. Впрочем, хотя Серж только накануне приехал в эти края, он уже знал, что тут всегда и везде, в какой бы час вы ни пришли, пьют кофе. Легкий, душистый, горячий, как кипяток, кофе. Серж торопился, но толку от этого было мало.

Серж был сам не свой. Лагеря оставляют на всех, кто прошел через них, те или иные следы: Серж был болезненно чувствителен ко всему, что касалось истребления человека человеком. А они приехали сюда на машине Ива, который как раз вернулся из Москвы, по дороге пересекли огромную равнину, плоскогорье, на котором шли большие бои 1914—1918 годов; страна превратила эту равнину в «заповедник» — в Америке подобным образом охраняются некоторые живописные места, где природу берегут во всей

---

<sup>1</sup> Известная песня знаменитой во Франции негритянской актрисы мюзик-холла Жозефины Бэкер.

ее нетронутой красе. Здесь же охранялись воспоминания, память...

Здесь лабиринт траншей, ямы от снарядов заросли умиротворяющей зеленой травой, которая округляла, сглаживала углы, острые края... трава росла на мученической земле, которую война корежила, ранила каждый божий день целых четыре года. Люди, убитые здесь, в этом чудовищном хаосе, вздымавшемся до самого неба, были теперь аккуратно уложены на бесчисленных кладбищах, под тысячами и тысячами крестов и белых плит. Газон на кладбищах шелковист, аллеи хорошо расчищены, а имена тех, чьих кусков не удалось собрать, от кого ничего не осталось, кто бесследно исчез, их имена были высечены на Памятниках Жертвам Войны. И среди этих без вести пропавших был и отец Сержа. Монотонный, подобный бормотанию дьячка «за упокой» бесконечный перечень имен миллионов людей, превратившихся в мешанину из мяса, костей, крови и земли, целая армия имен, выстроившихся в образцовом порядке, ровными рядами, как на параде, на кладбищенских могилах, на гигантских цоколях Памятников Жертвам Войны, каменные страницы, исписанные мелким убогим почерком... Французские полки, английские, канадские, шотландские, марокканские, немецкие; и волонтеры смерти — польские, чехословацкие... они занимали немного места. А на гребне Вими — памятник канадским жертвам войны, самый большой из всех: в память о ненайденных трупах, врезааясь в небо, среди необъятного горизонта стоял одинокий, трагический, громадный белый клык, возносящий ряд за рядом сомкнутым строем тридцать пять тысяч имен. А вокруг памятника только ветер свистит, пронзительный, ледяной ветер. Серж дрожал. Тридцать пять тысяч домов, двести четыре деревни, двести двадцать пять церквей... Морепа, Рокур, Сэйи-Сейисель, Позьер, Ла-Буасель, Тепваль, Комбль, Бапом, Бушавен... От всех этих поселков и городов остался лишь ветер... Нет! Вот идет человек!.. Он расчищает аллею, широкую, как авеню Оперы в Париже; аллея ведет через ухоженный зеленый газон к Памятнику Жертвам Войны. Одинокий человек, бессмысленный хранитель имен и ветра, трагического необъятного мира, горизонта, на котором вычерчены черные треугольники терриконов. На пороге страны рудников, изрезанной черными жилами угля, продолжал существовать подземный мир войны, черные переходы Лабиринта.

Вот почему, приехав в местечко, где должно было происходить празднество, Серж чувствовал себя совсем больным, он не в состоянии был есть и, проводив Фанни и Ива в «Зал», отказавшись переночевать у товарищей, заперся в мерзком номере гостиницы. Наутро ему стало лучше, он смог принять участие в совещании, происходившем в «Зале», пошел с Ивом в обком партии — повидал товарищей; вернулся в «Зал», взглянул на приготовления и, наконец, пошел побродить в одиночестве по поселку.

Время от времени улицы, застроенные домами шахтеров, выводили его на главную торговую улицу. Он зашел в маленькое бistro, заказал кофе. Там было всего два посетителя: почтальон и рабочий. Хозяйка, хлопоча возле кипяильника за стойкой, беседовала с ними, крича во весь голос. «Что ни говорите,— утверждала она,— но здешний говор не украшает женщину. Недавно зашла сюда одна девушка, такая миленькая, хорошо одетая и все такое, наверное, воспитанная, и вдруг... начинает говорить бог знает как, на диалекте! Дома, в семье, это я еще понимаю, но на людях... Это не украшает женщину!» — «Вы правы, мадам Луиза. Вот я, например, говорю на диалекте только дома,— сказал почтальон,— получите шошнадцать франков за пивечко...» Серж, немного повеселев, заплатил за свой кофе и вышел.

Потом он пил кофе у Владека, шахтера поляка. После ходьбы по грязным немощеным дорогам, по улицам поселка мимо кирпичных домиков и деревянных бараков, после холода и сырости теплая кухня, через которую надо было пройти, чтобы попасть в столовую Владека, доставила Сержу несказанное удовольствие. Плита сверкала чистой, пахло пирогами. Обои столовой были в больших ярких цветах, на столе и на буфете стояли букеты искусственных цветов; новая полированная мебель, буфет с гранеными стеклами. На диване у стены сидела девушка, она держалась очень прямо, поставив ноги носками внутрь... у нее были толстые, красные щеки, тяжелый подбородок и глаза, как голубая эмаль... ослепительно светлые волосы, желтый фартук с широкими синими полосами. Эта молодая женщина как две капли воды была похожа на свою мать, которая проводила Сержу в столовую; мать была еще красива: высокая полная женщина, с глазами той же голубой эмали и с таким же тяжелым подбородком. Владек, старый шахтер, сидел посередине комнаты, за круглым столом, с ним

были его сын и зять, муж молодой женщины, сидевшей на диване.

Владек был очень похож на филина. Серж говорил себе, что это ему только так кажется, потому что он знает профессию Владека, но нет, право же: большая круглая голова с крючковатым носом, с глазами, обведенными темными кругами, покатые плечи, серая одежда — все делало Владека похожим на большого филина. Его жена, проворная и смешливая, ставила на стол чашки, кофейник, не переставая очень громко и очень быстро говорить по-польски. Серж, проходя через кухню, похвалил ее новую плиту, и она в ответ рассыпалась в звучных польских словах, которые означали: «Это у меня-то новая плита? Да ей уже по крайней мере двадцать пять лет!» Потом Серж выразил восхищение по поводу фотографий, развешанных по стенам: дочь — та самая, что сидела на диване, — в подвенечном платье, с женихом и подругами; ее подруги, с которыми она вместе училась, тоже вышли замуж, и каждая подарила ей свою свадебную фотографию, так что все стены были сплошь увешаны свадебными фотографиями. Неужели все они вышли замуж в один год! Сын переводил, он говорил по-французски, как француз — как здешний француз, разумеется. Его отец, Владек, говорил с акцентом, и в его устах северное французское произношение звучало экзотически.

— Ты уже давно здесь? — спросил Серж. (Владек был членом партии.)

Да, Владек был здесь давно, но все-таки он приехал уже после великого переселения польских шахтеров во Францию, которое произошло в восемнадцатом-девятнадцатом годах. Те, уезжая, имели контракты, они были «иностранной рабочей силой», по соглашению между двумя правительствами хозяева приготовили рабочим жилье и наобещали им всякой всячины. Ведь они тогда нуждались в рабочих! А он, Владек, приехал позже, в одиночку, сбежал из Польши из-за политических неприятностей: ему неохота было гнить по тюрьмам. В то время рабочие могли заключить контракт на работу через бельгийское консульство в Польше. Там особенно не придирались: нужны были рабочие руки. Он скорее бежал, чем эмигрировал. Но, так как по прибытии в Бельгию он немедленно стал работать в профсоюзе, его очень быстро выслали из Бельгии, его и еще нескольких товарищей. Бельгийские жандармы отвели

их ночью на французскую границу и показали, как пройти, чтобы не встретить французских пограничников... Они перешли границу тайком... Владек сначала жил во Франции нелегально. Одна трудовая книжка на троих, один настоящий документ на троих. Однако хозяева принимали на работу иностранцев и без трудовых книжек. Конечно, оплата была самая низкая, но спорить не приходилось. Потом французские жандармы повторили с Владеком и его товарищами то же, что проделали раньше бельгийские, только в обратном направлении: проводили их до бельгийской границы и показали, по какой дороге идти, чтобы не встретить бельгийских пограничников!

Семья дружно смеялась во все горло, и Серж вместе с ними: старик здорово рассказывал. В семье его рассказ, наверное, знали наизусть и всегда смеялись в одних и тех же местах. Вдруг Серж подумал о Фрэнке Моссо... Что с ним?.. Простота, с которой старый рабочий говорил о переходе границы, о пропитании, о защите своих прав, заставила Сержа подумать о Фрэнке. Надо спросить Ива, как обернулось дело.

— А потом? — спросил Серж, когда все отсмеялись.

Так вот, на этот раз Владек не последовал совету жандармов, и не успели они отойти от него, как он отправился обратно во Францию. Он знал, что в Па-де-Кале не хватает шахтеров и что там есть поляки. Вот он и отправился туда пешком, представьте себе! Он связался с профсоюзом, и его приняли на работу.

— Расскажи про школу, пап... — сказал зять.

— Про школу? Пожалуйста... В прежние времена почти все поляки приезжали сюда из немецких шахт в Вестфалии. Это было после катастрофы в Курьере, где погибла тысяча шахтеров, и надо было искать им замену... Шахтеры поляки, приехавшие из Германии, говорили и по-польски и по-немецки, как сейчас мы говорим здесь по-французски... а так как поляки народ рослый, крепкий и светловолосый, то для всех здешних жителей они были бошами, и так с ними и обращались, как с бошами. Когда разразилась война 1914 года, все население стало вымещать злость на поляках. Ведь это всегда так, всегда нужно найти виноватого у себя под рукой. Шахтеров поляков арестовали и перед отправкой в лагерь держали в школе. И вот все французы, которые еще не были мобилизованы, их жены и дети окружили школу и начали кричать: «Смерть бошам!» Кто-то

принес соломы и бензина, кто-то поджег, и школа загорелась, а поляки-то были в ней заперты. Тогда один шахтер поляк, который, к счастью, еще не был арестован — звали его Фома Ольшанский, — бросился за помощью в профсоюз, и французские шахтеры прибежали и отбили своих польских товарищей.

Старый шахтер рассказывал это куда подробнее, и Серж видел, как все семейство волновалось, когда рассказ дошел до поджога школы, а когда французские шахтеры пришли на помощь польским шахтерам, младшая девочка — лет десяти — захлопала в ладоши!

— Еще чашечку?

— Я выпил столько кофе, что теперь никогда не усну, — протестовал Серж, протягивая, однако, чашку.

— Дедушка выпивает чуть не сотню чашек в день! Он целый день пьет кофе... То просит подать ему, то сам себе наливает. И это никогда не мешало ему спать...

— А теперь, — сказал развеселившийся Серж, — вас больше не ругают бошами?

— Само собой — нет, после войны... последней войны, с этим покончено, — ответил сын.

Но мать пустилась что-то очень длинно рассказывать на польском языке.

— Она говорит, — перевел сын, — что во время войны, когда она ходила за маслом на ферму — в пятидесяти километрах отсюда, где уже нет шахт, — к ней там все равно относились, как к немке. А с нами этого никогда не случилось...

— Уж эта мне молодежь, — сказал Владек, улыбаясь глазами в темных кругах, — они решительно ничего не понимают... Почему их будут обзывать бошами, ведь они даже и не поляки, они — французы.

Зять, молодой человек с серым и строгим лицом, поднялся с тем спокойным достоинством, которое свойственно шахтерам, более похожим на джентльменов, чем сами джентльмены из лондонского Сити.

— Только на бумаге, — сказал он, — я француз только на бумаге. А сердцем я поляк. Я хочу вернуться в Польшу. Там я по крайней мере буду работать на свою страну!

Было ясно, что возвращение в Польшу — повседневная тема разговора в их семье. Сын и зять, оба родились во Франции и никогда не были в Польше. Но сын говорил по-французски, как француз, а зять выражал свои мысли

с большим трудом и не всегда понимал то, что при нем говорилось по-французски. А ведь они были почти ровесниками.

— А я не поеду! — сказал сын. — Мне в Польше нечего делать. Моя родина — Франция. Другой родины я не знаю. Больше того: моя родина именно здесь, в этой местности. Я был один раз в Париже — он мне ни к чему! И Польша мне тоже не нужна. Я не хочу ехать за границу, чтобы там в один прекрасный день моих детей стали обызывать то так, то этак.

Молодая женщина, которая все еще сидела на диване, впервые подала голос; тема разговора становилась настолько волнующей, что она забыла о присутствии в доме чужого человека.

— Дети Зоси ездили на каникулы в Польшу со своим лагерем, — сказала она, — теперь они только и мечтают о том, чтобы туда вернуться. Они все время пристают к матери с вопросами, почему она не хочет вернуться на родину...

— А что она им отвечает, твоя Зося? — спросил отец.

— Она говорит детям, что, конечно, им там было очень хорошо: ведь они были приглашены в качестве гостей. Гости всегда стараются принять как можно лучше. А вернувшись на постоянное жительство, они будут жить так же, как живут там все другие дети...

— Она не глупа, твоя Зося, — сказал отец.

Но зять, по-прежнему суровый, стоя все так же прямо, покачал головой:

— Да, так же, как другие дети, — вот это-то нам и нужно!

И опять Серж почувствовал, что теряет равновесие... Ему было больно слушать их спор. Польше нужны шахтеры, она хотела бы, чтобы они вернулись на родину, но попробуйте скажите людям, которые живут только на то, что зарабатывают, без сбережений, чтобы они все бросили, рискуя хлебом детей и своей обеспеченной старостью... Как можно требовать от людей, чтобы они стали героями.

— Я уже больше тридцати лет живу во Франции, — сказал старый шахтер, — если бы мне пришлось уехать из этого дома, с этой улицы, я бы просто умер.

Вдруг мальчик и девочка, неизвестно откуда появившиеся в столовой, начали хором кричать что-то польски.

— Идем, идем,— сказала им мать, вставая с дивана и отделяясь от цветных обоев.— Они боятся опоздать,— пояснила она,— праздник назначен на три часа. Но ведь сейчас только четыре, мы как раз успеем.

Она повела детей одеваться. Владек надел пальто, взял берет: «Ты не скучаешь, с тех пор как ушел на пенсию?» — спросил его Серж. «Да нет...» — ответил тот не очень убежденно. «Ему некогда скучать,— запротестовал зять,— то он мастерит что-нибудь... то читает...» Зять открыл дверь — волей-неволей приходилось идти на улицу... Откровенно говоря, Серж предпочел бы остаться в этом доме, где ему было так хорошо. Когда они вышли, над ними вновь распростерлось пустое небо с большими острыми черными зигзагами терриконов. Они пошли по широкой мощеной улице, по бокам которой стояли двухэтажные домики — все одинаковые, как сотни сиамских близнецов; на этой улице они смахивали на виллы. Но они стояли в таких же, как повсюду в этом поселке, двориках с уборными, и в двориках бегали те же дворняжки и куры, торчали те же капустные кочны. Дети бежали впереди. Их мать надела открытые туфли на высоких каблуках; пока улица была мощеной, все шло хорошо, но когда началась грунтовая дорога, пришлось ступать очень осторожно — такая была грязь. Здесь стояли уже не домики, а просто дощатые бараки, а улица вела к самому подножию одного из черных остроконечных вулканов. Вблизи был виден только гигантский черный скат, ржавый и шершавый, испускающий ядовитый дым. И все-таки даже здесь, стоя одной ногой в аду, люди пытались сажать деревца, выхаживать те растения, которые могла прокормить эта угольная земля. Здесь, где все было черно-серым, люди, должно быть, особенно тосковали по зелени... Среди угля, сажи, пыли, грязи, бесконечного траура, крепа... Серж вдруг понял, почему в домиках шахтеров обои были в пестрых больших букетах, почему в комнатах у них стояли искусственные цветы, а фартуки женщин были такие яркие. Это объяснялось не только польскими обычаями, а и потребностью вырваться из черного угольного однообразия.

Вот и большая торговая улица, где снует народ, проезжают машины... Вот и «Зал».

## XXI

«Зал» — большой, новый, со сценой, отделенной желтым занавесом, был битком набит. Серж поискал глазами Фанни и Ива, но не увидел их и стал позади, около стойки, где продавались напитки и маленькие пакетики польских конфет, настоящих польских, привезенных из Польши. Было тесно. Ребятишки вертелись под ногами, и от этого толпа казалась еще гуще. Места были либо заняты, либо на них лежали береты, газеты. Почти все женщины сидели в платочках, мужчины — в пальто: сидели они прямо, молча, не улыбаясь. Сразу бросалось в глаза, что это не французы. «Зал» был украшен гирляндами из цветной бумаги: вечером будут танцы. Дожидались спокойно, терпеливо, не проявляя недовольства. Вместе с балконом зал вмещал около тысячи человек.

Серж разглядел в толпе копну волос Ива и помахал ему.

— Полным-полно, — сказал Ив с удовлетворением, — но у нас затруднение — танцоры капризничают... Жанетта не хочет танцевать в паре с Жаном, Алекс хочет танцевать только с Мирель, а так как Жанетта хочет танцевать только с Алексом... сам понимаешь! Они уже собираются снимать костюмы. Фанни рвет на себе волосы. К счастью, только что приехали поездом Клод и Мари-Луиза.

Мари-Луиза — певица, а Клод — актер, который должен был читать тексты, отобранные и смонтированные Ольгой. Серж посмотрел на публику — сумела ли Ольга составить речь для Клода так, чтобы она всем была понятна... Мицкевич вряд ли дойдет до этих женщин в платках, до этих неподвижно сидящих мужчин. К тому же еще и ребятишки!

— Начинают, — объявил Ив, и действительно раздалось какое-то подобие музыки. Серж и не заметил, что в

уголке около сцены сидели три музыканта — скрипач, виолончелист, пианист. Звуки, которые они производили, подходили на плач новорожденного. Все встали: оказывается, это был польский гимн. Хотя, наверное, это было так же непохоже на польский гимн, как то, что затем последовало, было непохоже на Марсельезу. Все стояли, Серж страдал, ведь он был музыкантом. Раздались аплодисменты. Такие же жидкие, как музыка. Все сели.

Открылся занавес: за длинным столом, покрытым белыми скатертями, сидели люди... В середине — Ив. Он встал — сутулый, очкастый и совсем не торжественный: «От имени Общества франко-польской дружбы, — сказал он, — я вас приветствую, дорогие друзья!..» И он заговорил о франко-польской дружбе... о культурном обмене, о доверии, существующем в отношениях между этими двумя странами, о поездках и так далее. Потом об обеспечении старых шахтеров. Он сел, ему похлопали. После Ива заговорил какой-то поляк. Он говорил по-польски, Серж наблюдал, как он листал какие-то бумажки, улыбаясь аудитории: наверняка — шахтер, не привыкший произносить речи... «Что он говорит?» — осведомился Серж у сына Владека, который очень любезно принес ему стул. «Мы благодарны Франции... и мы любим нашу родину, Польшу... Общество франко-польской дружбы старается укрепить дружбу между двумя народами... мы будем бороться за улучшение условий, в которых живут старики...» Перевод был несколько сокращенный, судя по тому, как долго говорил оратор и как быстро справился с его речью переводчик. Но поскольку Ив сказал почти то же самое по-французски, да если бы и не сказал, Серж легко мог себе представить, что говорится в таких случаях... Шахтер-оратор сел, ему хлопали немного дольше, чем Иву. Но он и говорил дольше.

Потом появился Клод. Серж забеспокоился. Музыка и два выступления привели публику в состояние сонного умиротворения. Вдруг Клод их разбудит, и они рассердятся? Вдруг то, что приготовил Клод, покажется им чересчур сложным и они возмутятся — будут протестовать или смеяться? Серж очень беспокоился.

Клод — не простой актер. Он талантлив, к тому же партийный работник. Он начал:

«Дорогие друзья, среди вас многие родились в девятнадцатом веке. Слишком поздно, чтобы лично помнить

великих поляков, приехавших во Францию в прошлом веке, но достаточно рано, чтобы уловить еще не отзвучавшие живые о них воспоминания, чтоб узнать о них не только по учебникам, из которых дети узнают о былом величии и славе. Незадолго до вас в девятнадцатом веке жили Ярослав Домбровский и Мицкевич... Что же еще нужно, чтобы вы, наши польские друзья, чувствовали себя во Франции, как дома? Разве Ярослав Домбровский не был ранен на баррикаде, защищая Коммуну, на баррикаде улицы Мирра между Барбес и Ла-Шапель? И разве Адам Мицкевич не читал лекций в Коллеж де Франс?

...Война, конспирация, подполье, тюрьма, побег... Располагайте эти слова, как хотите, они кружатся, смыкаются и образуют героическую жизнь Домбровского. Он был военным и умел командовать; он был революционером и понимал, что освободить Польшу от царского гнета можно только в союзе с русскими революционерами, с солдатами и крестьянами, которые, хотя они и русские, так же страдают от царского гнета, как и поляки — их братья... Но польские заговорщики были аристократами, они ненавидели все русское и относились с подозрением ко всему, что исходило от русских, считая всех русских без исключения своими притеснителями. Они с подозрением относились к Домбровскому только потому, что он боролся против царизма вместе с русскими. Эти польские аристократы не могли понять, что у русских рабочих и крестьян и у польских рабочих и крестьян одни и те же враги. И вот что случилось с Ярославом Домбровским, когда он в Париже боролся за Коммуну, против версальцев, — враги воспользовались тем, что он не француз, и оклеветали его, обвинили его в предательстве... Его последние слова перед смертью в больнице Ларибуазьер, как говорят, были: «Неужели они поверили, что я предатель?» Домбровский — предатель! Домбровский, которому Гарибальди доверил командование Итальянским батальоном, выступившим на помощь Коммуне! А как это могло быть прекрасно: итальянцы под командой поляка бьются за Францию, бок о бок с французами, против версальцев, пруссаков и царя одновременно! Вот это был бы подлинный революционный интернационализм!

...У вас, дорогие польские друзья, есть Адам Мицкевич. Эмигрант. Поэт. Один из самых великих. Он был властелином душ, он завоевал всемирную славу. Но соотечествен-

ники-эмигранты терзали его. А французское правительство преследовало Мицкевича и в конце концов отняло у него кафедру в Коллеж де Франс.

...Великий полководец, великий поэт... Домбровский, Мицкевич. Они были политическими эмигрантами. У них, как и у вас, были материальные затруднения, они говорили с польским акцентом, любили польскую кухню и польские песни. Может быть, на их документах, как на «видах на жительство» некоторых иностранцев в наше время, тоже стояла буква «Н» — «неблагонадежен». Шахтеры! Иностранцы или натурализованные, вы теперь не «неблагонадежные», вы по праву пролетарского интернационализма составляете неотделимую часть французского пролетариата!..»

Аплодисменты обрушились с силой волн, разбивающихся о берег. Серж, счастливый, с облегчением глядел на возбужденные лица... Этот Клод и мертвого разбудит! Но не слишком ли далеко он зашел?.. Или, вернее, Ольга далеко зашла, а Клод лишь принял, не оспаривая, то, что она приготовила. Аплодисменты стихли, и Клод смог продолжать: «Адам Мицкевич испытал все несчастья, преследующие эмигрантов и поэтов. Он уехал из Франции в Италию, он хотел набрать там польский легион и двинуться на помощь изнемогающей Польше. Но ему не было суждено довести свою миссию до конца: он умер по дороге. Но слушайте, слушайте, друзья! С вами говорит Адам Мицкевич».

Клод сделал паузу, и в зале никто не шелохнулся, все напряженно ждали.

«Польский изгнанник, у тебя было все, а теперь ты испытываешь нищету и горе; ты познал, что такое нищета и горе; вернувшись в свою страну, ты должен сказать: «Страждущие и обездоленные — все вы мне братья».

Изгнанник, ты создавал законы, у тебя были все права, а на чужбине ты сам поставлен вне закона: ты познал беззаконие; вернувшись в свою страну, ты должен сказать: «Иностранцы имеют право, как и я, участвовать в законодательстве».

Изгнанник, ты был образованным человеком, но знания, которыми ты так гордился, не принесли тебе никакой пользы, а то, чем ты пренебрегал, наоборот, оказалось необходимым: ты познал, что такое наука в том мире, в котором ты живешь; вернувшись в свою страну, ты должен сказать: «Необразованные, простые люди — все вы мне братья».

Когда он кончил, разразилась буря. Клод поклонился и исчез. Серж испытывал необычайное удовольствие. Молодая польская учительница читала тот же текст по-польски. А Серж думал об Ольге. Об Ольге, которая внезапно ворвалась в «Зал» Икс-ле-Мина. В каждом слове, сказанном Клодом, чувствовалась интонация Ольги, ее образ мыслей, ее страдания, ее гордость и горечь. Ее тоска по доверию, ярость против подозрения, которое оскверняет все, что есть лучшего в человеке. Подозрение. Только потому, что у человека нет корней в земле, за которую он сражается. Потому, что он говорит с акцентом, потому, что у него иностранная фамилия... Потому, что он сражается на любой земле за то,

Чтоб землю в Гренаде  
Крестьянам отдать...

И за все это человеку отказывают в естественном счастье, в покое, в тепле братского доверия. Домбровский... да что тут говорить... несчастный человек... Серж, погруженный в свои мысли, совсем забыл, где он находится... Почему же он, сын русских эмигрантов, никогда не чувствовал на себе тяжести подозрения? Он не страдал ни от своей иностранной фамилии, ни оттого, что мать его говорила с русским акцентом, не страдал и оттого, что он еврей и что похож на еврея. Надо учесть те исключительные обстоятельства, которые имели место в жизни Ольги, ее трагедию из-за родителей... Но Серж знал, что и другие эмигранты живут, как Ольга, с открытой раной в душе, хотя их судьба и не похожа на Ольгину. Их гордость страдает оттого, что они чувствуют себя обязанными той стране, которая оказала им гостеприимство; они страдают и оттого, что им приходится приспособливаться к чуждому образу жизни, и оттого, что они не являются такими же гражданами, как все, и что бы ни происходило в стране, это — «не их дело», они не имеют права ни осуждать, ни требовать; они страдают оттого, что не принадлежат к общине, в которой они живут на положении бедных родственников, которых держат в доме из милости и на которых в первую очередь падает подозрение, если у хозяйки дома пропадает с подзеркальника кольцо.

Аплодисменты вернули Сержа в «Зал». Учительница кончила, и с разбегу, после Клода, ей долго аплодировали.

Не говоря уже о том, что Мицкевич, наверное, звучал лучше и доходчивее на польском языке.

Теперь настала очередь Мари-Луизы; на сцену выдвинули рояль, и появилась Мари-Луиза, она была так мила, что ей сразу заплодировали. Она спела Шопена, потом «Нинон, Нинон, что делаешь ты со своей жизнью...» Опять Ольга — она любила эту песню.

Потом появились дети, пытавшиеся петь хором. После чего объявили антракт, и Серж издала увидел пробиравшегося к нему Ива. Ив сказал, что танцоры определенно не будут танцевать. Вслед за Ивом протиснулась и Фанни, с пылающими щеками и горящими глазами: «Клод был великолепен, ве-ли-ко-лепен!.. Ив, я хочу пить!»

За стойкой не продавали ни спиртного, ни вина, только пиво и лимонад. Фанни залпом осушила стакан лимонада и побежала за учительницей: ей еще многое надо было уладить. Серж и Ив вышли на улицу подышать воздухом.

Наступила ночь, и у входа Серж увидел как бы рожденную ночью палатку, где торговали жареным картофелем; возле палатки стояла целая толпа молодых людей, которые усердно жевали жареный картофель, доставая его из бумажных пакетов. Ни одной девушки. «Они придут прямо на бал,— сказал Ив,— а до бала все кончено, ничего интересного не будет. Пойдем со мной к товарищу, на этот раз французу.

Они сели в машину Ива. Улица была ярко освещена, магазины открыты, в них толпился народ, и хотя Икс-ле-Мин и был всего-навсего небольшим поселком, на этой улице можно было подумать, что находишься в настоящем городе. Но только лишь они свернули в шахтерский переулок, как опять оказались в тихой, темной деревне. Надо было хорошо знать эти места, чтобы не заблудиться, тем более что навстречу не попадалось ни одной живой души. И они действительно заблудились. Ив остановил машину, они вышли. Далекие огни пронизывали ночное небо так высоко, как будто они находились в горах. То были освещенные вышки над шахтами. Но под ногами не было видно ни зги... Они шлепали по лужам, по грязи немощей дороги. Ив отсчитывал дома от угла улицы и зажег зажигалку, чтобы посмотреть на номер: номер был не тот! Пришлось вернуться к машине. Ив еще некоторое время кружил по шахтерскому кварталу и наконец, совершенно случайно, остановился там, где надо. Серж предоставил

ему вести себя, как слепого, в этой крошечной тьме... Наконец Ив, постучав в какую-то дверь, открыл ее...

С самого порога Сержа охватило приятное ощущение семейного очага, радушия, надежного крова над головой. Значит, так оно было во всех шахтерских домиках, как в польских, так и во французских... После улицы, и днем и ночью одинаково мрачной, здесь вас встречало приятное тепло, вкусный запах кофе, стены как бы обнимали вас, прятали от холода, от ночи, вас оведало каким-то особым уютом... В комнате царил полумрак, потому что в дальнем углу был включен телевизор, и первое, что Серж увидел еще в дверях, была крошечная Сесиль Обри<sup>1</sup> в средневековом головном уборе, двигавшаяся по экрану.

— Здравствуй, Робер,— сказал Ив,— как дела? Со мной один товарищ...

Какой-то человек сидел в кресле лицом к телевизору... Глаза Сержа начали привыкать к полутьме. Робер — шахтер — встал, шагнул им навстречу. Но что же это? Он был похож на заключенного, на всех тех, кто сидел в концлагерях! Высокий парень, может быть, молодой... А глаза... Глаза! И щеки такие ввалившиеся, что почти соприкасались изнутри. Он снова сел.

— Простите меня... я плохо себя чувствую. У меня ноги распухли. И я задыхаюсь. Трудно дышать...

Женщина, появившаяся из двери в глубине комнаты, сказала:

— Пришлось в такую погоду держать дверь открытой.

Она искала глазами глаза Ива и его неизвестного спутника. Она искала поддержки у этих здоровых людей, пришедших извне, насыщенных деловой, далекой жизнью.

— Как только он смог откашляться,— сказала она,— ему стало лучше... Не знаю, может быть, я зря его послушалась и открыла дверь...

— Мне не было холодно, ведь топится печка.

— Это хорошо, что ты купил телевизор... В кредит? — спросил Ив.— Я привез деньги, которые тебе задолжали за газеты. Товарищи из КЗС<sup>2</sup> тебя благодарят. Ты один продолжаешь вербовать подписчиков, и ты распространяешь газету лучше всех, несмотря на болезнь.

---

<sup>1</sup> Сесиль Обри — известная французская киноактриса.

<sup>2</sup> КЗС — Комитет защиты местной коммунистической газеты «Свобода».

— С них получить — измучаешься... Подписаться подписываются, а как деньги платить — исчезают.

Серж в первый раз видел больного силикозом, но здесь, в этой стране угля, нетрудно было догадаться, чем болен шахтер. «Грозди черных мандаринов в легких...» — объяснил ему один врач. Серж смотрел на шахтера, сидевшего в кресле, и видел у него в легких грозди черных мандаринов.

— Я купила ему микстуру в аптеке... Мадам Винц мне посоветовала, а аптекарь сказал, что это не повредит. Ему от микстуры стало легче. Не знаю, правильно ли я поступила?..

Глаза женщины перебегали от Сержа к Иву.

— Конечно, — сказал Ив, — мадам Винц должна знать: ее муж ведь давно болен. Послушай, Робер, у тебя отличный телевизор.

Все замолчали. Крошечная Сесиль Обри в своем высоком головном уборе продолжала копошиться на экране; теперь рядом с ней появился очень злой крошечный Брассер<sup>1</sup>... Какие-то человечки верхом на лошадях начали драться, а Сесиль Обри принялась ломать руки... Брассер толкнул какую-то женщину в воду... Плюх!.. В темной комнате умирающего, в легких которого росли грозди черных мандаринов, на экране двигались и говорили персонажи с лубочных открыток. Когда люди пишут книги, делают фильмы, они недостаточно задумываются над тем, с чем им придется столкнуться. Все молча смотрели на экран телевизора.

— А что стало с твоим «андерсом»? — спросил Ив и тут же пояснил Сержу: — Всех белых поляков называют «андерсами».

Больной повернулся к Сержу:

— Мой «андерс» одумался. Когда ты спускаешься со всеми вместе в шахту... и у тебя над головой целый километр земли... с тех пор как я заболел, меня навешают даже те, кто больше всего со мной спорил. Надо прямо сказать: шахтеров объединяет их общее шахтерское горе. Когда из шахты выносят труп... Тогда все всё понимают и все согласны между собой, даже «андерсы». Да, шахтеров объединяет их шахтерское горе.

— Ну, нельзя сказать, чтобы твой штейгер «понял»... — сухо сказал Ив.

---

<sup>1</sup> Брассер, Пьер — знаменитый французский драматический актер.

— А, штейгер, это особая история... Я неудачно попал, его подгонял инженер: «Мало угля даете!» Сколько бы ни давали, ему все было мало! Тридцать шестого года<sup>1</sup> будто и не было... Даю тебе честное слово, доходило до того, что мы спрашивали себя, чего мы ждем, почему мы его еще не пристукнули. Тут мой «андерс» все понял, и еще как!

Робер оживился, он говорил с воодушевлением. Может быть, он был даже чересчур оживлен. Жена его исчезла и вернулась с бутылкой и стаканчиками, которые она поставила на круглый стол посреди комнаты. И вдруг Серж разглядел за спиной большого маленький диванчик, на котором спал ребенок... Он заметил около входной двери велосипед... Даже два велосипеда, прислоненных к стене. Да, здесь было тесновато. Удивительно, что в этом поселке самый скверный барак производил впечатление обжитого уюта, почти роскоши, до того тут все было прибрано, начищено, вымыто.

— За твоё здоровье, Робер! — Ив поднял стакан. Они чокнулись.

— Я тебе скажу одну вещь, товарищ, — Роберу хотелось поговорить, — здесь привыкли к полякам, они часть страны, как терриконы, трудно себе представить нашу местность без терриконов... Я слишком молод, я не помню этих мест без поляков; в школе я учился с поляками. Для меня они здесь испокон веков... такие же шахтеры, как и мы. Я тебе скажу, что во время стачки они все ходили слушать проповеди ксендза, и чего он им только не внушал против стачки! Они всё благоговейно выслушивали и прямо из церкви шли в свои стачечные пикеты. Нет, ничего не скажешь... они всегда вели себя хорошо, записывались в профсоюз, и все такое. Верующие католики, неверующие сторонники или противники новой Польши — все они члены ВКТ<sup>2</sup>. Послевоенные поляки — другое дело. Правительство прислало к нам солдат Андерса, демобилизованных в Англии, и поляков, которые насильно были угнаны в Германию... Мы через ВКТ протестовали, но они все-таки прислали их. Но только угольные магнаты не приняли во внимание влияние окружающей среды... Я вам говорю: шахтеров объединяет шахтерское горе.

<sup>1</sup> 1936 год — год победы Народного фронта и социальных достижений рабочего класса.

<sup>2</sup> ВКТ — Всеобщая конференция труда, самая крупная профсоюзная организация Франции.

— Ты забыл, что существуют «фольксдейче»...— сказал Ив.

— А разве у нас не было своих коллаборационистов?— Робер обратился к Сержу.— «Фольксдейче» — это поляки, работавшие раньше на немецких шахтах. Когда боши вошли сюда в 1940 году, они им выдали документы в том, что они «фольксдейче», а тем, кто отбывал в Германии военную службу, даже выдали документы, как настоящим немцам — «рейхсдейче». И вот после Освобождения все эти голубчики пытались или бежать с немцами, или спрятаться. Теперь многие из них вернулись...

— И вы спускаетесь в шахты вместе с ними?— спросил Серж.

— Ну да... Некоторые из них даже стали штейгерами, тогда как настоящие поляки не имеют на это права.

— Да, дело всегда обстоит несколько хуже, чем кажется,— отметил Серж.

— Пора,— сказал Ив, поднимаясь и бросив последний взгляд на крошечного Брассера,— я пришлю тебе остальные деньги завтра утром, у меня есть список тех, кто еще не заплатил... Они заплатят, уверяю тебя. Не вставай, Робер...

— Он, конечно, знает, что умирает,— сказал Серж, когда машина завихляла в крошечной тьме.

— Еще бы не знать!.. Сколько людей умерло у него на глазах. В том числе его отец. Поедем обедать в городок за пятнадцать километров отсюда. Не хочется беспокоить товарищей... Они здесь не привыкли есть по вечерам, а я голоден. Фанни остается ночевать у своей подруги учительницы и вернется в Париж поездом. Ты согласен ехать ночью? Мы потом зайдем на бал, чтобы не обидеть их, и уедем.

Серж согласился. Они вернулись на большую торговую улицу, проехали мимо ярко освещенного «Зала», из которого шел пар, как из кастрюли, в которой что-то кипит ключом. Выхав из Икс-ле-Мина, они покатали во тьме.

— Я все забываю у тебя спросить, Ив, как обернулось дело с Фрэнком Моссо?

Ив замедлил ход, направил фары на дорожный указатель, сказал: «Все правильно...» И они снова нырнули в ночь.

— С Фрэнком Моссо? — повторил он. — Ему без  
ких осложнений возобновили «вид на жительство»  
Франции. Пока что американцев не трогают, даже те  
кого неприятности с американским посольством!  
нечно, и американцы беспокоятся за свое буду  
И в особенности Моссо... Он очень подавлен. А жена  
пилит, настоящая ведьма... Она ругает Фрэнка ко  
нистом и швыряет в него посуду. Да, с ними не л  
иметь дело, уверяю тебя! Если говорить о беспреде  
лом положении, так вот оно — налицо! Я не люблю  
ниматься «невинно пострадавшими» такого рода. К  
высылают испанского республиканца, я и мой клиент  
красно понимаем друг друга и обдeldываем дело по  
мейному... А с Моссо я никогда не знаю, чего он хо  
Мне его жалко, конечно... Я встречаюсь с ним только  
тем, чтобы успокоить его, потому что сейчас во Фран  
ему бояться нечего. Признаюсь, проблема польских и  
теров меня куда больше волнует.

## XXII

— По-моему, это неразрешимая проблема.

Они уже довольно долго сидели в почти пустом ресторане, претендовавшем на некоторую роскошь,—с выставкой закусок и бархатными банкетками. Ив, как всегда, много пил, но не пьянел, только слегка покраснел, да очки у него запотели... Теперь он произносил перед Сержем целую речь. Говорил он просто, без адвокатских замашек, но профессиональная привычка к выступлениям все же сказывалась.

— Это я говорю только тебе, Серж, потом не рассказывай всюду, что такова точка зрения мэтра Ива Бонето... Я постоянно имею дело с польскими эмигрантами, и я тебе говорю, что это вопрос неразрешимый.

— А я думал, что ты марксист...

— Может быть... На бумаге все просто, но когда ты имеешь дело с живыми людьми... Перед тобой одни индивидуальные исключения и неповторимые ситуации. И ты, как крыса, попадаешь в мышеловку противоречий, которые существуют даже между интересами самих трудящихся. Между их настоящим и их будущим. Я пытаюсь понять, изучаю, собираю материалы... Что может быть тоскливее статистики? Так вот, я изучал статистику, и я читал ее с волнением, как роман. Возьми, например, работы по демографии... После Освобождения последней инстанцией в утверждении натурализации эмигранта является Министерство здравоохранения. Раньше последней инстанцией было Министерство юстиции — ты чувствуешь разницу, так сказать, либерализм... Но на деле все это недолго продержалось, как и все остальное... и натурализация опять стала делом полиции, Министерства внутренних дел. Но сохраняется видимость, что решает этот вопрос Министерство здравоохранения и заселения.

Чиновники отдела «заселения»... как тебе нравится это слово — «заселение»? однако так это называется... явно боятся, что их рано или поздно рассчитают за ненужностью, и прилагают все усилия, чтобы доказать, что они нужны. Демография — их сфера, и они этим пользуются, доказывают, что их точка зрения тоже играет роль и что не только полиция охраняет интересы Франции! В чем они абсолютно правы. Теоретически, даже если практически их никто не слушает.

Ив взял со стула свой старый, истрепанный портфель, так туго набитый, что он разлезался по швам, и стал в нем рыться.

— Вот, — удовлетворенно сказал он, доставая две книги, — это документы, изданные «Национальным институтом демографии при Министерстве здравоохранения», об отношении Франции к эмигрантам и о возможности приспособления эмигрантов к жизни во Франции... Ты увидишь... Они написаны странным для такого рода документов и статистических данных языком. Удивительно, но... это подлинно «человеческие документы»... *«Травма пересадки на другую почву... Прыжок в неизвестное... Жизнь эмигранта построена на разрыве, который произошел в ней в какой-то определенный момент и оставил незаживающую рану... Эмигранты, не имеющие поддержки, двигаются вслепую и обретают центр тяжести и прочно обосновываются только после долгих блужданий... Есть тенденция превращать всех эмигрантов с их индивидуальным лицом в стереотипное существо — иностранца... Нет таких коллективных преград, которых некоторые индивидуумы не могли бы преодолеть»*. Ты не находишь, что в этом есть своеобразная поэзия? А? Читая эти документы, можно подумать, что все сотрудники, составлявшие эту книгу, — люди исключительно человеческие, только и думающие о страданиях эмигрантов... об их одиночестве, их терзаниях... В отношении польских шахтеров собранные сведения не то чтобы подтасованы, но они не достоверны: ты сам понимаешь, что, когда шахтерам задают некоторые вопросы, они отвиливают! Они говорят себе «это полиция» и отвечают: «Политика? Не знаю, что это такое. Франция? Я люблю Францию...» К тому же... Польские шахтеры — особая проблема, к ним относятся бережно, в них нуждаются.

Ив подозвал официанта и попросил «повторить».

— Угольные магнаты — психологи, — продолжал он, — сейчас я тебе объясню. Когда в 1918 году было заключено соглашение между правительствами о вербовке польских шахтеров и когда шахтеры прибыли во Францию, им приготовили жилые, целые поселки, специально для них выстроенные. Приготовили ксендзов поляков, учителей поляков... Хотели создать своего рода польскую колонию, жители которой не общались бы с французскими рабочими. Вся эта история «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не устраивала хозяев. Угольные магнаты хотели взять польских шахтеров тихой сапой, они старались сыграть на их тоске по родине, на их сентиментальности, и они приготовили «питательную среду» и для их патриотизма, и для национального чувства, и для тоски по родине. Представь себе, что профсоюз все же оказался сильнее хозяев, и польские шахтеры не стали штрейкбрехерами: в тридцать шестом году все польские шахтеры, кто бы они ни были, к каким бы организациям они ни принадлежали — к католическим или патриотическим, — вступили в профсоюз...

— Но в этом нет еще ничего катастрофического!

— Подожди, увидишь. Время шло... Польша стала народной демократией. И национальные чувства поляков, тщательно взращиваемые хозяевами, стали проявляться совсем не в том направлении, в каком их вели хозяева... Поляки — патриоты, их приглашают вернуться на родину, в новую Польшу. И многие возвращаются. Но не все, далеко не все...

— Ясно. Здесь достаточно «андерсов» и перемещенных лиц...

— Не в этом дело... Я тебе говорил, что проблема неразрешима. Слушай меня внимательно... Польские шахтеры покинули Польшу под давлением нищеты, родина не могла их прокормить. Уехать, эмигрировать не так-то легко. Несмотря на то, что мы не в девятнадцатом веке, когда эмигранты уезжали в трюмах кораблей, в любых условиях... пускались в эту страшную авантюру, мечтая о несметных богатствах, о необъятных просторах Нового света, о неизвестных краях... Польские шахтеры уезжали, ничем не рискуя, с договором на работу в кармане, большими группами, что менее страшно, и здесь их ждало жилье, им было обеспечено пропитание. А несчастный случай или силикоз могут настичь как тут, так и там.

К тому же этого они не принимают во внимание, потому что шахтеры любят шахты — свой крошечный ад! Время шло... Вначале они считали делом чести оставаться самими собой, сохранять свои национальные черты. Они жили во Франции, как в Польше, и даже не научились говорить по-французски. Да, они хотели остаться самими собой, это верно, но очень тяжело всегда чувствовать себя не таким как все, и они мечтали в один прекрасный день вернуться в родную деревню, где они будут, как все. Мечта — это связующее звено между эмигрантом и его родной страной. Но, по мере того как проходит время, соотношение между двумя частями жизни эмигранта — большей, которая принадлежит родине, и меньшей, прожитой в чужой стране, — меняется... Приходит день, когда эмигрант начинает мечтать о родине, как мечтаешь о безвозвратно ушедшей молодости. Это в первом поколении. А если ты возьмешь второе и третье поколение... Ведь некоторые из них стали совсем французами! Для них уехать в Польшу значило бы вновь эмигрировать! Они снова пережили бы те муки, которые испытали их родители, покидая Польшу! Не говоря уже о смешанных браках... Что же получается?... Полякам, привыкшим к Франции, имеющим здесь верный кусок хлеба, предлагают покинуть Францию и вернуться к себе на родину, в Польшу... В Польшу независимую, но разоренную войной; в страну, которая ценой гигантских усилий восстанавливает на голой земле разрушенное... Поехать туда — риск, там в перспективе — напряженный труд. Если они покинули когда-то свою родину, то только потому, что у них не было выбора, их толкнула на этот шаг нищета... Теперь, чтобы покинуть Францию, их приемную родину, в них должен заговорить польский патриотизм, ведь те, кто уже уехал в Польшу, не пишут оттуда, что там молочные реки и кисельные берега и что галушки там сами прыгают в рот... Они пишут, что жизнь там трудная и что все надо сызнова строить... Так вот, брат, когда у пролетария есть чем прокормить детей, когда старость его обеспечена и он живет в стране, которая ему нравится, к которой он привык... тогда, брат... он в этой стране и остается!

Серж подумал о Владеке и его семействе: все, о чем говорил Ив, он успел заметить за один день. Тем не менее он сказал, чтобы проверить:

— Но ведь многие уехали...

— Что ж из того?.. Я говорю не о тех, кто уехал, а о тех, кто остался. Они-то и представляют собой неразрешимую проблему. Я знаю некоторых, которые ездили в Польшу с делегациями. Они плакали, увидев родную деревню, людей, говорящих только по-польски, и польские знамена, и праздники... Но они уже полюбили бифштексы с жареным картофелем и кофе севера Франции... А жизнь во Франции легче, чем в Польше, где все только еще строится, восстанавливается. Ехать на риск?.. Шахтеры — люди традиций, степенные, серьезные... С них достаточно того риска, с которым связана сама их профессия. Можно ли требовать от этих людей... Нужны большие душевные силы, большая смелость, чтобы порвать со всеми своими привычками и последовать абстрактному влечению...

— Абстрактному!..

— Да, уверяю тебя, патриотизм в этом случае понятие абстрактное. И, может быть, некоторые польские шахтеры, вернувшиеся в Польшу, мечтают теперь о Франции, как когда-то их родители мечтали о Польше... Когда Морис<sup>1</sup> был в Польше, он поехал к шахтерам, и там было так много вернувшихся из Франции, что его встретили криками «Да здравствует Морис!», как если бы он был в Курьере или в Нэ-ле-Мине! Он даже прослезился... Да, дела, мой друг, дела!.. Официант, еще бутылку того же самого!.. Расколота надвое жизнь! Несчастные люди не знают, какому святому молиться!

Серж вспомнил толпу в «Зале»... То, что говорил Ив, было и верно и неверно. Шахтер поляк, живущий во Франции, прекрасно сознает, что он неполноценный гражданин, что он не имеет права голоса, не может быть выбран делегатом от профсоюза, не может быть штейгером. Разве же для него это безразлично? И потом, Серж слышал, что поляки не только не офранцузились, а, наоборот, ополячивали французов! Ведь в этих местах встречаются французские дети, которые по-польски говорят лучше, чем по-французски! Есть один Дюран<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Морис Торез. Торез родом из шахтерской семьи с севера Франции.

<sup>2</sup> Дюран — такая же распространенная во Франции фамилия, как Иванов, Петров, Сидоров в России.

который стал настоящим поляком... Серж высказал все эти соображения Иву, но Ив только покачал головой, по его мнению, это не имело никакого значения...

— С точки зрения сугубо личной, — сказал он, — каждого из этих ребят, их личных интересов... Если говорить словами специалистов по этому вопросу, то здесь налицо «конфликт между экономическими интересами и национальным чувством». Будущее, ну что же, будущее каждого из них не здесь, а там, это ясно... Там будущее каждого человека связано с будущим его родины — Польши. Сын польского шахтера во Франции становится шахтером, кем еще он может стать? Их принимают на работу в возрасте от 14 до 18 лет, не позднее. И надо решить: или с этих лет иметь обеспеченное будущее шахтера, или рискнуть — выбрать какую-нибудь профессию в другом месте. Они окружены стеной, стеной из угля, они, как проклятые, останутся за ней навеки... — Ив оттолкнул стакан так, как будто он отталкивал вечность. — А если наступит кризис — безработица? В тридцать втором году это уже случилось, и владельцы угольных копей, нимало не усомнясь, выставили за дверь своих дорогих польских шахтеров, о которых они так пеклись, пока в них нуждались! И опять-таки их взял под защиту профсоюз. Но какие при этом возникали проблемы! Ведь тогда для самих французов не хватало работы... Молодые не пережили кризиса, но у стариков, прошедших через него, глубоко засело чувство неуверенности в будущем. Эта неуверенность говорит в пользу возвращения в Польшу, там они будут у себя, никто не сможет их выгнать, сказав: вы отнимаете у нас хлеб насущный! Ты возражишь: чего же им бояться теперь, когда они натурализовались, теперь у них все права... Во-первых, далеко не все натурализовались... Не так-то просто этого добиться... анкеты... волокита... Потом, если натурализовавшиеся ведут себя неосторожно, то в течение пяти лет у них могут отобрать французское гражданство. Целых пять лет натурализовавшийся зависит от всех и каждого. Да, уверяю тебя... у меня сейчас на руках три дела о денатурализации. Два клиента, конечно, коммунисты, а третий — один бог знает, что им от него надо! Так вот... — Ив вдруг устал, допил стакан и помолчал, — так вот... надо, чтобы каждый здешний поляк решил для себя: либо будущее — с Польшей, либо сравнительно обеспе-

ченное и спокойное настоящее во Франции... Официант, счет!

Ночная улица втянула их в себя. Шел проливной дождь. Ив уверенно вел машину, и это делало ему честь — было так темно и мокро, а он выпил столько красного вина.

— У каждой вещи есть две стороны,— сказал он усталым голосом,— а я вижу обе стороны сразу. Пока не найдешь правильной точки зрения... Говорят об обновлении нации и о ее вырождении, о сближении народов и о потере национального чувства!.. Уверяют, что эмигранты остаются иностранцами или, наоборот, что они сливаются с обществом своей новой родины...

— Смешно,— сказал Серж,— что именно ты толкуешь об эмигрантах и принимаешь их дела так близко к сердцу... А ведь не ты сын эмигрантов, а я!

— Ты-то, Серж, не проблема. Твой отец был партийным работником. И ты тоже партийный работник. Ты человек свободной профессии. Где бы ты ни оказался, ты будешь партийным работником и музыкантом. Ты — человек сам по себе, а не группа людей, ставшая почти что «национальным меньшинством», вроде поляков. Вот и для русских художников, которых мы знавали в молодости на Монпарнасе, не существует подобных проблем, уверяю тебя... Они уже не молоды, они добились определенного положения, они все натурализовались, чтобы не иметь неприятностей с полицией, которая за ними присматривала...

— Они голосуют за коммунистов и не производят на свет детей! Но это только редкие, неповторимые экземпляры, а не национальное меньшинство! — Серж расхохотался.

Но Ив не был настроен на веселый лад, и в темной мокрой ночи он продолжал говорить все о том же.

— Когда интеллигент-иностранец преодолел проблему языка, он прекрасно может, где бы он ни был, жить внутри своей культуры, он берет свою культуру с собой всюду, куда бы он ни попал. Я был знаком с русским эмигрантом Иваном Бунинным, лауреатом Нобелевской премии... я спросил его, как может он, живя во Франции, писать по-русски. Он мне ответил, что прекрасно может! Для него родина — это родной язык, и, по его мнению, писатель теряет родину только тогда, когда отказывается

от своего языка. Он имел в виду русских писателей-эмигрантов, которые стали писать по-французски. Заметил ли ты, что эмигранты-интеллигенты поспешно возвращаются на родину, как только это позволяет общая ситуация? Посмотри на немцев, после поражения Гитлера они отовсюду возвращаются в свою разоренную страну... Манн, Брехт, Бехер, Анна Зегерс... Из Америки, из Скандинавии, из Советского Союза, из Мексики... Что же, у них патриотическое чувство сильнее развито, чем у рабочих? Конечно, нет... А французы, уехавшие во время войны тридцать девятого — сорок четвертого годов, ведь они вернулись сломя голову! Из Америки, из Швейцарии, из Англии! Ты скажешь, что они представители недолгой эмиграции, что это только первое поколение, что они не успели нигде пустить корни... Нет, даже если бы это продолжалось очень долго... Дай-ка мне огонька...

Серж не ответил: он спал, полумертвый от усталости. Тут Ив сжалился над ним и не стал его будить.

В «Зале» все кипело. Ив и Серж с трудом протолкались: от бешеного «би-бопа» дрожали стены, тела партнеров то отлетали друг от друга, то приближались с силой растянутой тугой пружины. Была такая давка, что казалось, здание развалится, а на сцене оркестр, в полном составе, играл так громко, что мог бы мертвого разбудить. Да, это тебе не утреннее трио! Вот это ритм, черт побери! Около стойки с лимонадом стояли толпой молодые люди в пиджаках... несколько военных.. Здесь их было еще больше, чем у киоска с жареным картофелем.

— Смотри, Ив, как странно: девушки танцуют с девушками, а парни с парнями! — Сержу приходилось кричать, чтобы Ив его услышал.

— Не волнуйся, сейчас все переменится... Где Фанни?

Фанни нигде не было видно. Музыка вдруг прекратилась. Парочки разошлись, парни направились к стойке с лимонадом, девушки заняли стулья, стоявшие вдоль стен. Все они были очень молоды, много хороших и даже очаровательных, хорошо сложенных, мило одетых. Самое большое внимание девушки уделяли, по-видимому, украшению головы: сложные прически, гребни, румяна, накрашенные губы, выщипанные брови, серьги, бусы... А под краской чистые, свежие лица, хотя под глазами у неко-

горых синева. Ни одна из девушек не смотрела в сторону гарней, парочками стояли только те, которые пришли вместе.

— Что, вам парни противны, что ли, почему вы танцуете шерочка с машерочкой? — спросил Серж у высокой девушки с правильными чертами и прелестным овалом лица. У нее были коротко остриженные под мальчишку волосы, одета она была в плиссированную юбку и черную шелковую кофточку. Она была элегантна, как парижская манекенщица. Все еще держа под руку подругу, которой она только что проделала атлетический танец, девушка ответила просто, не смущаясь:

— Мы предпочитаем танцевать «свинг» друг с другом... «слоу» — другое дело.

Оркестр заиграл «слоу». Мало-помалу, не спеша, начали появляться парочки; парни по-прежнему стояли у стойки... время от времени от их толпы кто-нибудь отделялся и шел приглашать девушку...

— Так станцуем? — спросил Серж. — Ведь это «слоу».

Серж не часто танцевал, в танцах он не был виртуозом, но танцевать с ним было удобно, он обладал чувством ритма и держал партнершу так, будто собирался поднять ее и унести. Они танцевали молча.

— Принести вам лимонаду? — спросил Серж, когда оркестр замолчал.

— Спасибо, там слишком много народа...

— Это верно. Пройдемся?

— Дождь идет.

— Это тоже верно. Вы замечательно танцуете. Вы полька?

— Не знаю. Мои родители — поляки.

Оркестр разразился еще одним «би-бопом», и партнерша Сержа исчезла, все с той же приятельницей, среди общего неистовства.

— Смотреть страшно, — сказал Серж Иву, который вдруг появился около него, — хуже чем в Сен-Жермен-де-Пре, пол под ними, чего доброго, провалится. Посмотри, ты только посмотри на нее!

Высокая пышная девушка танцевала с каким-то парнем. Здоровенная девица с плотным мускулистым телом, высокой грудью и крепкими ногами, похожими на баянины. Парень отталкивал ее, потом притягивал к себе, она летала, как болид. Она была в экстазе, себя не помнила

от счастья. Серж смотрел, как она вертится волчком, смотрел на ее ноги балясинами, крутой зад...

— Этот «би-боп»,— сказал Серж, осторожно отступая, — пробуждает в них «национальное чувство» — ни дать ни взять краковяк.

— Поехали? Я нашел Фанни и договорился с ней.

— Лично я не тороплюсь.

— Хорошо. Я пойду в бистро напротив с товарищем, который заведует «Залом».

Серж терпеливо дождался конца танца и снова разыскал свою партнершу.

— Оркестр очень хорош,— сказал он, обнимая ее, чтобы станцевать еще один «слоу».

— Это все — шахтеры. Любители... подрабатывают.

— Да? А как они научились?

— У нас здесь есть учителя. Один пенсионер... Он играет на гитаре, на флейте и на рояле. Способный человек, легко схватывает... Есть еще один учитель, который специально сюда приехал,— аккордеонист...

Серж смотрел на гладкий матовый лоб девушки, на тонко очерченные брови, прямой нос и намечающиеся морщинки в уголках рта. Все было так чисто, так четко. Кожа на губах тонкая-тонкая, губы нежные, не улыбающиеся. Несколько суховата, строга.

— Вы работаете? — спросил он.

— Да, на текстильной фабрике.

— Тяжело?

— Я привыкла. Но далеко, тратишь много времени.

— А как вы туда добираетесь?

— На автобусе. Фабрика присылает за нами автобус. Нас здесь много.

Серж прижал ее к себе. По-видимому, девушке это не было неприятно.

— Вы живете с родителями?

— Да.

— А что они говорят, когда вы поздно возвращаетесь?

— Ничего.

— Я вас провожу?

На этот раз она не сказала: «дождь идет». Она пошла за своим пальто и платком. Дождя на улице не было, они быстро пересекли освещенное пространство. Влажная ночь протягивала к ним руки, предлагала им свой покров. Серж шел туда, куда его вели... Они ушли во тьму, в молчание

шахтерского квартала, и опять казалось, что они из города попали в деревню. По-прежнему наверху, как будто в горах, сияли огни. Девушка остановилась:

— Я живу здесь.

— Это... ничего?

— Так даже лучше.

Они прислонились к стене.

Серж вернулся в «Зал», когда танцы подходили к концу. Осталось всего несколько пар, усталых, томных. Ив одиноко сидел среди пустых стульев. Костюм у него измялся, очки запотели, он казался еще более сутулым, чем обычно.

— Я слишком устал, чтобы вести машину ночью,— сказал он,— попытаемся достать комнаты в гостинице, уже поздно идти к товарищам, все спят.

Они ехали обратно «в город», Ив сгорбился над рулем, Серж спал. Последние поезда уже давно прошли, привокзальная гостиница была заперта, и нигде не было света. Наконец какой-то старик, в брюках поверх пижамы, открыл им дверь. Он взял с доски два ключа, сказал: «Устраивайтесь...» — зажег свет и исчез. Серж и Ив поднялись по деревянной лестнице, до того натертой, что на ней легко было расшибиться. В маленьких комнатах с подозрительными стенами и бархатными покрывалами на постелях стоял неприятный запах затхлости... «До завтра...» Ив зевал во весь рот.

Серж спал крепко, проснулся веселый и ударил кулаком в стену; Ив появился почти тотчас же.

— Я не спал,— сказал он.— Айда! Поехали!

— Что тебе мешало? Клобы?

— Здесь вполне чисто.— Ив возмутился, как если бы он сам содержал эту гостиницу.— Трещины в стенах — это военные раны.

Серж бросил недоверчивый взгляд на розовые стены в больших и маленьких пятнах и трещинах...

— Хорошо, поехали. Не сердись, дружище, ты встал с левой ноги. Как мы поступим? Сразу поедем?

— Если твои многочисленные обязанности тебе позволяют...

— Ладно! Я бы хотел повидать двух-трех товарищей по поводу хора, я все-таки думаю, что весь вопрос в том, чтобы собрать их...

— Сегодня понедельник, все на работе.

— Не беспокойся...

Они договорились о встрече.

Серж пришел точно в назначенный час, но недовольный Ив уже ждал его около машины. «Садись,— сказал он,— и не рассказывай мне басен. У меня в Париже дела». Серж сел, и Ив с места пустил машину полным ходом. «Погода хорошая,— заметил Серж,— тебе было полезно подышать воздухом... Дело идет на лад, я выпил дюжину чашек кофе, и дело пошло...» Но Ив не удостоил его ответом.

Некоторое время они ехали молча. При выезде из города — где новые здания строились рядом с незасыпанными воронками от снарядов — снова появились терриконы и хороводом закружились по сторонам дороги.

— Мне нравятся эти мрачные места...— сказал Серж.— Хочется написать через все небо огненными буквами: «Опасно для жизни!»— и все-таки мне здесь нравится...

Ив молчал. Теперь они ехали свекольными полями, изредка показывались фермы...

— Сегодня утром я побывал в шахтерском поселке, что напротив «Зала», тебе приходилось там бывать?— заговорил Серж.— Возле каждого дома во дворе стоит отдельно кухонька; чтобы в нее попасть, надо перейти двор. Так вот, в этом поселке все польские семьи сидят на кухне, а в дом, где у них хорошие комнаты, ходят только спать. Несмотря на то, что им приходится перебегать через двор, мокнуть под дождем, все равно им нравится сидеть на кухне... Чисто в этих крошечных кухоньках необыкновенно и так тесно, что все буквально сидят друг на друге—мать стряпает, дети готовят уроки, отец читает газету! Говорят, что, если им построить помещение еще теснее, они бы перешли туда, как в нору—чем глубже, тем лучше. Странно, а? Эта потребность сбиться в кучу, спрятаться от внешнего мира...

Ив перестал дуться и мягко сказал:

— Семья заменяет им, бедным, родину... В семье они у себя, защищены от внешнего мира, от людей, которые на них непохожи. Хочешь проедем через крепость?

По-видимому, чтобы найти дорогу к сердцу Ива, достаточно было заговорить с ним о польских шахтерах.

Крепость... Ее-то и не надо было показывать Сержу. Ведь за Аррасской крепостью немцы расстреливали участников Сопrotивления.

Ив остановил машину на плохой проселочной дороге при выезде из города. Высокие стены старинной, мрачной крепости наклонно нависали над дорогой. У входа стоял солдат — часовой. Надо было обогнуть крепость по проселку. Ив знал дорогу или по крайней мере думал, что знает... Он не бывал здесь один, а всегда с толпой народа, с какой-нибудь процессией, чтобы отдать долг убитым, возложить венки, цветы, и поэтому он никогда не обращал внимания на то, как неприглядны подъезды к стене расстрелянных. Дощатые лачуги с толевыми крышами, огороды, похожие в это время года на свалки, пустыри, обнесенные ржавой колючей проволокой. И нигде никого. Надо было сделать порядочный крюк, и Серж не переставал спрашивать себя, проходили ли по этой дороге «они», те, кого вели на расстрел... Их, наверно, брали из тюрьмы в Аррасе и привозили сюда на грузовиках. Или, может быть, их проводили через крепость? Вдруг потеплело, Сержу было душно в канадке. Он представил себе, что он один из «тех», и всем сердцем прощался с окружающим миром, внезапно приобретшим такую огромную значимость, такую безжалостную осязаемость. Уцепиться бы за эту живую землю!.. Через мгновение его не станет, а все это — дорога, рваная колючая проволока и поблекшая трава — останется... Ив, шедший впереди, свернул налево.

Это было страшное и величественное зрелище. Между глухими стенами, которым небо служило крышей, — широкое пространство. Высоченные стены-горы, укрепления из кирпича и земли, были покрыты рядами больших мраморных досок с именами погибших и датами казни, с указанием принадлежности казненного к той или другой организации Сопrotивления. По доске на каждого. Сотни могильных плит стояли стоймя, как будто выстроившись перед расстрелом. Серж и Ив шли вдоль стен, читая... И здесь они снова встретили «инострannую рабочую силу», как натурализовавшихся, так и ненатурализовавшихся! Бесконечный ряд польских имен: шахтер... шахтер... шахтер... ФТП... ФТП, ФФИ, ФФИ, ФФИ... Они шли по необычайному проспекту, который заворачивал под прямым углом, а на стенах все те же плиты... Французы...

ФТП, ФФИ, ОСМ, ОСМ<sup>1</sup>... Невыносимую печаль навевают увядшие венки... Они говорят о забвении. Здесь было еще страшнее, чем у Памятника Жертвам Войны на Вими: там с горы, где гулял только ледяной ветер, открывался вид на угольный бассейн, где угадывалось живое присутствие людей... Здесь же царило смертельное одиночество. Неожиданно совсем близко раздался выстрел. Потом еще: наверное, кто-нибудь охотился поблизости, шла настоящая пальба.

— Они еще подстрелят нас,— сказал Ив.

Ну, уж это было бы совсем глупо. Охотникам не могло прийти в голову, что здесь живые люди, сюда, наверное, никогда никто не заходил. «Шарль Дебарж»<sup>2</sup>,— читал Серж, идя вдоль стены. Значит, Дебаржа расстреляли здесь. Наверху опять раздался выстрел... Серж поднял голову: на вершине стены стояло каменное укрытие для часового. Серж вскарабкался туда по двойной лестнице из кирпичей; сверху открывался театрально-зловещий пейзаж. У этих злодеев было сильно развито стремление к театральным эффектам! Сквозь такие глухие стены даже и лучу надежды не пробраться! Серж отвернулся и пошел взглянуть на каменное укрытие... но тут же отскочил назад! Нервы его были напряжены, и ему показалось, что там, в темной глубине, шевелится апокалиптическое чудовище... Да нет, ничего не было... ничего... сухие листья, похожие на когти... тень... С бьющимся сердцем Серж спустился вниз. Ив ждал его, сидя на камне. Стреляли все ближе, совсем над ухом...

Выходя из крепости, они столкнулись нос к носу с молоденьким офицером — французом! — в походной форме, в каске. Офицерик очень испугался, потому что никак не ожидал кого-нибудь здесь встретить. Молоденькие солдаты появились в кустах, с трудом пробираясь сквозь их чащу... Они спускались сверху, оттуда, где Сержу показалось, что он увидел чудовище...

Ив и Серж быстро шли к машине. Серж выбирался из этих мест, как из колючих зарослей. Он чувствовал, как все вокруг цепляется за него, какая-то неведомая сила пригибает его к земле, тащит назад. Точно в кошмаре, когда, как ни стараешься, не можешь ни побежать, ни крикнуть.

<sup>1</sup> ФТП — «Франтиреры и партизаны»; ФФИ — «Французские внутренние силы»; ОСМ — «Штатская и военная организация».

<sup>2</sup> Шарль Дебарж — шахтер, герой Сопротивления севера Франции.

— Много убитых? — раздался позади них молодой голос.

— Маневры, — сказал Ив, — они играют в войну. Опасная игра, всегда есть раненые.

— Я их убью, — сказал Серж. Ив облегченно вздохнул, услышав это любимое выражение друга — значит, Серж пришел в себя. Когда Ив увидел, как помертвело лицо Сержа, он пожалел, что заехал в крепость...

Они сели в машину Ива с чувством избавления, как утопающие, достигшие суши.

Ив злился на себя, зачем ему понадобилось водить Сержа в крепость. Да и его разбередило это посещение. Вдруг под обычной оболочкой Ива, всюду и во всем стремящегося найти рациональное зерно, ко всему практический подход, появился незнакомец, шатавшийся, как пьяный или как человек, оказавшийся на палубе корабля во время бури. Он заговорил, и голосу его вторил скрип «дворников» по стеклу, потому что опять пошел дождь, дождь снова проливал на них свои слезы.

— Серж, — сказал он, — я еще не говорил с тобой о том, что я пережил и передумал после моей последней поездки в Москву...

Сквозь дождь ехали плечом к плечу два французских коммуниста и говорили между собой с доверием, естественным для людей, находящихся по одну сторону баррикады. А откровенный разговор — это уже очень много, это помогает жить. Человеческое тепло! Пусть дождь, пусть ветер — нет ничего дороже человеческого тепла!

### XXIII

Ольга была образцовым директором. Никогда не опаздывала, никогда не отсутствовала в рабочие часы. Поэтому, когда г-н Арчибальд, патрон, обнаружил, что ее не было в конторе ни утром, ни днем, он сам лично позвонил в «Терминюс» — «417-й не отвечает...»

Ольга не отвечала. В ночной рубашке, босиком, она бродила по комнате, бросалась на кровать, вскакивала, не выпуская из рук газеты, где она снова и снова перечитывала все те же несколько строк... Там было написано черным по белому: *«Вчера утром в баре «Куполь» на Монпарнасе внезапно потерял сознание г-н Фрэнк Моссо, служащий американской экспортно-импортной фирмы. Он был перевезен скорой помощью в больницу Кошен, где вечером скончался. Смерть является следствием сердечного приступа»*. Мелким шрифтом, в уголке. Ольга увидела случайно: заметка, как о раздавленной собаке. *«Служащий фирмы...»*

Время шло. ...Вечером скончался... сердечный припадок... Что она делала вчера вечером? Как всегда, была в конторе, обсуждала с мосье Арчибальдом проект рекламы минеральной воды. Потом приехали их главные клиенты, фабриканты тканей, и ей пришлось принять приглашение пообедать с ними в тот же вечер... Ей не хотелось, но мосье Арчибальд смотрел на нее умоляюще, и у нее не хватило духу отказаться. А в это время Фрэнк... Фрэнк, уже мертвый, лежал на больничной койке; а она обедала в «Серебряной башне»...

После того как больше трех месяцев тому назад они распрощались на автобусной остановке у Ворот Дофина, он не подавал никаких признаков жизни. А позавчера в полночь позвонил по автомату: «Ольга! Я вас разбудил... Простите! Мне так хотелось услышать ваш голос. Скажите

еще раз: «Алло, Фрэнк!» Она повторила весело: «Алло, Фрэнк! Я соскучилась по вас... как живете? — Плохо, очень плохо. Я чувствую себя мухой, которую подстерег жирный паук... Мне хотелось рассказать вам об этом сегодня вечером. — Почему именно сегодня вечером? — Каждый вечер, Оля! Но проходит вечер за вечером... Вы помните большой ресторан, где нас с вами так плохо накормили? — Да... помню... — Мне очень хотелось бы еще раз так плохо пообедать с вами... Но всюду полно сволочей, сукиных детей... — Да... — А я не герой, Оля, простите меня, не судите. Спокойной ночи, моя дорогая... — Спокойной ночи, Фрэнк!»

Такой уж у нее характер. Ведь он ждал одного ее слова, чтобы прибежать, а она, все, что она сумела ему сказать, это — «спокойной ночи, Фрэнк...» Он пришел бы и умер у нее на руках... Нет, если бы он пришел, он бы не умер. Сердечный припадок... Но почему она чувствует себя виноватой, почему у нее ощущение, что она не сделала того, что должна была сделать, что она позволила Фрэнку умереть, бросила его... Как будто можно запретить человеку умереть.

Обессилив от слез, Ольга легла — и проснулась только вечером. Уже стемнело. Ольга смотрела на темные окна и бесконечно длившееся для нее мгновение не понимала, почему она в постели... А потом она разом все вспомнила, действительность снова навалилась на нее, как могильная плита. Но во всем этом было что-то помимо горя, помимо ужаса перед непоправимым. Что-то другое, чем обычное чувство горя. Ольга вскочила и стала лихорадочно одеваться. Она пойдет к Сержу... Серж был единственным связующим звеном между ней и Фрэнком, из всех их общих друзей Фрэнк последнее время виделся только с Сержем.

Дверь открыла мать Сержа.

— Оля! — маленькая г-жа Кремен обняла ее и поцеловала, — входите, дорогая, я погляжу на вас при свете... Раздевайтесь, какая ужасная погода... Серж должен прийти с минуты на минуту.

Г-жа Кремен ввела Ольгу в столовую и усадила ее в одно из кресел в полотняных чехлах. Ольга послушно села, повторяя, что зашла на минутку, что ей не хочется разде-

ваться, что ей надо спешно повидать Сержа и что она сейчас уже уйдет.

— Софья Павловна, — сказала она, сидя на кончике кресла, как бы собираясь бежать, — вы знали американца Фрэнка Моссо, художника?

— Того, что умер вчера от сердечного припадка? Я его не знала, он к нам никогда не приходил, но Серж его знал... он потрясен его смертью... Несчастный человек, ведь ему не было и пятидесяти лет, совсем еще молодой... Осталась жена и двое детей...

— Почему он умер, Софья Павловна?

Г-жа Кремен была поражена тоном Ольги...

— Но... по-видимому, от сердечного припадка... Вы, значит, его хорошо знали, деточка? Подождите! Вот и Серж...

Серж очень обрадовался Ольге. Но, едва поздоровавшись, без всяких предисловий, она спросила:

— Что вы знаете о смерти Фрэнка, Серж?

Серж удивился, внимательно посмотрел на Ольгу, он не знал, что Фрэнк и Ольга встречались.

— Он умер от сердечного припадка.

Серж сел напротив Ольги в покрытое чехлом кресло, и Ольга увидела, какое у него расстроенное лицо... синяки под глазами... Ольга же казалась совершенно спокойной. Значит, он может говорить свободно.

— От сердечного припадка, — повторил он, — несомненно. У него ведь было больное сердце, все это знали, но... Ольга! Он, наверное, сам постарался ускорить смерть. Я уверен, что это самоубийство, и ничто меня в этом не разубедит.

— Я тоже в этом уверена, — сказала Ольга.

Серж не задал ей никакого вопроса и продолжал:

— Я только что от художников, хлопотал, чтобы его по крайней мере похоронили, как художника, а не как «служащего американской фирмы»... Пусть напишут о его живописи. Ведь художники говорят, что он был очень талантлив...

— Надо было ему об этом сказать, когда он был жив!

Если бы это были другие люди, а не Ольга и Серж, разговор мог бы принять неприятный оборот, но Серж просто ответил:

— Ему говорили... Я слышал, как ему об этом говорили в нашу последнюю встречу... в первых числах сен-

тября... было еще жарко... Он пришел к Дариусу, я был там. Дариус писал мой портрет. Фрэнк вошел и сказал, что у него отобрали американский паспорт, что ему предлагают вернуться в США. Он был очень расстроен. Он был уверен, что в случае возвращения дело кончится для него плохо... Когда он ушел... у нас у всех было тяжелое чувство... там был еще Альберто. Но после этого Дариус видел его несколько раз, Фрэнк приходил ночевать в мастерскую — у него мастерская в том же доме, что у Дариуса. Ив, адвокат, которого я рекомендовал Фрэнку — да вы его знаете, — иногда заходил к нему... Фрэнк как будто начал успокаиваться, но Ив говорил, что его жена никак не хотела примириться с создавшимся положением и во что бы то ни стало желала вернуться домой, сколько Фрэнк ни уверял ее, что он не сможет найти там работу, что у него там будут большие неприятности... Она вдруг резко к нему переменялась и целыми днями попрекала его тем, что он погубил детей.

Ольга по-прежнему сидела на краешке кресла, не снимая пальто и шляпы, как бы собираясь подняться в любую минуту.

— Погубил детей? — повторила она.

— Она утверждала, что Фрэнк скрывает от нее свою «преступную деятельность»... Что американская юстиция и посольство не могут ошибаться. Она ругала Фрэнка проклятым коммунистом. Целыми днями она его грызла. Ив старался ей объяснить, но тщетно...

Серж замолчал, как будто какая-то мысль вдруг отвлекла его...

— А потом? — сказала Ольга.

— Потом... — Серж посмотрел на Ольгу невидящим взглядом. — Однажды Фрэнк пришел к Дариусу, он был в страшном возбуждении и говорил, что хочет вступить в партию... Что, раз дело обстоит так, значит, партия права, и он хочет в нее вступить... Дариус растерялся, он не знал что сказать: американец — член Французской компартии... Неслыханное дело... Все это — несчастный случай! Я забыл вам сказать... Мадам Моссо уверяла, что Фрэнк никогда не занимался живописью, что это была выдумка, которой он прикрывал свои политические махинации...

Серж не договорил, опять задумался, держа в пальцах потухшую папиросу... Г-жа Кремен, стараясь не звенеть

посудой, разливала чай. Она подвинула Ольге дымящуюся чашку: «Вам это будет полезно, Оленька...» Серж откашлялся.

— К мадам Моссо приходили, специально чтобы рассказать ей о связи ее мужа с коммунисткой...

— С коммунистической шпионкой,— поправила Ольга.

— ...с коммунистической шпионкой,— повторил Серж,— а потом он умер.

— Это не самоубийство,— сказала Ольга,— это — убийство.

Она встала, и Серж смотрел на нее с восхищением, хотя, видит бог, ему было совсем не до того. Лицо Ольги покрылось смертельной бледностью, взгляд у нее стал пустым, как у статуи, как у надгробного памятника.

— Неужели вы уже уходите, Оленька? — сказала г-жа Кремен.— Ну, тогда Серж вас проводит.

Они спустились по деревянной лестнице с толстыми балясинами и перешли через двор, где платан, превратившийся в собственную тень, прятался в мокрой тьме. Серж держал над Ольгой зонтик, который ему дала мать.

— Поедем на метро, Ольга?

— Нет, лучше пешком...

— Но вы промокнете...

— Ничего...

В этот час апофеоза весь Париж был на улицах, и последние аккорды перед обеденным антрактом звучали оглушительным фортиссимо.

— Вы не хотите пообедать со мной, Ольга?

Серж держал Ольгу под руку, она слегка прижала к себе его руку.

— Нет, спасибо, Серж... я, пожалуй, пойду лягу... Потом мне надо позвонить Арчибальду, он, наверное, беспокоится.

Черные грибы зонтиков загромождали тротуары, люди натыкались друг на друга, толкались... А с крыш многообразием падали капли, более тяжелые и мокрые, чем дождь, они норовили попасть за воротник... Вдруг на набережной, возле Академии, тротуар опустел, и идти стало свободно. Они шли под зонтом, прижавшись друг к другу, погруженные в свои мысли.

— Ольга, почему вы не вступаете в партию?

— Вы знаете почему...

— Я знаю прежние причины. Если причины все те же, то они несостоятельны.

— Разве что-нибудь изменилось?

— Они всегда были несостоятельны.

Ольга даже не ответила. Серж продолжал:

— Всегда. Вы принимаете во внимание свои чувства, а не действительность. Вы нам нужны, вы неисчерпаемый кладезь знаний, вы умеете работать, у вас много здравого смысла.

— Я дочь своего отца.

— Ваш отец здесь ни при чем. Вы — это вы, Ольга; когда я учился в партийной школе, я часто думал, как хорошо было бы, если бы Ольга была здесь, она бы мне помогла... Что с вами случилось?

Ольге не хотелось отвечать, ей не хотелось отрываться от мыслей о Фрэнке, но Серж повторил вопрос, он настаивал.

— Я потеряла веру, — с трудом выговорила она, — а убеждения без веры — мертвая буква. От меня ушла благодать. А если это так, зачем мне идти на муку? Ведь я не имею права ни на сомнение, ни на ошибку, ни на слабость, ни на усталость. Каждый сейчас же подумает: этого надо было ожидать! Может быть, и вы уже думаете так... или завтра подумаете.

Серж мысленно проверил себя: нет, Ольга ошибалась. Наоборот, если бы кто-нибудь другой заявил бы вот так о своем равнодушии к судьбам мира, он осудил бы его, а Ольгу — нет. Он не ответил, ожидая продолжения.

— Представьте себе, — снова заговорила Ольга, — как я скажу на собрании ячейки: «Мои две родины...» Что бы тут поднялось!

Серж по-прежнему ничего не говорил: он хотел привести свои возражения только тогда, когда Ольга выскажется до конца, а она никогда не была ни торопливой, ни болтливой. После паузы она продолжала:

— Одна южноамериканка, которая часто помогала СФЖ<sup>1</sup>, сказала мне — она думала, что наши судьбы похожи, она меня не очень хорошо знала, — так вот, она мне сказала: «Я не хочу афишировать себя в Союзе французских женщин, в один прекрасный день может случиться,

---

<sup>1</sup> СФЖ — Союз французских женщин.

что интересы моей страны придут в столкновение с интересами Франции...» Я ей ответила: «Со мной, мадам, это не может случиться...» Не знаю, как она поняла мой ответ. Я не стала ей объяснять: «Я, мол, коммунистка... пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это было бы и слишком просто и слишком сложно.

Серж обрадовался, услышав сухой и едкий тон, который был свойствен Ольге, сейчас он воспринял его как первый признак жизни в бездыханном теле. Она добавила:

— Это было давно. А теперь мы живем во времена подозрений. Я ведь вам уже говорила? Да, я это уже говорила. Я твержу об этом все время. Государства друг друга подозревают, люди друг друга подозревают. А мы... раньше мы доверяли друг другу... Но ведь вас могут обмануть только те, кому вы доверяете.

Она умолкла, и Серж понял, что больше она ничего не скажет. Настало время для его возражений... Но тут он обнаружил, что ему уже не хочется спорить... Его доводы показались ему вдруг неубедительными. Нет, он не будет давать Ольге добрых советов. В конце концов — она его переубедила.

— Вы совсем промокли... бедная моя...

Это было все, что он сказал. Ольга еще раз прижала к себе руку Сержа. Доверие... как это хорошо, доверие... Они молча шагали под дождем до самого «Терминюса».

## XXIV

Дювернуа вернулся в замок ночью; несмотря на гололедицу, он гнал сломя голову. Бросив машину у решетки, он почти бегом проскочил через парк и распахнул одну из незапертых дверей замка. Темные нетопленные залы, коридор... Вот и комната, в которой он жил летом, в ней так же темно и холодно, как во всем погруженном в молчание и мрак замке. Дювернуа упал на колени перед подвернувшимся ему креслом и зарылся головой в его рваную шелковую обивку. Он тихо стонал. Где-то далеко в деревне завыла собака. Дювернуа встал, протянул руку, чтобы зажечь свет. Еще несколько раз всхлипнув, как обиженный ребенок, он снял пальто, достал платок из кармана фрачных брюк и высморкался. Глубокой ночью одинокий человек рыдает в старом полуразрушенном замке... Разве это не ужасно?.. Но ужас и отчаяние Дювернуа привез с собой в этот окутанный паутиной, наполненный крысиной возней замок, он привез их из залитого светом красного с золотом театрального зала, где толпились женщины в вечерних туалетах и мужчины во фраках... Он хотел спрятаться, спрятать свой ужас и отчаяние.

В камине была одна лишь зола. Дювернуа долго глядел на нее и снова заплакал. Было очень холодно, Дювернуа чувствовал, что холод пронизывает его насквозь, подбираясь к сердцу... Вздохнув, он шагнул в громадный камин из резного камня, вымел золу, поднял решетку, потом, согнув голову, как кариатида, подставив плечи под каменную плиту камина, он напрягся изо всех сил, пытаясь приподнять огромные камни. Они не шелохнулись. Нелепое это усилие несколько облегчило Дювернуа, но на лысине у него остался глубокий красный след. В чулане должны быть дрова. У Дювернуа от холода зуб на зуб не попадал. Он надел поверх фрака халат и открыл дверь в темный чулан —

мышы, шурша бумагой, прошмыгнули у него под ногами. Он набрал дров, старых газет и, вернувшись в комнату, принялся педантично растапливать камин. Огонь разгорался быстро и хорошо. Дювернуа придвинул к камину кресло, погасил свет. Он сидел почти в самом огне, так и не сняв фрака, закутавшись в халат, пальто, шотландский плед... он начал согреваться, но время от времени его охватывала судорожная дрожь, будто из него толчками выходил холод. Большие поленья горели жарко и ровно. Дювернуа почти без чувств полулежал в кресле — он необоримо устал... Пустынный, ледяной, темный замок казался ему преддверием ада. Но здесь он был по крайней мере в одиночестве, имел право кричать, если боль становилась невыносимой. Справа его грел, жег огонь, слева он все еще ощущал холод. Заснуть бы... Сон начал обволакивать его своим теплом. Дювернуа жаждал сна, и казалось, вот-вот сон овладеет им... Но вдруг, как будто кто его спугнул, сна как не бывало, и Дювернуа, вынырнув из дремотного тумана, совсем очнулся и снова все вспомнил. Как это он упустил сон! Нервы... Весь он сплошной нерв. Невыносимо. Вскочить, броситься бежать! Дювернуа пытался овладеть собой, не двигаться, даже не скрежетать зубами. Но вернемся назад, вернемся назад вместе с ним.

В этот вечер Дювернуа должен был сопровождать в Оперу свою очаровательную хозяйку Кристину, и она собиралась пригласить еще друзей, чтобы после театра всем вместе поехать ужинать к «Максиму». Он уже был готов, когда горничная постучала в дверь и передала записку от Кристины: «Я должна уехать, дорогой,— писала она,— тот, кого я люблю, свободен сегодня вечером...» Билеты в Оперу лежали в конверте... Дювернуа выругался. Он чувствовал себя дураком — свежевыбритый, во фраке, в лаковых ботинках... Иметь дело с Кристиной... Не женщина, а сквозной ветер! Он был слегка обижен ее бесцеремонностью, слегка приревновал ее, хотя ему не было никакого дела до увлечений Кристины. Без четверти девять... Дювернуа достал записную книжку, позвонил по телефону: «Мадам нет дома...» Он позвонил приятелю: «Нет дома...» Дювернуа колебался и позвонил в «Терминус»: «417-й не отвечает...» Ну что же, он пойдет в Оперу один.

Он вошел в ложу, когда уже потухал свет. Сразу же заиграл оркестр. Ложа была пуста. Прошло несколько минут, прежде чем Дювернуа окунулся в театральную атмосферу...

Уже поднимался занавес, раздался небесный голос. В темном зале, как незажженные хрустальные люстры, поблескивали платья женщин. Дювернуа посмотрел направо, налево... во всем театре только в его ложе были пустые места... Но музыка незаметно завладевала им, и он уже готов был отдаться ей, слушать, смотреть, как вдруг его охватило страшное беспокойство. Сердце его бешено заколотилось: он чувствовал, угадывал, что он а здесь... Она, его любовь, его судьба, его несчастье, его отчаяние, его неумолимое светило...

В соседней ложе женский силуэт — такой же, как и во всех других ложах, но он узнал бы ее — любимую — по одному лишь изгибу тонкой шеи, по затылку, по манере класть руку на барьер ложи... Да, если он думал, что наконец обрел равновесие... он снова катится в пропасть. Дювернуа тихонько встал и отошел в глубь ложи, чтобы оттуда всласть насмотреться на нее. Он уже не слышал музыки, не видел зала — светлая тень в соседней ложе затмила все. Она, не двигаясь, слушает... рядом с ней другая женщина, сзади мужчины. Вот она шевельнулась, одним движением накинула атлас и меха на голые плечи: может быть, она почувствовала его взгляд? Она не повернула головы, снова сидит неподвижно... мужчина сзади нее наклоняется, поднимает что-то — программу или, может быть, перчатку... А, это он... Затаившийся во тьме Дювернуа — цивилизованный человек... он не бежит при виде врага, как бы его ни боялся, он не кидается на врага, как бы его ни ненавидел. Он не станет публично обнажать свое страдание, так же как не станет раздеваться или чесаться.

Это началось до войны, когда Дювернуа был еще молодым летчиком-испытателем. Он увидел ее в первый раз на Монпарнасе, в кафе «Дом», ее сопровождал красивый парень. Сразу было видно, что они любят друг друга. Дювернуа мог бы познакомиться с ней тогда же, потому что он был с приятелем, который знал ее возлюбленного — Мишеля Виго, но Дювернуа не решился, потому что летчик-испытатель Дювернуа был тогда неодолимо застенчив. Отчасти из-за того, что он уже начал лысеть, и это приводило его в отчаяние. А у этого Мишеля Виго были чудесные кудри, два завитка надо лбом, как рожки у фавна... С этого дня Дювернуа стал часто бывать на Монпарнасе, и когда он встречал ее там — неизменно с Мишелем Виго,—

у него каждый раз больно екало сердце. Он садился как можно ближе и смотрел на нее. Он смотрел на ее светлые волосы, неуловимую розовость... незначительные брови, незаметные ресницы и необъятный взгляд; она была небольшого роста, слегка сутулилась... Что же в ней было такого... бесконечно трогательного? Она волновала его до рыданий. И Дювернуа прекрасно видел, что то же самое ощущают и ее любовник и все другие мужчины, которые подходили поздороваться с ней, что все они — у ее ног, у ее маленьких ножек. Он ясно видел, что за ней тянется длинный шлейф любви, шлейф новобрачной, шлейф королевы...

Познакомился он с ней позднее, когда она уже была женой Беленького, Станислава Беленького, весьма парижского римского императора, финансиста и любителя искусств. Знакомство произошло, когда они плыли из Нью-Йорка в Гавр, и несколько дней, проведенных вместе на пароходе, стали решающими в жизни Дювернуа. Он начал следовать по пятам за этой женщиной, которая знать его не хотела. Когда она ушла от Беленького к молодому шведу, своему соотечественнику (она была шведкой), Дювернуа стрелялся и промахнулся на волосок, пуля прошла навылет через спину... Потом была война и все, что связано с нею, но образ этой женщины не оставлял его ни на одно мгновение. После войны, когда он снова встретил ее в Париже, его хождение по мукам возобновилось. Каждый раз, когда возле нее появлялся новый мужчина, Дювернуа доходил до апогея страданий. Да, Дювернуа, знал, что такое несчастная любовь... Последние три года она много путешествовала. Каждый раз, как она возвращалась в Париж, он ее видел, видел, как она быстро стареет, но ей стоило только свистнуть, и он в любой момент прибежал бы к ней, как раньше, как всегда. Но она никогда не звала его. Время от времени он стоял под ее окнами на Острове<sup>1</sup>; ставни были закрыты, за ними — темнота... Прошло больше года с тех пор, как он ее видел в последний раз.

Занавес опустился, аплодисменты слились с последними аккордами оркестра, зажегся свет. Дювернуа страшно испугался — сейчас она его увидит! Он встал, высокий, элегантный, и поспешно вышел из ложи. В коридорах, в фойе

---

<sup>1</sup> Остров Сен-Луи на Сене, старинный квартал в центре Парижа.

уже было полно народу. Дювернуа встал так, чтобы не пропустить ее, когда она выйдет из ложи. Вот она... Элизабет! Элизабет!.. Она приближалась, как всегда эксцентрично одетая, в коротком красном платье, плотно облегавшем ее тяжелую грудь, тонкий стан... босые ножки на высоких выложенных рубинами каблуках и целый дождь изумрудов на груди, на шее и в ушах... А волосы! Совсем седые!.. Или, может быть, просто вытравленные до платиновой белизны? Блестящие, коротко остриженные, они подчеркивали восхитительную форму маленькой круглой головки. Элизабет шла ему навстречу, она его увидела... Она улыбалась, смотрела своим необъятным взглядом... Дювернуа бросился к ней... Нет! Она улыбалась не ему, Элизабет протягивала руки кому-то другому... Ольге! Они поцеловались. Ольга в длинном вечернем платье, белом, переливчатом, была на голову выше Элизабет, на целую гордую голову. Две женщины, которым он не нужен... Элизабет обернулась... она повернула к нему свое странное лицо, застывшее в сказочной молодости... «Жак,— сказала она,— я в Париже всего три дня, а завтра опять уезжаю...» Ольга поздоровалась с ним издали, не протягивая руки. Из трех мужчин во фраках, сопровождавших Элизабет, двое держались поодаль, как телохранители, а третий шел рядом с ней, почти ее касаясь: это был швед. Она, наверное, останется с ним до конца своих дней... Он был по-прежнему строен и бледен, и голова его, как всегда, страдальчески никла... Густые волосы лишь на висках поседели, и все те же глаза, глаза Элизабет, тот же взгляд, как будто они были брат и сестра. С ней была другая женщина, вернее девушка. Очень молодая и хрупкая, как венецианское стекло. В черной копне волос — цветы... Как это Элизабет не боится водить с собой такую юную красавицу? Нет, она не боится, вот она берет девушку за руку: «Агнесса, познакомься,— мой старый друг Жак Дювернуа, романист... летчик... Это моя дочь, Жак...» Ее дочь? Что это еще за выдумка? У Элизабет дочь? Агнесса протянула ему руку. Юность неотразима... Дювернуа взял руку девушки, и сразу же ему в голову пришла уйма сравнений — и с котенком, и с рыбкой, и с грибочком, и с мускатным виноградом. Если она действительно была дочерью Элизабет, то она не унаследовала ничего от женственности матери, от этой до потери сознания потрясающей душу и тело женственности. Зато в ней была ключом горячая молодость, на

угловатом личике блестели черные глаза... Некоторая самоуверенность в поведке, наверное, появилась у нее недавно, когда она с удивлением убедилась в своей власти над умильно улыбающимися ей поклонниками. Она остановила на Дювернуа внимательный взгляд, за которым чувствовалась напряженная внутренняя жизнь. У нее, должно быть, нелегкий характер, у этой девочки, совсем нелегкий... Впрочем, она тотчас же отвернулась от Дювернуа в сторону какого-то молодого человека, и теперь они вместе смеялись. Дювернуа услышал, как Элизабет уговаривалась с Ольгой встретиться на следующей неделе... А ему сказала, что завтра уезжает. Он уже спускался с лестницы, не прощавшись с ней; проталкивался сквозь голые плечи, черные фраки...

— Дювернуа! Полковник!

Его окликнул князь. Пришлось с ним здороваться, целовать руки его дамам... балерине из Парижского Балета, которая очень нравилась князю, и черной от загара, пышущей здоровьем и весельем американке, которая только что вернулась из Швейцарии, где занималась зимним спортом. С ними был еще один человек с помятым лицом гуляки — мешки под глазами, горькие складки в углах рта...

— Познакомьтесь, — сказал князь, — Саша Розенцвейг, автор «Смертельной опасности», романа, который не получил Гонкуровской премии. Саша, это полковник Дювернуа...

Дювернуа вспомнил, что он уже когда-то слышал это имя, еще до того, как оно стало модным... Он уже видел когда-то это лицо. «Смертельная опасность» была литературным скандалом этого года, по поводу этого романа в течение целого месяца потоками лились чернила: жюри Гонкуровской премии не захотело — не осмелилось! как говорили, — выдать премию этому произведению, слишком сильному, слишком рискованному, они не осмелились увенчать гения! Как всегда! «Смертельная опасность» разошлась молниеносно, большим тиражом, чем роман, получивший Гонкуровскую премию. Саша Розенцвейг стал героем дня. И вдруг Дювернуа вспомнил русский ресторан, в котором он когда-то завтракал с князем... и сына князя в сопровождении каких-то молодых людей и Саши. Разве князь не говорил тогда, что этого Сашу повесить мало?

— Вы одни, полковник? Мы вас похищаем после спектакля. Нина обожает ваши романы...

Дювернуа извинился, он должен сейчас же уйти, его ждут, он даже не останется до конца... Князь подшучивал над его делами — блондинка или брюнетка? Наконец Дювернуа удалось от него отделаться... По дороге к выходу ему пришлось пожать еще немало рук.

Он с трудом отыскал свою машину, никак не мог вспомнить, где ее поставил... Пальто осталось в машине, и Дювернуа стучал зубами от холода. Наконец он нашел ее... Он выехал из города и, все увеличивая скорость, мчался по дороге к замку... И вот наконец он здесь, у камина. Сидя перед умирающим огнем в огромном, пустынном, темном, заброшенном замке, тщетно пытается заснуть. Когда небо начало светлеть, Дювернуа встал с кресла, снял пальто, халат, фрак и пошел в зал с обвалившейся позолотой. Драка с подвешенной там боксерской грушей согрела его. Ему захотелось умыться, но вода в кувшине замерзла. Папиросы тоже кончились. Дювернуа торопливо оделся, бегом пробежал через парк, вскочил в машину...

Дом Кристины встретил его, как всегда, гостеприимно. Хозяйка исчезла в неизвестном направлении, но ему тотчас же принесли завтрак, и вкусный кофе со сливками отбил горечь ночных слез. Дювернуа поел с аппетитом, выставил поднос за дверь, выключил телефон, мигом разделся и уснул тяжелым, непробудным сном.

Он проснулся только вечером, и как только включил телефон, раздался звонок... Это был Патрис. Патрис вернулся из Китая, он был оживлен, счастлив и хотел повидать Дювернуа. «Победаем вместе?» — «Хорошо, победаем вместе».

Саша еще не успел переехать и все еще сотрудничал в той же газете с большим тиражом. Но скоро все переменится... Саша менял кожу. Вчера, после премьеры в Опере, он повел князя и двух его спутниц в маленький кабачок, где он открыл певицу с удивительным темпераментом. И хотя платил по счету старый князь, в этом теперь не было ничего унижительного: Саша был уже не просто гидом, он был автором «Смертельной опасности», он знал Париж, как никто, и снобизму князя даже льстило, что Саша согласился приподнять перед ним завесу над тайнами Парижа. Певица была действительно на редкость хороша, Саша блистал остроумием, и они очень весело провели вчетвером вечер.

Вот почему Саша проснулся только после полудня. Сидя на развороченной постели с волочившимися по полу простынями, он курил... голова как свинцом налита, во рту мерзкий вкус, а тут еще надо статью писать... Саше не хотелось ссориться с газетой, которая столько лет его кормила... Но скоро он бросит это опостылевшее ему ремесло. Босые ноги застыли на холодном полу... Саша надел новый роскошный халат, новые теплые ночные туфли. Присев за хромоногий карточный столик, сукно которого было изъедено молью, он быстро начал строчить статью. Рядом кто-то тихонько двигался; наверное, соседка готовила обед. Шаги по лестнице. А вот и воркованье соседки — Алисы.

— Ролан! Как я рада! Оставайся обедать! Жанно ушел за хлебом... садись сюда... но что с тобой! Краше в гроб кладут! Ты болен?

— Нет... Здравствуй, Алиса.

— Что с тобой? Ролан?!

Раздался шум отодвигаемой мебели.

— Ролан, не плачь, пожалуйста! Ролан, милый, перестань, а то я тоже заплачу... Боже мой! А Жан все не возвращается!

Саша, заинтригованный, перестал писать, перо застыло в воздухе, он прислушался — ему хотелось знать, почему плачет Ролан. Он услышал, как открылась дверь и соседка вышла на лестницу. Она звала, наверное перегнувшись через перила: «Жан, скорее! Иди скорее!» Саша услышал, как торопится Жан. Алиса говорила скороговоркой, шепотом: «У нас Ролан... Он как будто с ума сошел... Плачет!.. Скорее!»

— Ролан! Что с тобой, голубчик? Что с тобой случилось? Ложись сюда...

Молчание... Потом бас Ролана:

— Агнесса сказала мне, что я ей больше не нужен... Что мне делать, куда мне деваться!

— Так и сказала? Сама?

— Да, вчера за обедом... Она уезжает в Палестину. Небольшая пауза.

— С ума она, что ли, сошла? — раздался голос Жана. — Почему в Палестину? С каких пор она стала еврейкой? Я думал, что она турчанка!..

— Она не сумасшедшая, и она еврейка: сефардитка.

— Господи! Это еще что такое? — проворковала Алиса.

— Оставь, Алиса... Я тебе объясню в другой раз. Мадам Крюгер, Элизабет, как только приехала в Париж, вызвала меня и сказала, что Агнесса ей объявила о своем решении и что при мысли об ее отъезде у нее, у Элизабет... разрывается сердце.

— Но почему ей это пришло в голову? И почему мать разрешает ей уехать?

— Из-за аттестата зрелости... В школе<sup>1</sup>, где она готовится к экзаменам, есть девушки и парни, которые хотят туда ехать. Фанатики! Агнесса от них заразилась, точно лихорадку схватила! Что со мной будет! Я ведь даже не еврей! Если бы я по крайней мере был евреем!

— Но въезд в Палестину разрешается не только евреям, — раздался рассудительный голос Жана.

— Я ей говорил! Но она слушать ничего не хочет. Она говорит, что мне ее не понять, что я не могу разделить ее жизненных идеалов...

<sup>1</sup> Во Франции существуют специальные учебные заведения, подготовляющие к экзаменам на аттестат зрелости.

— Ведь так оно и есть... По крайней мере я надеюсь, что это так. Коммунист — сионист! Этого еще не хватало!

— Да, — раздался голосок соседки, — только этого и не хватало. Теперь нам придется еще возиться и с сионистами, как будто нам мало социалистов... Но чего смотрит мадам Крюгер?

— Ах, вы не знаете, что это за женщина! Хотя она и не еврейка и обожает Агнессу, но все-таки это не ее дочь... Элизабет сказала мне, что она уважает чужие страсти и что она против рассудительных людей. Потом она выразила надежду, что Агнесса не слишком дорого заплатит за свои убеждения... Да о чем тут говорить, мадам Элизабет Крюгер по-настоящему интересуется только своими морщинами... Какое дело мадам Крюгер до того, что ее названная дочь отправляется в Палестину, чтобы пахать там землю или вступить в израильскую армию? Она так или иначе вернется на свою родину в Швецию, где у нее есть еще полдюжины приемных детей... Она их усыновляет, воспитывает... а потом! Потом она даже не может помешать Агнессе пускаться в такое безумное предприятие!

Саша положил перо. Поразительно! Он правильно расслышал — в этом нет сомнения, — они говорили об Элизабет Крюгер, подруге одного из богатейших людей Европы, который следует за ней по пятам еще с довоенных времен... Элизабет — женщина с большой буквы, которая живет ради любви, но не забывает о драгоценностях. Мишель Виго, тот красавец, убитый в 1940 году в Варндском лесу, потом биржевик Станислав Беленький, блестящий представитель довоенного «всего Парижа», обладатель богатейшей коллекции негритянской скульптуры... теперь этот швед с огромным состоянием... Была еще интермедия с молодым нищим поэтом... она сбежала, бросив шведа, драгоценности, дом. Но потом вернулась. Саша старался вспомнить, что же он еще слышал об этой женщине. Он в первый раз увидел ее вчера в Опере, князь его представил. Больше всего Сашу поразила удивительная ее молоджавость, ее как бы застывшие черты лица... И драгоценности, изумруды... Она была эксцентрична, но в ней не было ничего от роковой женщины, наоборот, она была нежна, мила... Не в Сашинем вкусе, ему больше нравились женщины типа манекенщиц, высокие, вроде этой Ольги Геллер, какая женщина, черт возьми!.. Но он не мог не признать, что в мадам Элизабет Крюгер было что-то бесконечно привлекательное. В этой женщине

был какой-то магнетизм. Значит, Агнесса — та молоденькая брюнетка, которую он видел в театре с Элизабет... Элизабет Крюгер обзавелась дочкой, да к тому же еще и еврейкой! То, что говорилось за стеной, было бы неплохим материалом для большого еженедельника... «Необыкновенная дочь Элизабет, богатейшей в мире роковой женщины». Саша думал обо всем этом, не переставая прислушиваться, чтобы не упустить того, что говорилось за стеной:

— Но если она любит Агнессу, она не захочет с ней расстаться, — не унималась Алиса.

— Ты не знаешь Элизабет! Она со мной разговаривала... так ласково... ее невозможно не любить... Она рассказала мне, что у нее самой никогда не было родины... ее отец был консулом, и, когда она была девочкой, они все время переезжали из одной страны в другую... Она шведка, у нее шведский паспорт, но это ничего не значит... Она посмотрела на меня... знаете, у нее иногда бывает такой взгляд, что ее становится до боли жалко... она мне сказала: «Я человек без родины... Может быть, отсюда все мои несчастья... Меня можно пожалеть... Патриотизм, молодой человек, это то, что объединяет людей, образующих нацию, я же — космополитка, я — непричастная, я — одинокая. То, что я люблю Францию, ничего не меняет... Поэтому, если человек, которого я люблю, хочет обрести родину, я считаю себя не вправе ему мешать!» Подумайте только, она сказала все это мне! Но ведь я-то, я теряю Агнессу из-за этой «родины», из-за страны, которой она никогда не видала! Можете вы мне объяснить, что это за искусственная «родина»?.. Она приедет в страну, в которой ей все будет чуждо — язык, обычаи! Родина — это то, что знаешь лучше всего, лучше всего остального на свете, это то, из чего ты сделан, это воздух, цвет, звук голосов, почва, жители, привычки, запахи, — это то, что вы можете узнать с закрытыми глазами. А Агнесса сама себя ссылает за границу, чтобы найти там родину! Я выкрикнул все это Элизабет, я бесновался, как сумасшедший, меня взорвало! Она смотрела, как я беснуюсь... и ушла, предоставив мне бесноваться. Я ждал, думал, что она вернется, а потом ушел в окно, как она садилась в машину...

— Какое хамство! — сказала Алиса.

— Нет, — раздался бас Ролана, — она уехала, но прислала ко мне Агнессу... Она пришла, красивая... Такая красивая...

— Ролан, прошу тебя, не начинай опять плакать!

— Я не буду... Агнесса пришла... Вы ее никогда не видели, но, клянусь вам...

Саша слушал еще некоторое время, но дальше шли одни только сетования несчастного влюбленного мальчика. Саша вспомнил, что этот же бас читал однажды неплохие стихи русского поэта: «Гренада, Гренада, Гренада моя...» Это было в тот вечер, когда Саша заболел и чувствовал себя очень несчастным. Он устроил тогда скандал, стучал в стену, поссорился со своими молодыми соседями... Когда человек несчастен, он всегда зол, умиротворенно подумал Саша, включая свой новый радиоприемник: музыка услужливо заглушила голоса за стеной. Саша быстро кончил заметку, поспешно оделся, выключил радио — за стеной уже никого не было слышно, значит, они ушли, не пообедав. Саша спустился по лестнице. Он отнесет статью и пойдет в турецкую баню: теперь он мог себе позволить ходить в турецкую баню хоть каждый день. Такси, костюмы, галстуки, радиоприемник, хорошие рестораны... все то, что каждодневно вызывало его зависть и чего он был каждодневно лишен, так же как он был лишен людской симпатии и приветливого отношения, не говоря уже о дружбе...

У Саши не было больше друзей, как в довоенное время, и, может быть, никогда уже не будет... Но с него хватит и просто знакомых, иметь друзей хорошо в молодости, когда у человека еще нет прошлого. Кто бы согласился разделить с ним его прошлое? Слишком оно сложно. Такое прошлое, как у него, годится только для литературы — что им и было доказано! — а в жизни это нагромождение фактов, так называемая жизнь, это его прошлое не содействовало сближению с людьми. Но последнее время то ли из любопытства, то ли из восхищения или снобизма, но с ним вдруг начали обращаться необычайно мягко, любезно, люди с радостью оказывали ему услуги, приглашали его и искали его общества. И в газете тоже — в главной редакции — все были довольны, что один из сотрудников стал известным человеком, которого непрерывно интервьюируют, о котором пишут, говорят по радио; помещают всюду его фотографии, выдержки из его книги... Собратья-журналисты завидовали ему, но так как его известность служила к украшению их профессии, то они пока что не смешивали его с грязью. Впрочем, поскольку грязь была родной стихией Саши и она же была причиной успеха его книги, он мог бы себе позво-

лить вываливаться в ней в свое удовольствие, это только придало бы созданному им персонажу, его герою, еще одну черту, которую все принялись бы с любопытством обсуждать, подводя под нее «научный» базис. Но у Саши этого и в мыслях не было, по правде сказать, он «обуржуазился», хотя и держал это в тайне, чтобы не погубить своей репутации. Конечно, его новоиспеченная респектабельность была весьма относительной, она состояла всего-навсего в том, что он начал интересоваться своей квартирой, порядком в ней, старался не утомляться, меньше пить и не проигрывать больше, чем мог заплатить. Все это еще принадлежало будущему. А для Сашиного блаженства достаточно было и настоящего. Представьте себе человека, который всю жизнь ходил по терниям и вдруг поставил ногу на мягкий цветущий газон. Саша был счастлив! Ему больше нечего было скрывать, все, чего он стыдился, все, что составляло его несчастье, было теперь напечатано черным по белому, и именно этим он заслужил всеобщее уважение и восхищение: все это превратилось в искусство! Саша сравнивал себя с человеком, вылечившимся от ногтоеды.

Сдав статью, Саша прогуливался по залитым зимним солнцем Большим бульварам, где сновала толпа счастливых людей. «Я глупею», — сказал себе Саша. Гуляя, он разыскивал в агентствах недвижимого имущества квартиру себе по средствам. Он бы хотел жить в районе Терн, где селились мелкие буржуа, содержанки невысокого полета, спортсмены — с прослойкой гангстеров и киношников со стороны Елисейских полей и крупной буржуазии со стороны Курсель и Монсо... Было бы неплохо найти холостяцкую квартирку в этом районе. Он предоставит Мишу заниматься его хозяйством. А устроившись, Саша собирался засесть за работу. Ему нравилось писать, литературу он любил больше, чем вино или азартную игру. Он, может быть, даже женится, почему бы нет... Но теперь это дело вполне терпит. Он стал уже почти закоренелым холостяком и чувствовал себя неплохо в этой роли. Важно было писать, и писать хорошие вещи, не давать передышки тем, кто создает репутации: печататься в газетах и журналах, выступать по радио, всюду показываться... За Сашу беспокоить нечего, он сумеет стать своим собственным импрессарио; достаточно он видел на своем веку, как это делают другие, чтобы суметь извлечь из себя самого все, что только в нем имеется. А писать он будет много, очень много. Как только

он найдет себе квартирку, он уедет на юг... Саша очень устал, его издатель требовал, чтобы он давал автографы<sup>1</sup>, как в книжных магазинах, так и при любом представившемся случае — и в Париже, и в предместьях, и в провинции. Это было полезно, но утомительно. Сашу поддерживал только прилив энергии, вызванный счастьем. Мысленно он видел, как перед ним разворачивается вереница удач. Улыбаясь, Саша толкнул дверь агентства.

---

<sup>1</sup> Во Франции последнее время вошло в обычай продавать вновь вышедшую книгу в присутствии автора, с его автографом.

## XXVI

Вот уже больше трех недель Ольга была в отпуске по болезни. Она попросила об этом своего патрона г-на Арчибальда в тот самый вечер, когда ходила к Сержу, чтобы узнать подробности о смерти Фрэнка Моссо.

Ольга собственно не была больна, у нее не было ни жара, ни насморка, ни какой-либо другой болезни, поддающейся воздействию лекарств, оплачиваемых социальным страхованием. Опасные симптомы ее болезни заключались в том, что она начисто забыла все хорошее, что было в ее жизни, и помнила только плохое. Ей казалось, что она осквернена, вся изъязвлена неизлечимыми болячками и ранами. Лицо ее приняло свинцовый оттенок, и она не знала, как ей быть, чтобы не бередить постоянно своих ран. Время для нее остановилось. Она принимала снотворное и подолгу спала, радуясь, если удавалось проспать до полудня или до часу дня... Только бы одолеть время — главного ее врага! Она ходила в театр, в кино с кем попало, даже с Сюзи, которой она объясняла свое нервное состояние переутомлением, даже с Арчибальдом, который был счастлив видеть ее, пусть даже в таком подавленном состоянии... И поскольку Элизабет Крюгер, которую Ольга встретила в Опере, пригласила ее к себе, она приняла и ее приглашение.

В Швеции Элизабет Крюгер жила в родовом доме своего друга, в Венеции у них был маленький дворец с восхитительной мебелью, в окрестностях Канна они снимали меблированный дом, но очень красивая квартира Элизабет в Париже, на острове Сен-Луи, была почти пуста. Не в характере Элизабет было заниматься обстановкой квартиры. Она растратжирила на своем веку несколько состояний, хотя совсем не любила роскошь, — именно это ее полное равнодушие к цене вещей, к деньгам и обходилось столь дорого. В те времена, когда Элизабет жила в маленькой

квартирке на Монпарнасе, она чувствовала себя не более обездоленной, чем теперь, обладая миллионами. Она всегда тратила все, что у нее было, но, когда ничего не оставалось, довольствовалась минимумом.

В доме Элизабет на Острове, в большой комнате, похожей на нос корабля, прямо на полу стояло множество громадных ваз с цветами. Сказочный ковер, широкие диваны, а вместо картин венецианские зеркала в рамах из хрустальных цветов; с потолка, как гигантские букеты, спускались венецианские люстры. Все это очень напоминало квартиру на бульваре Монпарнас, где она жила во времена Мишеля Виго, счастливой и несчастной своей любви, ведь только его она по-настоящему любила... Он был убит на войне. Да, это была как бы та же самая квартира, но в иных масштабах как в отношении размеров, так и великолепия.

День был чудесный — холодный, светлый. Солнце со всех сторон освещало огромную комнату, оно затмило огонь в камине и играло на хрустале и зеркалах, по стенам и на потолке. Ольге нравились и естественная гармония этой комнаты и сама Элизабет, лежавшая среди бесчисленных подушек на одном из диванов и вязавшая шарф.

— Я в отчаянии, — сказала Элизабет, останавливаясь, чтобы сосчитать петли, — Агнесса — моя единственная радость, и я боюсь за нее... Ведь я беспокоюсь, даже когда представляю себе, как она переходит улицу, а теперь Агнесса собирается уехать в страну, где никогда не прекращаются волнения. Меня снедает беспокойство, Ольга, но ведь любишь не для себя.

— А между тем говорите-то вы не о ней.

Элизабет уронила руки-связаньем на колени и подняла на Ольгу глаза:

— Как это зло, Ольга! Ну да, не о ней. Я говорю о себе, чтобы было ясней, какой опасности подвергается она. Если бы я говорила о ней, я бы сказала: Агнесса хочет уехать в Палестину, Агнесса счастлива, что туда уезжает; она живет в мечтах, гордых, надуманных, она воображает, что едет отстраивать свою родину, обрабатывать и защищать землю предков. Если бы я говорила о ней, я бы сказала, что она переживает счастливейший период своей жизни. Вот потому-то я и говорю о себе, Ольга. Ведь я представляю собой разум, благоразумие. Разум и благоразумие всегда мешали молодым людям совершать подвиги...

или, во всяком случае, мешали им надеяться на свершение. Но мы боимся за них, и это разумно, но нелепо.

Ольга не сразу ответила: зачем ей спорить с Элизабет о сионизме? Для Элизабет речь шла об Агнессе, а не о сионизме, да и для самой Ольги сионизм тоже не был насущной проблемой. Теория, которая делит мир на евреев и неевреев... Но, может быть, государство Израиль представляет из себя и нечто другое...

— Почему ваша дочь должна посвятить свою жизнь построению еще одного капиталистического государства, ничем не отличающегося от других капиталистических государств? — рассеянно сказала Ольга и добавила с оттенком юмора: — Там даже есть компартия, как повсюду... Я полагаю, что она борется с сионизмом, в противном случае я окончательно ничего не понимаю.

— Дело совсем не в этом, Ольга, — Элизабет снова принялась вязать, — Агнесе во что бы то ни стало хочется иметь родину. Пока она жила в Швеции, она об этом и не думала. Только с тех пор, как она поступила в школу для подготовки к экзаменам на аттестат зрелости, она почувствовала себя еврейкой: оттого что с ней вместе там учатся девочки и мальчики еврейского происхождения... Среди них есть дети эмигрантов и дети евреев, испокон веков живущих во Франции. Я не знаю, характерно ли это для современной еврейской молодежи или это просто случайное совпадение, но они все оказались сионистами. Вот они и сбили с толку мою Агнессу...

Ольга слушала внимательно, любуясь то склоненной головой Элизабет, то ее взглядом. Все-таки в этой молодости, застывшей на лице Элизабет, как маска, было что-то пугающее... И платиново-белые волосы... Голые ножки Элизабет в экстравагантных туфлях без пятки примостились на бархатном диване, как прирученные птички. Ольга ждала, пока Элизабет кончит считать петли и снова заговорит.

— Они иногда приходят к нам, — сказала наконец Элизабет, — и спорят вечера напролет. Французские евреи... Мне никогда бы и в голову не пришло, что они евреи... я считала их просто французами... И вот, по прошествии многих веков, они перестали ощущать себя французами, потому что во время оккупации французы сажали евреев в концлагеря. Евреи не могут им это простить. И превратились в сионистов.

— А родители?

— Родители в большинстве тоже сионисты, но только теоретически. Они и в мыслях не имеют покинуть Францию и жить в Палестине. А вот молодежь хочет ехать.

— И они верят в бога Израиля? — скептически спросила Ольга.

— Нет, они не верят в бога. По крайней мере те, кого я знаю. Они хотят создать «национальный еврейский очаг», как они выражаются, мне этот их «национальный еврейский очаг», по совести сказать, до смерти надоел, моя милая Ольга... И потом еще: «воссоздать нацию»... ведь все они дети племени, которое унижали в течение многих веков... Они хотят иметь свои законы, свои обычаи, свой язык. Родину.

— Где они смогут нацепить желтую звезду на христиан?

— Ольга! — воскликнула Элизабет, — да что это с вами, моя милая? Вы не любите евреев?

Элизабет бросила вязанье на диван, наклонилась к Ольге...

— Нет, я не антисемитка, — сказала Ольга, — но если евреи тоже станут расистами и начнут делить человечество на евреев и неевреев, то это их приведет к тем же мерзостям, что и многих христиан, — к тем же преступлениям и заблуждениям.

Элизабет опрокинулась на подушки и вытянулась во всю длину на диване.

— До этого им еще очень далеко... — сказала она, глядя на потолок, по которому бегали солнечные зайчики. — Эти дети хотят смыть с себя вековые обвинения... Они не хотят, чтобы их обвиняли в трусости, в предательстве, в любви к наживе... чтобы их всех считали ростовщиками, богатеями... горожанами, которые погрязли в собственных нечистотах. Эта молодежь хочет обрабатывать землю, хочет защищать границы своей страны с оружием в руках...

— И истреблять несчастных арабов...

— И истреблять несчастных арабов, — грустно повторила Элизабет, — Ольга, мы должны понять эту молодежь, которая экспатрируется, чтобы обрести родину. Молодые французы едут туда и будут изучать древнееврейский язык, который для них все равно что китайский... Ведь им не легко покинуть Францию. Но их старшие братья ходили в школу с желтой звездой, и если и находились защитники... учителя, которые объясняли, как к этому надо относиться... и взрослые, которые говорили маленьким, ходившим со

звездой: «Если к тебе будут приставать, скажи, я им набью морду...» — то были и другие. А моя Агнесса! Как только я вспомню... Ее родители жили в этом самом доме, их арестовали... Это было во время большой облавы, 16 июля 1942 года... соседи принесли мне сверток, одеяло, в которое было укутано крошечное теплое существо, мокрое от слез... Она так долго кричала, что потеряла голос! Ей было пять лет... бедной моей птичке... Я увезла ее с собой в Швецию. После оккупации во Франции для многих возродился, по-видимому, иудаизм. Видите ли, Ольга, чтобы человек стал гражданином какой-нибудь страны, требуются две вещи: гражданин должен принадлежать этой стране, а страна должна принадлежать гражданину.

— Это верно, — сказала Ольга, и что-то дрогнуло в ее непроницаемом лице.

Наступило молчание. Зимнее солнце по-прежнему вовсю светило на цветы, огонь в камине, зеркала... Элизабет встала, полы халата распахнулись, обнажив ноги и бедра, и снова ровными складками упали до полу.

— Хотите токайского, Ольга? Рахат-лукум? — От графенного графина по стенам заплясали новые солнечные зайчики. — Если бы вы только знали, какая это восхитительная девочка! Я не могу примириться с мыслью, что она уедет.

Ольга поднесла к губам бокал, отшлифованный, как бриллиант.

— Она же еще не уехала...

— Она уедет.

Элизабет подошла к камину, присела на корточки, бросила в огонь валявшиеся подле газеты и рассеянно глядела, как занимается бумага.

— Восхитительная... — повторила она, — в ней есть что-то очищающее, светлое. Я ни за что не скажу ей: поступи против своих убеждений, утверждай одно, а делай другое.

— Вы могли бы доказать ей, что она заблуждается.

— Нет, не могу. Я не убеждена, что она заблуждается. Вы ее сейчас увидите, она вернулась с урока музыки, я слышу ее шаги в соседней комнате... Если бы вы знали, как я ею горжусь. Вы ведь видели, в Опере все на нее оборачивались.

Агнесса вошла, или, вернее порхнула, к Элизабет...

— Мама! Как я соскучилась по тебе!

Следом за Агнессой появился высокий крепкий юноша с круглым лицом, загорелым, как у человека, только что

вернувшегося после занятий зимним спортом. Под его толстым свитером свободно, как смазанные, ходили сильные мускулы. Он улыбался во весь рот.

— А, вы уже вернулись, Фред... — сказала Элизабет, — вы себе ничего не сломали?

— Ничего, мадам!

— Ольга, вы знакомы с моей Агнессой, вы ее видели в Опере... А это Фред...

Каким образом начался этот разговор? Что бы там ни было, но он начался и был ничуть не похож на обычный салонный разговор. Молодой человек, Фред, уже не походил теперь на откормленного маменькиного сынка. Он говорил, глядя на Ольгу, и говорил, как пророк, как миссионер, который хочет убедить, передать свою веру, обратить в нее. С каким-то высокомерием, гордостью и вызовом он прославлял свое племя и историю еврейского народа. Агнесса глядела на него влюбленными глазами. Элизабет вязала...

Молодой человек говорил, что евреев травили, изгоняли, высылали, грабили, продавали в рабство, распяли, вырезали, уничтожали. Обездоленные, оклеветанные, униженные, истязаемые, пытаемые... они повсеместно стали подвергаться оскорблениям, имя их — символ презрения, тело — мишень для издевательств. Где они — бывшие чудеса? Воды Красного моря не разверзаются, чтобы пропустить преследуемых и прикрыть их отступление. Предвечный забыл своих несчастных детей в жизни, более бесплодной и опасной, чем пустыня. Святая земля, обетованная, желанная — родина! Сколько раз мы возвращались к тебе и вновь и вновь теряли тебя... Родина! Сколько раз тебя топтала война! Родина, управляемая мудрецами, блистательными князьями, великими царями — строителями дворцов и храмов, творцами Великой Книги; опустошенная родина, дети твои вынуждены бежать, и вот они рассеяны по всему свету; а ты превращаешься в проходной двор для армий всех стран, они проходят по тебе, как по коридору, узкому, опасному и длинному, похожему на имя победителя На-ву-хо-до-но-со-ра... Твой народ земледельцев и воинов, о родина, сражается, защищается и нападает, но вот он в плену, в изгнании. Египет, Ассирия, Вавилон, Македония, Рим. Побежденный и раздавленный, задушенный силой оружия, иудейский народ все же возмущается, восстает, отвергает идолов, остается верным закону своего бога. От этого народа берет свое начало новая христианская эра. Иисус —

сын еврейской матери и еврейской религии. Но близится конец иудейского государства, начнутся скитания целого народа: великий исход евреев. Народу, испытавшему все тяготы, неизбежно выпадающие на долю побежденного, вскоре предстоит судьба еще горше.

Ах, как слушала его Агнесса, сидевшая на низеньком стуле перед столиком, заваленным книгами! Она, наверное, уже знала наизусть все, что он говорил, но в его словах звучала для нее поэзия и музыка, и она восторженно внимала своему пророку и божеству. Она слушала его рассказ о том, как семья, развеянное по ветру на все четыре стороны, разлеталось и порождало все новых евреев... Евреев по религии и обычаям, но не по национальной принадлежности. Если бы все обитатели Палестины одновременно ее покинули, то их оказалось бы недостаточно для образования всех тех еврейских общин, которые возникли постепенно по всему миру: закон Моисея нашел последователей в Китае, Эфиопии, Хазарском государстве, в Южной Руси...

Тут Агнесса, как человек, сидящий рядом с пианистом и переворачивающий ему ноты, подала Фреду открытую книгу, он взял ее, не взглянув на Агнессу, как будто она была вещью, и начал читать вслух:

*«...исповедующие иудейскую религию были в Средиземноморском бассейне: среди парфян, мидийцев, эламитов, жителей Месопотамии, Палестины, Каппадокии, Понта, Фригии, Памфилии, Египта, Ливии — в тех ее частях, которые соприкасаются с Киренаикой, среди жителей Рима и его провинций, среди критян и арабов...»*

— Вот с чем, — добавил Фред насмешливо, — не находят нужным считаться расисты.

Он отдал Агнессе книгу и снова заговорил о первых веках новой эры: тогда у евреев были самые разнообразные занятия, они были земледельцами, ткачами, красильщиками, сапожниками, плотниками... среди них были ученые, врачи... великие путешественники, которые занимались торговлей по всему свету и ходили так же, как финикийские торговцы, по суше и по морю на Восток, в Испанию, в Италию, в самые отдаленные страны Азии. Еврейские путешественники отвозили в Испанию рабов, а привозили оттуда пряности, шелка и драгоценности. В то время в ростовщичестве обвиняли финикийских торговцев, а не евреев. Евреи тогда были свободными людьми, их религию уважали, и многие язычники и христиане переходили в иудаизм...

— Вы это уже говорили, Фред,— прервала Элизабет с некоторым раздражением...

Да, он это уже говорил! И он никогда не устанет это повторять... Тон Фреда стал вызывающе дерзким: что представляло из себя христианство в древности? Иудейскую секту... Ничего больше. Фред овладел собой и продолжал свой страстный рассказ уже несколько педантично: да, пока Талмуд не уточнил строго и подробно все обряды иудейской религии, пока христианская церковь не вошла в соревнование с иудаизмом, эти две религии существовали бок о бок, церкви походили на синагоги, христианские гимны заимствовались из иудейских песнопений, у христиан и иудеев были одинаковые пищевые запреты, одинаковые обычаи. И христианским духовным владыкам нелегко было соблюдать границы между иудейской и христианской религией, охранять свою паству... «И тогда,— сказал Фред, повысив голос и скандируя слова,— тогда начали отравлять народы ядом ненависти и с дьявольской хитростью создавать условия, поставившие евреев в такое положение, что их стали повсеместно презирать и преследовать».

— Агнесса,— сказала Элизабет,— дай ему чего-нибудь выпить.

Агнесса налила Фреду вина — она опекала его, как тренер опекает на ринге боксера,— подала платок, чтобы он вытер пот со лба.

— Не знаю, хотите ли вы, чтобы я продолжал?... — Фред пил токайское маленькими жадными глотками.

— Я слушаю вас с интересом,— сказала Ольга,— если остальные не возражают...

— Не ломайтесь, Фред... — Элизабет, видно, не очень-то его жаловала!

— Мама! Пожалуйста...

— Что случилось?

Ничего не случилось, Фред продолжал как ни в чем не бывало. Да, теперь он расскажет о том, как из евреев сделали тех самых людей, которых попрекают именно тем, что они такие!

Уже в первые века христианской эры церковные соборы подвергли евреев жестокому преследованию: им запретили свободно исповедовать свою веру, их поставили под наблюдение курии. Им было запрещено заниматься ремеслами, состоять на службе как у государства, так и у частных лиц, вести судебные дела, они не имели права ни учить, ни ле-

чить христиан, им был закрыт доступ в университеты и в армию. Христианам запретили вступать с иудеями в дружеские сношения, допускать их к своему столу, женитьба иудея на христианке каралась смертной казнью. Евреев поселили в отдельных кварталах, заставили их носить особую одежду, по которой их сразу можно было бы отличить... *Запрещено!.. Вон!.. Только для христиан... Только для белых*<sup>1</sup>, включая и евреев... И им предоставили всего лишь одно занятие: торговлю! На их долю выпало постоянно иметь дело с деньгами, в самых разнообразных формах,— это противопоставляло их бедным людям, нищете. Дьявольская выдумка! Из них делают сборщиков налогов, ростовщиков, откупщиков, запрещают им все другие занятия... Из них делают именно то, за что впоследствии их стали презирать... У оскорбляемых, униженных евреев остается одно только средство защиты и мести: деньги! И они начинают извлекать их отовсюду, где и как могут, начинают добывать их с ненавистью и хитростью, притесняя как богатых, так и бедных. И нет им выхода из этого заколдованного круга: евреи вырождаются, евреи перестают быть великим гордым народом! Окруженные всеобщей ненавистью, осуждаемые, проклинаемые, изгнанные из среды других людей, евреи замкнулись, сплотились, стали искать поддержки только друг у друга, проявляя отчаянную солидарность. Отрезанные от мира, одинокие — одни против всех! И вот эти мужчины и женщины вкладывают все духовные силы в сохранение своих обычаев, своей веры, и когда их пытаются крестить насильно, они проявляют подлинно героическое сопротивление. Под их робостью и угодливостью, которые вызывали отвращение у столь гордых христиан, скрывается железная воля: насильственному крещению они предпочитают смерть, они перерезают себе горло, сами бросаются в приготовленные для их сожжения костры. Но была, однако, эпоха, когда евреи соглашались на крещение, сохраняя в душе верность религии предков... Это случалось под угрозами массовых пыток или выселения из страны, ставшей их родиной,— не все оказывались способными на героизм. Так, в 582 году король Шильперик приказал окрестить всех евреев, проживающих в Париже, а *«если кто-нибудь воспротивится этому приказу, то в наказание — выколоть ему глаза...»* и евреи переходили

---

<sup>1</sup> Нацистские и американские плакаты наших дней.

ли в христианство... Сотни тысяч евреев в средневековой Испании были обращены в христианство силой и под угрозой изгнания из страны, где они уже жили несколько веков... Только отдельные мученики оставались верными иудейскому богу. Папа Григорий Великий писал: *«Когда крестившийся не под благостным воздействием учения и проповеди, а против воли возвращается к своим суевериям, он вновь умирает... Он возвращается к своей блевотине!»* Это были те времена, когда путем крещения евреев переставал быть евреем... Потом наступили времена, когда крещение превращало еврея в предателя по отношению к своим единоверцам, но не уравнивало его с христианами, так как чувства христиан по отношению к выкресту... а в наши дни дело ведь даже и не в религии, а в национальности, не так ли?

Горькая ненависть цвета желтой звезды брызнула из этих слов...

Обязательства, запрещения, обвинения. Ростовщичество, мошенничество, предательство, колдовство, кощунство, ритуальные преступления. Против евреев мобилизуют веру и патриотизм. Про евреев начинают говорить, что они продали свою страну врагам христианства — сарацинам, норманнам, монголам... Еврейских врачей обвиняют в убийствах; евреев обвиняют в том, что они отравляют реки и водоемы... Церковники стали великими мастерами в искусстве унижения человека... Но не лучше ли будет, мадам, ограничиться примерами из дальних времен? Скажем, публичная пощечина на соборной площади в Тулузе. Этой пощечиной отмечали годовщину занятия Лангедока сарацинами, которым евреи открыли ворота Тулузы. Вы скажете, что сарадины никогда не подходили к Тулузе, но разве же это имеет значение? Каждый из трех больших христианских праздников знаменовался пощечиной, которую еврей получал на паперти собора. В пасхальное воскресенье священник, по имени Хьюг, «символической» пощечиной вышиб глаза и мозг наказываемому еврею. Кому после этого захочется исповедовать религию подобных парий? Повсюду в христианском мире евреев стали обвинять во всем, что есть худого в человеческой природе. Уже тысячу лет христианское милосердие мстит за своего Спасителя, который осудил месть. Вот каким образом «они сорвали корону с чела еврейского народа, возложили ее на свою голову и стали его прижизненными наследниками». Это прекрасная цитата

из книги историка Гретца... Да, христиане действительно ограбили нас так, как если бы еврейский народ был уже трупом...

Ольге было грустно, и она чувствовала себя виноватой. Исторические причины, катастрофа, рецидивы все той же болезни. Гибель целого народа. И не одного только этого народа. Она смотрела на юношу, на девушку... Откуда, из какого средневековья появились они? Он — это принц Саул! А Агнесса? Ее пылкость, должно быть, испанского происхождения, да, несомненно, испанского... а на диване, уронив вязанье на пол, лежала Элизабет, молчаливая и далекая.

В течение веков проповедовали ненависть, продолжал Фред, ненависть искусственную, деланную, которая никогда не возникала сама по себе... Но когда народная ярость разразилась, ее никто уже не мог бы остановить, ни епископы, ни короли; волна крестовых походов прокатилась по миру. Христиане грабили все, что им попадалось на пути, когда же им встречались евреи, тогда началось избиение: они мстили за гроб господень, оскверненный варварами... Повсюду евреев терзали, как собаки на охоте терзают затравленную ими дичь. Евреев истребляли.

Фред встал с дивана, куда он присел рядом с Агнесой, посмотрел в окно и снова сел на диван...

— Мадам, я не буду больше рассказывать вам о мучениях еврейского народа... Я и так злоупотребил вашим терпением. Все это затрагивает проблемы, которые я слишком горячо принимаю к сердцу, простите меня... Вы задали мне вопрос: почему — Палестина, разве мы не французы, я и Агнесса?.. Вы очень правильно отметили, что дело идет о принадлежности к нации, а не о национальном происхождении. Да, мы французы, а между тем любой француз, только потому, что он христианин, хотя он не верит ни в бога, ни в черта, может обозвать меня жидом! Я могу разбить ему морду, сил у меня хватит, но не будет ли это, как принято говорить, индивидуальным решением задачи? Вы говорили также о том, что извечное преследование евреев — одна из тех проблем, которые разрешаются вместе с другими проблемами, препятствующими построению социализма... и что повсюду в мире еврей-капиталисты прекрасно уживаются с капиталистами неевреями. Вы говорили о пролетарском интер-

национализме... Ну что ж, поговорим о пролетарском интернационализме!.. Во все времена на всем земном шаре чернь громила евреев — и пролетариев и остальных! Вы скажите, что духовенство, реакционные правительства травлили эту чернь... Но расплачивался-то за это еврейский пролетариат! Он расплачивался также и за басни о том, что все евреи — ротшильды... а сколько в мире богатых евреев, скажите, пожалуйста? Евреи — нищий народ, состоящий из рабочих, лавочников, мелких ремесленников, и все они заботятся больше всего не о деньгах, а о духе, о культуре, о знаниях... Для евреев человек не тогда «сделал карьеру», когда он разбогател, а тогда, когда он сумел заняться свободной профессией... А для тех евреев, которые еще сохранили веру, существует Талмуд, который один поэт назвал — «Книга-Храм». Талмуд писался веками, и для евреев, отовсюду изгнанных, он стал убежищем и родиной... Мы древнее племя, мадам, для которого испокон веков главенствующими являются духовные запросы...

— Почему вы не отвечаете, Ольга! — сказала Элизабет. — Мне бы хотелось, чтобы вы ему что-нибудь ответили...

— Еще один вопрос!.. И я передаю слово мадам... Ведь вы коммунистка, мадам? Почему же вы тогда отказываете нам в праве иметь свою родину, ведь у всех людей есть родина?

— Что это, — спросила Ольга, — разве мы с вами участники дискуссии, старающиеся передернуть слова друг друга? Кто же вам отказывает в родине? Разве у вас, у французских евреев, нет родины? А Франция? Вы можете исповедовать свою веру, вас никто не ущемляет, ваши гражданские права не ограничены никакими статьями...

— Да, но в случае чего меня все-таки обзовут жидом! — взволнованно сказал Фред. — Во Франции тоже есть антисемиты! И даже у вас в партии они есть...

— Это верно, — сказала Ольга, и похоже было, что она говорит сама с собой. — Антисемитизм — заразная болезнь, и когда думаешь, что человек уже излечился, иногда наступает рецидив, и все начинается вновь... Мы считаем, что антисемитизм — современная форма каннибализма, но слова эти теряют смысл, когда тот, кто их произносит, сам каннибал... В этом Фред прав. И коммунисты не всегда бывают «на высоте»... Я хочу сказать —

на высоте коммунизма,—Ольга закрыла глаза, сжала губы.— Но на свете существует не только антисемитизм... Это неверно. Не все люди чудовища.

Она замолчала, остальные ждали...

— И все-таки...— продолжала она, открывая глаза и повернувшись к Фреду,— послушайте, молодой человек, во время оккупации вы были ребенком... Однако вспомните, ведь во время оккупации существовала не только «желтая звезда», были еще все те, кто с ней боролся, французы, которые спасали евреев и еврейских детей, образуя цепочку... Особенно детей, передавая их с рук на руки до тех пор, пока они не оказывались в надежном месте... Соседи, консьержки, прохожие... Христианка Элизабет в день большой облавы спасла Агнессу, которую принесли к ней соседи; Агнесса прошла через много рук... Элизабет оставила у себя ребенка, а если бы она отказалась, соседи остановили бы на улице первую встречную женщину, просто женщину с человеческим лицом, и она взяла бы ребенка и спрятала бы его... Вы это знаете, вы это прекрасно знаете... Сколько евреев было спасено благодаря чуду человеческой солидарности!

Элизабет, сжав руки, с набожной надеждой слушала Ольгу, вот теперь она говорит то, что, может быть, может быть... Ольга продолжала:

— Да, «желтая звезда», я знаю, я видела... Но это же фашизм, а вы ведь прекрасно знаете, мосье, что такое фашизм! Евреям это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было. Но нет! Есть ведь и такие евреи, которые, подобно вам, превращают фашизм в чисто еврейскую проблему. Подумайте о ваших соотечественниках, отдавших здесь, во Франции, свою жизнь в борьбе с фашизмом и, между прочим, с «желтой звездой»... Ваши соотечественники французы, евреи и неевреи. Потому что вы француз, мосье, что дано не всем. Например, я... Как бы я ни любила Францию, я никогда не буду французенкой... Я родилась в другом краю. Но дело не в этом. Я просто стараюсь понять... Может быть, вы этого и не сознаете, но когда вы окажетесь там... Не будете ли вы плакать, вспоминая парижское небо, парижские дома, французские пейзажи... Вы еще не знаете, бедный, что с вами станется! Вы не верите, что существует тоска по родине... Хорошо... Но как вы поступите с французской культурой, с вашей культурой? Вы говорите, как фран-

цуз, ваше прошлое — Франция. Посмотрите на себя, вы больше похожи на француза с юга Франции, чем на еврея. Как вам удастся, мосье, отделаться от инстинкта, привязывающего нас к стране нашего детства, к ее пейзажу, отделаться от нежности и умиления, испытываемого нами перед первыми услышанными звуками, увиденными вещами... всем тем, чему нас не учили, что является частью нас самих... У вас нет иностранного акцента, вы родились здесь, Франция ваша родина, нельзя быть иностранцем в стране, которую вы знаете как свои пять пальцев. Вы француз даже в мелочах... Вам присуще особое чувство юмора, вы смеетесь над тем, над чем смеются только французы, как в семье, где есть свои анекдоты, свой язык...

Вдруг Ольга страшно покраснела. Если другие и заметили это, они не поняли причины: они не знали, что перед ними молчаливица, которая разговаривала обычно только сама с собой, и что она просто забыла, что сейчас она не одна. Глухо, стараясь свести на нет это свое «выступление», Ольга сказала вполголоса:

— Человек, который только и думает о том, чтобы уехать, найти другую родину — уже не здешний... Время, которое вы отдаете мечтам, уже потеряно для вашей родины — Франции, мосье!.. Разве вы считаете, что угроза фашизма перестала довлеть над нами?.. Я хочу сказать — над Францией?..

Последнюю фразу, поправку, она почти прошептала...

— Но, мадам, — воскликнул Фред в отчаянии, — ведь на свете существуют не только французские евреи! Вам должно быть знакомо чувство солидарности, объединяющее людей, которые подвергаются преследованиям! Во время оккупации вы держались плечом к плечу перед врагом... И у нас, у евреев, разбросанных повсюду, тоже есть свой идеал! Может быть, он и окажется скоропреходящим, может быть, мы и ошибаемся перед лицом вечности... Но я лично не хочу зависеть ни от жалости, ни от чьего-либо великодушия. Никто не осмелится назвать меня жидом у меня дома, на моей родине, в Израиле. Мы аристократическая раса, наша аристократия — древнейшая в мире...

И он принялся развивать эту мысль. Ольга же, глядя на красивого, красноречивого юношу, думала, что если он и поэт, то только взбравшись на эти котурны... Его

поэма написана сейчас на заданную тему, и возможно, что с годами он не раз ее сменит.

— Вот видите,— сказала она мягко,— до чего вы дошли, вы хотите тягаться с христианами голубизной крови, вместо того чтобы сказать себе, что в жилах у всех людей течет одинаковая красная кровь. Когда вы видите евреев с улицы Розье<sup>1</sup>, евреев Бельвиля<sup>2</sup>... Когда вы их видите... Отдали бы вы за них свою красную или голубую кровь? Вот в чем вопрос... Я хочу верить, что вы сионист во имя всего еврейского народа... Но если по-вашему кровь не одного и того же цвета у всех людей, если все дело в касте, чтобы не сказать в классовой принадлежности... Сумеете ли вы построить в Израиле человеческое общество?

— Нет! Дело не в этом...— Фред почти кричал.— Не будем затрагивать этих вопросов... Оставим, если хотите, голубую кровь! Скажем, что это имеет значение только для истории...

Фред отхлебнул большой глоток токайского, провел рукой по своим блестящим волосам. Наблюдая за ним, Ольга подумала, что заливать огонь опасно. Ведь бывает и так, что пожарные губят то, что еще уцелело от пожара.

— Агнесса — сефардитка,— сказал Фред размеренным голосом,— ее предки пришли во Францию из Испании: сефардиты — это испанские евреи; что касается меня, то я провансалец, вы угадали... Моя семья с незапамятных времен живет в Провансе, может быть, она поселилась там вскоре после диаспоры, во II веке христианской эры... Когда итальянцы изгнали евреев, посадив их на корабли без руля и ветрил, некоторые из этих кораблей прибило к берегу в Марселе. Агнесса, наверное, родом из Гренады, ее фамилия — Негрела — заставляет предполагать, что ее предки были андалузскими евреями.

Наступило молчание, полное отзвуков... Оно затягивалось... Фред рассматривал алмазную шлифовку своего бокала и пускал по стенам зайчики. Вдруг он улыбнулся ребячливой улыбкой, и Ольга подумала: ведь в конце концов он еще мальчик.

— В XII веке,— сказал он,— споры между иудеями

---

<sup>1</sup> Улица в Париже, где большинство лавок — еврейские.

<sup>2</sup> Бельвиль — рабочий район Парижа, где живут также еврейские эмигранты.

— Последней перешла в руки христиан Гренада. И тут же появился королевский приказ, повелевавший всем евреям покинуть Испанию. Это произошло 31 марта 1492 года. Евреи не хотели уезжать, они цеплялись за землю, которую любили, на которой жили веками... Но чтобы принудить их уехать, был издан закон, гласивший, что укрывательство еврея или просто милостыня, поданная еврею, караются смертной казнью. Тогда евреи, поклонившись праху предков, покоившихся на кладбищах, покинули свою испанскую родину, сохранив ее язык и надежду когда-нибудь вернуться туда. Такова, мадам, печальная история сефардитов, испанских евреев!

Фред хотел встать, но Агнесса глазами указала ему книгу на столе... О, они были подходящей парой, уже сейчас они понимали друг друга с полуслова, им достаточно было обмениваться взглядом; Фред взял книгу...

— Если вы разрешите, мадам, я прочту вам несколько строчек из Мишле... Об изгнании испанцев, испанских евреев той эпохи...

— Прошу вас...

Фред отыскал страницу:

— «Это было ни с чем не сравнимое событие, начиная от альбигойского крестового похода и кончая изгнанием протестантов Людовиком Четырнадцатым. Протестанты, бежавшие из Франции, были сочувственно приняты в Англии, Голландии, Пруссии и других странах. Но евреев, бежавших из Испании в 1492 году, повсюду ожидало несчастье, столь же страшное, как то, от которого они бежали. В варварских странах их продавали в рабство; вспарывая им животы, искали золото в их внутренностях. Многие евреи бежали в Атлас, где были сожраны львами. Другие болтались между Европой и Африкой, Африкой и Европой, и наконец в Португалии их постигла такая судьба, которая была пострашнее львов пустыни».

Фред положил книгу и тихо добавил:

— Вот так же и предки Агнессы проехали, может быть, через Арагон к морю и добрались до Прованса, остановившись на время в Авиньоне... Потом они снова тронулись в путь и обосновались в Генуе, и только в XVIII веке семья Негрела вернулась во Францию, потому что в 1789 году во Франции испанским, португальским и авиньонским, а впоследствии и парижским евреям были

предоставлены активные гражданские права. 28 сентября 1791 года было постановлено, что каждый человек независимо от цвета кожи и религии получает во Франции права, даруемые конституцией, если сам будет соблюдать ее требования. И евреи любили Францию... Францию, свою родину! Которая во время оккупации вернулась к средним векам!

Фред замолчал. Элизабет встала, потянулась... зажгла и снова погасила электричество — было еще слишком рано...

— Бедный Иисус, — сказала она, — сколько зла делается во имя твое... А ты хотел только добра. Но в конце концов, когда будет произведен подсчет... То же самое с коммунизмом: в конце концов окажется, что и свое вернули и многое выиграли.

— Мама всегда оперирует астрономическими цифрами... — Агнесса наклонилась и поцеловала Элизабет руку: — Можно нам уйти, мама, нас ждут...

— Можно, — сказала Элизабет хмуро. — Вы могли бы по крайней мере поблагодарить мадам Геллер.

Фред поднял голову, как собака, делающая стойку, и с любопытством поглядел на Ольгу.

— До свиданья, мадам, — сказал он и вдруг решился: — Простите за нескромность... Ведь Геллер — это еврейская фамилия?

— Да, если хотите.

— Как глупо! А я разговаривал с вами, как...

— Пожалуйста, не будем углублять этого вопроса. Будем считать, что я «обращенная»...

Он не посмел настаивать и, сказав еще раз: «До свиданья...» — вышел вслед за Агнессой.

Солнце последовало за ними, и сумерки пригасили блеск и яркие краски комнаты.

— Дни стали короче, — Элизабет, стоя, складывала свое вязанье. — Вот уже и потемки. Вы видели? Что мне делать?

Она подошла к Ольге и вдруг стала перед ней на колени:

— Ольга, я скажу вам невероятную, невозможную вещь... Пока вы разговаривали... безумная мысль пришла мне в голову. Они уедут, и там, наверное, случится... у нее будет от него ребенок... и вот, кто знает... В каких это произойдет условиях и чего стоит этот юноша, разве

можно что-нибудь предугадать. Бывают моменты, когда мне хочется взять Фреда за шиворот... Я потеряла ребенка при родах. Если бы у меня был ребенок... Ах, Ольга, я была бы другой женщиной, я не была бы несчастной странницей...—Элизабет подняла полные слез глаза, трагический взгляд «скорбящей богоматери».—Олаф не оправился после этого горя. Он стал... странный... трепещущий... Я не хочу, чтобы такое стряслось с моей девочкой. Ольга, я хочу вам сказать одну безумную вещь: может быть, вы поехали бы с ними, чтобы она не была там совсем одна? Это ведь просто путешествие, как любое другое... Я видела, что вы ей понравились... Вы бы ей сказали, что едете туда для изучения чего-нибудь, они настолько поглощены своей страстью, что поверят всему. Для меня это невозможно, они не допустят... Я знаю, такая просьба—безумие, но я всегда верила в безумие...

Ольга молча закрыла глаза... Фрэнка не стало; работа—невыносимая скука, рвотное; Арчибальд!.. Один его вид... После смерти Фрэнка осталась незаживающая рана, через которую утекала вся энергия Ольги, вся ее воля. В конце концов она согласится на предложение того миллиардера, которого Арчибальд привел к ней в контору, она согласится принять его яхту, его хорошо сохранившиеся мускулы шестидесятилетнего мужчины и его сердце, которое, видимо, бьется только для нее. Она чувствовала себя навсегда опустошенной, совершенно обессиленной. Агнесса и этот молодой буржуа... Палестина!

— Нелепость,—сказала она громко и внятно,—в вашем предложении, Элизабет, меня больше всего привлекает его совершенная нелепость. Мне кажется, что я не пойду против своей судьбы, если соглашусь.

## XXVII

С того дня, когда Ольга согласилась, или по крайней мере не отказалась, сопровождать Агнессу в Израиль, она часто виделась с Элизабет. Приближалось рождество, и Элизабет покупала подарки, а у нее это принимало грандиозный размах... Ольга позволяла Элизабет водить себя всюду, куда той вздумается,— в магазины, в рестораны, на выставки, к портнихам и шляпницам. Элизабет, ничего не делая, вечно была безумно занята, в беспорядочность своего существования она вносила одной ей ведомый порядок; она считала себя ответственной за то, за что совсем не отвечала; заботилась, чтобы всем вокруг нее было приятно и хорошо. Все это создавало атмосферу, в которой было легко жить. Легкость исходила от самой Элизабет, от ее «притягательной силы», от ее желания и умения находить радость в любых пустяках, хотя радость эта и прикрывала разверстую бездну отчаянья. Для Элизабет счастье было проволокой, на которой она балансировала с необыкновенной ловкостью... Настолько, насколько что-либо могло еще быть полезно Ольге, близость с Элизабет была ей полезна. Время, простиравшееся перед Ольгой, как бесконечная и однообразная песчаная пустыня, было теперь размечено действиями Элизабет. Это не мешало Ольге думать с горькой тоской, что если можно скоротать ожидание определенного дня или часа, то когда вообще ничего не ждешь...

Со своей стороны Элизабет находила приятным общество Ольги. Она была подвержена страстным увлечениям. В данный момент она обожала Ольгу, видела в ней одни только достоинства и всем своим поведением выражала постоянную и глубокую радость от общения с ней, оттого, что она ее видит, слышит ее голос. В этом, между прочим, была одна из причин, почему все обожали

Элизабет: она умела восхищаться людьми с таким увлечением, что те, кем она восхищалась, даже если это были очень скромные люди, в конце концов начинали задавать себе вопрос, уж не заслуживают ли они и в самом деле такого восхищения. Кроме того, Ольга ведь согласна была сопровождать Агнессу в Палестину.

Было решено, что Агнесса улетит после экзаменов на аттестат зрелости. Это было единственным требованием матери. И оно обсуждалось так, как будто о главном, об отъезде Агнессы, они договорились и оставалось только решить вместе, как лучше обставить этот отъезд. Агнесса была счастлива, жизнь широко раскрывалась перед ней, а тут еще приближались праздники, каникулы, Фред был с ней, их ожидали джаз, каток, кино, театр, друзья... Они много танцевали, редко в дансингах: эти дети из «хороших семейств» предпочитали ходить друг к другу, где они включали радиолу и вкусно ужинали. Любви было столько, что в ней можно было утонуть, Фред и Агнесса погружались в нее, как в родную стихию, едва снисходя до окружающих, до их любвишек... Элизабет даже пришлось несколько раз напомнить Фреду, что не пристало ему держать себя пророком. Она умела иногда ранить людей до крови...

— Я не возражаю, мой друг,— говорила она Фреду,— против ваших воззрений, но не взбирайтесь на них, как на пьедестал. Вы ничего нового не открыли, всего лишь примкнули к определенным убеждениям. В чем же ваш подвиг?

Только Элизабет могла себе позволить делать Фреду замечания. Она импонировала Фреду, он был снобом, и ее репутация и биография восхищали его, так же как его восхищало ее безразличие к тому, что о ней могут сказать, ее естественная, органическая оригинальность и эксцентричность. И он сбавлял тон и пытался не так откровенно кичиться своими убеждениями. Агнесса тоже заразилась от него... «Они скоро станут невозможными!»—говорила Элизабет Ольге и просила ее в случае чего не церемониться с этими детьми. Они оба так восхищаются Ольгой, так счастливы, что она поедет с ними в Палестину... Они поверяли Ольге свои секреты: как только Агнесса сдаст экзамены, они поженятся. Агнесса не хотела заранее говорить об этом Элизабет, потому что она была суеверна и боялась загадывать, чтобы

не провалиться на экзаменах. Фред учился в Высшей дипломатической школе, но собирался бросить ее, как только они смогут пожениться и уехать... Спешить особенно некуда, Агнесса ведь так молода, ей нет и семнадцати, а ему двадцать два... Его отец, промышленник, ничего не будет иметь против их отъезда в Палестину, полагал Фред... мать тоже, она умная женщина, у нее своя жизнь... собрания, лекции, благотворительность... Ольга стала поверенной всех тайн Агнессы и Фреда.

Элизабет хотелось бы засыпать Ольгу подарками, но она не знала, чем можно доставить Ольге удовольствие, ведь у нее не было ровно никаких желаний! Тогда Элизабет решила подарить Ольге то, что доставило бы удовольствие ей самой. Она повезла Ольгу к своему сапожнику — у Элизабет была страсть к хорошей обуви. Когда-то Станислав Беленький, еще в тот период, когда он не был ее мужем, заказал этому самому сапожнику по слепку с ноги Элизабет целый набор туфель и отправил их ей в специально сделанном для этой цели чемодане.

— Мадам Крюгер! — воскликнула продавщица. — Мы уже думали, что вы нас забыли! Что вы нам изменили... Я сейчас позову мосье Тавиана... Мы как раз говорили о вас за завтраком...

Продавщица побежала за г-ном Тавианом. В магазинчике, кроме кресел и ковров, были только подставки из резного позолоченного дерева, на которых, как редкие цветы, стояли самые разнообразные модели обуви. Элизабет с загоревшимся взглядом, издавая легкие восклицания одобрения, покачивая головой, разглядывала эти образцы.

Появился г-н Тавиан, пожилой человек, невысокий, плотный, хорошо одетый... Красивая голова, гладкое лицо с правильными чертами, прямой нос, прямой лоб, черные, слегка седеющие волосы. Красивый мужчина и держится с достоинством. Он почтительно поклонился г-же Крюгер, потом улыбнулся — зубы у него были белые и ровные — и сказал с легким акцентом:

— Мы счастливы вас видеть, мадам...

Элизабет порывисто протянула ему руку.

— Мосье Тавиан! Я приехала повидаться с вами и заказать обувь для моей приятельницы...

Г-н Тавиан склонился перед Ольгой. Ольга слегка растерялась.

— Я должна заказать себе обувь, Элизабет?

— Это будет моим рождественским подарком! Я хочу, чтобы мосье Тавиан сделал вам самые лучшие из всех туфель Франции и Наварры!

Г-н Тавиан тотчас же стал на колени, чтобы снять мерку с ноги Ольги, а две продавщицы и кассирша, расплывшись в улыбке, наблюдали, как он это делает. Элизабет ходила по магазину, выбирая подходящие для Ольги модели, в то время как сама Ольга рассеянно думала о том, что, если бы в один прекрасный день она не купила белых туфель на низком каблуке, в которых шов натер ей ногу, все могло бы оказаться иначе и Фрэнк, возможно, был бы еще жив.

— Мосье Тавиан, — сказала Элизабет, садясь в кресло рядом с Ольгой, — Агнесса меня покидает, она хочет ехать в Палестину.

Обводя ногу Ольги, стоявшую на листе бумаги, г-н Тавиан сказал, не поднимая глаз:

— Мадемуазель Агнесса стала взрослой девушкой... Но не надо отпускать ее, мадам, она все-таки еще ребенок...

— И вы тоже так думаете, мосье Тавиан?.. А между тем вы бы должны были ей сочувствовать, я часто слышала, как вы говорили о своей матери-родине, которую потеряли...

Не поднимая глаз, г-н Тавиан ответил:

— Армения, мадам Крюгер, родина, которую не надо разыскивать в Библии... Я хотел бы вновь обрести ту родину, где я родился и откуда меня изгнали.

— Значит, вы против сионизма, мосье Тавиан?

— Сионизм — не разрешение еврейского вопроса...

Ольга с удивлением подняла голову и посмотрела на г-на Тавиана: откуда у этого армянина, модного сапожника, точка зрения на сионизм? Но надо было выбирать обувь, и Ольге едва удалось уговорить Элизабет не заказывать ей целую дюжину туфель. Пришлось все же согласиться на несколько пар, ничего нельзя было поделаться. Элизабет заказала и себе, выбрав самые экстравагантные...

— Когда я создаю модели, мадам Крюгер, я думаю о вас, — сказал г-н Тавиан. — Вашим заказом сейчас же займутся. Но мне хотелось бы примерить вашей приятельнице хотя бы одну пару. Я тогда лучше уяснил бы себе...

— Может быть, вы зайдете ко мне, мосье Тавиан? В субботу, если вы свободны. В пять часов, на чашку чая... Агнесса будет так рада вас видеть, мосье Тавиан!

— С удовольствием, мадам...

Ольга сказала, что она свободна в субботу, она свободна в любой день, и если Элизабет хочется, чтобы она пила чай с мосье Тавианом, она будет пить чай с мосье Тавианом.

В машине, которую она сама вела, Элизабет заговорила о г-не Тавиане. Она знала его еще до войны, это — лучший сапожник Парижа, она любит заказывать у него, он хорошо воспитан и знает свое дело. Художник и мастер, каких теперь уже не осталось. Война, оккупация... до чего они довели этого модного сапожника, такого воспитанного человека! Он скрылся из своего магазина, вступил в ячейку Сопротивления, был схвачен и в конце концов отправлен в лагерь — в Германию: он входил в группу Манушьяна, из которой двадцать три человека были расстреляны...

Большая американская машина Элизабет повиновалась малейшему движению ее руки и, казалось, могла бы повернуться на острие иголки, если бы Элизабет этого захотела. Светофоры и заторы не раздражали Элизабет, за рулем она всегда была терпелива и довольна...

— Вы видели этого человека, — говорила она, скользя вокруг обелиска с такой легкостью, как будто у нее были глаза со всех сторон, — можете вы представить его себе с фальшивым паспортом, на тайных собраниях, ночующим где попало, под открытым небом? Чтобы поверить этому и понять, как такое могло случиться, надо вспомнить, что он бежал из Турции в 1915 году во время резни армян... у него убили всех — и родственников и друзей.

Набережная Тюильри была запружена машинами на всем протяжении. С приближением праздников население Парижа, казалось, удвоилось, и, должно быть, все высыпали на улицу, несмотря на холод. Элизабет, спокойно положив руки в перчатках на руль, повернулась к Ольге: им придется постоять некоторое время...

— Помните ли вы, Ольга, речь Гитлера, в которой он приказывал эсэсовцам убивать на польском фронте всех: мужчин, женщин, детей... Объясняя, почему это необходимо, он подчеркивал безнаказанность такого истребления:

«Кто вспоминает сейчас о том, как турки вырезали армян?» Мосье Тавиан рассказывал мне об этой резне... Тогда было уничтожено свыше миллиона армян. Мосье Тавиан один из спасшихся... Младотурки и Гитлер для него, как и для всех, связаны единой цепью преступлений...

Машины тронулись, снова остановились...

— Вот почему этот спокойный и уравновешенный человек стал бойцом Сопротивления, Робинот Гудом... Его арестовали, отправили в Германию, и он три года провел в концлагере. А сейчас он таков, каким вы его видели. Но знаете, что с ним еще случилось? Его выслали из Парижа в одну из центральных областей под надзор полиции... Подумайте, Ольга, мыслимо ли это! Но есть вещи, которых они не могут предвидеть...— Элизабет включила газ, машины, тесня друг друга, помчались наперегонки.— Мосье Тавиан — человек удивительный, и вся деревня полюбила мосье Тавиана — кюре, кумушки, лавочник и ребятишки... Дошло до того, что предпочли перевести его в другое место. Куда-то возле Гренобля. У него совсем не было денег: семья большая, и он ведь не хозяин магазина, а только модельер...

Прерываемая остановками и рывками, Элизабет рассказывала еще, как г-н Тавиан искал работу, как он был вынужден стать мусорщиком, потому что податься было некуда. И каждый день он должен был являться в полицию — на отметку... А в это время в Париже объединение участников Сопротивления собирало подписи, хлопотало о возвращении Тавиана в Париж. Сообщили мэру города, где находился Тавиан, кто он такой... Мэр сам был участником Сопротивления, он пригласил Тавиана к себе, тот очаровал мэра, который рассказал о нем префекту. Местные участники Сопротивления все как один объединились на защиту Тавиана, организовали с префектом во главе грандиозный митинг, на котором выступали и префект и Тавиан! Пришлось вернуть Тавиана в Париж!

— Вы его видели, — повторила Элизабет, — и вот такой, какой он есть, он обязан каждый месяц являться в полицейскую префектуру, у него нет никакого прочного документа... паспорта или удостоверения, не знаю, как это там называется... Так он и живет на временном положении, под постоянной угрозой высылки. С большой семьей и с туберкулезом, заработанным в концлагере. Ни минуты покоя... Но если завтра ему скажут: надо ехать сражаться

за Армению, он немедленно уедет — раз «родина-мать» его призывает... Он жаждет вернуться в «колыбель армян», откуда его выгнала резня, организованная турками. В общем у армян один язык с евреями... «Национальный очаг» и прочее и прочее...

Значит, Элизабет только и думает что о евреях? Она думает об Агнесе, обо всем, что относится к Агнесе. Ей хочется, чтобы Ольга поехала сейчас к ней, потому что у Агнессы уже начались каникулы и она дома, где украшают рождественскую елку. Нет, Ольга устала, ей надо отдохнуть... Весь этот шум, запруженные улицы, по которым невозможно проехать, лица людей, пестрившие вокруг, так же как и машины, весь этот предпраздничный разгул, в который Ольга не могла включиться... Она чувствовала себя усталой, очень усталой. Элизабет высадила ее перед «Терминусом».

Но поднявшись в номер, Ольга не знала куда себя девать. Она разделась, долго сидела в ванне, попыталась заснуть, но это ей не удалось... Встала, тщательно оделась. Переменила платье, причесалась по-другому. И все еще не было восьми часов. Чем заполнить время? Бесполезно было перебирать в памяти знакомых и друзей, ей никого не хотелось видеть. Она достала из шкафа чайник, приготовила чай, выпила чашечку, погрызла печенье. Опять села к зеркалу, навела красоту. Без четверти девять. Может быть, пойти в кино? Одной? Да, одной. Она надела шляпу, сняла, снова надела. Она пойдет пешком, потихоньку, на улице холодно, но не слишком... Лучше надеть меховое пальто. Да. Новое, совсем новое котиковое пальто. Это Элизабет заставила Ольгу купить шубу, хотя ей совершенно не нужна эта красивая шуба. Теперь у нее есть шуба, но нет денег — придется вернуться к мосье Арчибальду. До отъезда в Палестину. Нелепая, безумная затея... Ольга надела котиковую шубку, закрыла за собой дверь комнаты. Глупо было выходить из дому в такой час; если бы она легла, может быть, ей удалось бы заснуть. Ольга выбилась из колен из-за сновторных... Принимая их в огромных дозах, она часто лежала ночью без сна — и это были самые тяжелые часы, а днем она порой находилась как бы в полусне. Заперев дверь, она медленно пошла по коридору, все еще колеблясь: не вернуться ли ей.

Даже встреча с Дювернуа в вестибюле отеля не доставила ей того развлечения, которое иногда приносит гнев. Она увидела его сверху, спускаясь с лестницы под взглядами всех тех, кто сидел в вестибюле песочного цвета, ожидая кого-либо, или за стаканом вина, или с газетой. Лестница была на виду у всех, как сцена; Ольга, закутанная в меховое пальто, медленно спускалась по ней.

— Только в Париже встречаются такие женщины,— сказал по-английски какой-то иностранец французу, с которым он пил послеобеденный кофе. Француз оценивающее взглянул на Ольгу и скромно признал, что даже в Париже не часто встречаются женщины с такой осанкой.

Дювернуа тоже наблюдал, как Ольга спускается с лестницы. Но он ждал не ее, а одного друга, который был проездом в Париже... Ольга направилась прямо к Дювернуа, он встал.

— Вы меня ищете? — спросила она.

— По правде говоря, нет... я жду приятеля. Но вам стоит сказать одно лишь слово...

— Идемте.

Дювернуа вышел следом за ней.

— Моя машина в двух шагах.

Он отвез ее в бар, где была полутьма и мягкие кресла.

— Вы больше на меня не сердитесь?.. Я очень хотел бы, чтобы вы не сердились.

— Мне надо как-нибудь убить время...

Ему показалось, что она держится не столько вызывающе, сколько странно... Иногда людей поражает, что птица не улетает при их приближении, оказывается — она ранена и не может улететь. «Я мог бы,— думал Дювернуа,— держать ее на ладони, как раненую птицу, мог бы чувствовать биение ее сердца».

— Откровенно говоря, мадам,— сказал он,— вы сейчас интересуете меня совсем с другой стороны, чем тогда, когда мы с вами виделись в последний раз... Вы подруга Элизабет, вы сейчас — ее любимица. Вас часто видят вместе. Если вы этого еще не знаете, то доведу до вашего сведения, что я люблю Элизабет. Скоро месяц, как я встретил вас с ней в Опере... Вы слышали, как она обманула меня, сказала, что завтра уезжает и тут же назначила вам свидание на следующей неделе. Я не знаю существа более жестокого, чем Элизабет. Она мучает меня, как ребенок, отрывающий крылышки у мухи.

— Я этого не заметила...

— Да, крылья не ваши...

— Кончили вы свой роман об эмигрантах?

Она не хотела говорить с ним об Элизабет.

— Нет... я написал другую вещь... новеллу. Роман об иностранцах не получается. Ведь вот и вы отказались мне помочь.

— Я не могла вам помочь. Я не то, что вам нужно. Вы хотели начать с меня. Это была ошибка, неудачный выбор. Вы не нашли другого предмета для изучения?

— Я не искал. Я уже один раз обжегся... Что мне нужно? Я и сам не слишком ясно себе представляю. Я могу писать только о том, что имеет отношение к Элизабет, только о том, что как-то связано с ней. Она иностранка... Однажды она пожаловалась мне, что у нее нет родины... Каждое слово, сказанное Элизабет, записано во мне несмываемыми чернилами. Я хотел описать несчастья людей, не имеющих родины. Но я начал с вас. Невезение.

— Нет, это не невезение. Со мной вы пошли бы по ложному пути. Хотя и без меня тоже. Наверняка. Для вас эмигранты — это иностранцы, которые хотят жить во Франции.

— А разве это не так?

Ольга сдержала зевок.

— Простите меня, я приняла слишком большую дозу снотворного и наполовину сплю.

Дювернуа подозвал официанта: «Кофе... очень горячий и очень крепкий...» Ольга поблагодарила его рассеянным взглядом.

— Три четверти эмигрантов — рабочие, — сказала она, — а вы не знаете рабочих. Кстати, я тоже не знаю. Они вовсе не хотят жить во Франции. Они хотят жить у себя на родине. Но они также хотят работать. Видели вы алжирцев, которые прокладывают дороги?.. А бродяг, собирающих свеклу? А шахтеров вы знаете? Нет? А каменщиков? Тоже нет? И я их не знаю...

Дювернуа улыбнулся... Когда она не изображала из себя сильную женщину, она была очаровательна.

— «Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше», — продолжала она, — это русская пословица. Итальянцы, поляки, алжирцы приезжают во Францию, когда им дома нечего есть. Видели вы алжирцев?.. Простите, я это уже

спрашивала. На дорогах. Вы не находите, что они похожи на рабов? Им бы хотелось, чтобы их любили, чтобы мы их любили. А их не любят. Во Франции живет триста тысяч человек, которых оптом никто не любит. Никто не хочет с ними общаться, потому что знакомство с ними не льстит никому. Никаких иллюзий на их счет. Никому не выгодно знакомство с ними. А они хотели нас любить... Еще одна несчастная любовь, полковник! Огромное стадо баранов, посаженных за решетку. Они сбиваются в кучу, забиваются в свое гетто. Одни мужчины, мучающиеся здесь, чтобы посылать в Алжир, семье, весь свой заработок, самый низкий из существующих во Франции. Герои. Я всегда представляю их себе, как черный сплав из трехсот тысяч кудрявых голов, из трехсот тысяч изможденных лиц, пробуравленных точками черных глаз... Мне кажется, что они и спят вот так, сплавленные вместе, и кричат всю ночь, как кричат люди, мучимые во сне кошмарами. Они даже не иммигранты, а изгнанники, которым в любой момент могут сказать: «Если вы не довольны, возвращайтесь к себе...» Они не умеют ни читать, ни писать, а вокруг них Париж, а не их жалкая деревня. Их захлестнула горечь и нищета. Им вовсе не хочется оставаться здесь, они не иммигранты, а просто кочевники... «Юношей я не встретил у них сочувствия к моей горькой доле; когда я стал мужчиной, они меня эксплуатируют...» Неграмотные люди умеют очень хорошо выразить те чувства, которые раздирают им сердце...

Дювернуа собирался сказать: «Как жалко, что вы занялись пропагандой, я было совсем подпал под ваше очарование...» Но он вовремя сдержался, к тому же Ольга сама оборвала речь, сказав как бы в заключение:

— Но вы никогда не напишете об алжирцах — вы, наверное, сторонник колониализма.

— Ну, это не помешало бы мне написать об алжирцах! Но я не собираюсь, этот сюжет меня не привлекает.

— Несчастные люди... — Ольга полузакрыла глаза и повторила: — Несчастные... Они еще более «незванные», чем мы. Ведь у нас — несмотря на то, что французы не любят польскую, итальянскую или русскую эмиграцию, — у нас все-таки есть друзья среди французов, не правда ли?.. Французские женщины не боятся показаться на людях с итальянцем или с русским... с иностранцем... Но не

с алжирцем. Это знакомство нелестное... Алжирцы слишком бедны, они нищие, нищие и отверженные «бико»<sup>1</sup>.

— Эта проблема меня не интересует.

Они были одни в баре, куда люди заходили, только чтобы выпить перед обедом аперитив или после театра. Пахло застоявшимся табачным дымом и спиртными напитками. Глаза Ольги совсем закрылись... Она вздрогнула и тотчас же открыла их со смущенной, ясной улыбкой, от которой вдруг просветлело ее лицо:

— Я думаю, мне лучше вернуться домой,— сказала она.— Тишина меня усыпляет, вот я и разговорилась, чтобы не уснуть...

— Официант! — крикнул Дювернуа.— Где же кофе? Я не могу вас отпустить, Ольга... Мне хочется воспользоваться вашим сегодняшним состоянием, чтобы поговорить с вами об Элизабет...

— Я не хочу говорить об Элизабет.

Официант принес им кофе.

— Я не хочу говорить об Элизабет,— повторила Ольга,— я хочу говорить с вами только об эмигрантах.

Дювернуа почувствовал, как в нем закипает ярость, но промолчал.

— А вы? Вы хотите, чтобы я говорила с вами об эмигрантах? — вежливо спросила Ольга.

Издевается она над ним, что ли?

— Не очень,— ответил он спокойно.— Я возвращаюсь в армию, у меня там не будет времени писать. Я хочу еще полетать. Романы подождут. Пока Элизабет не было в Париже, я мог в нем жить, не видя ее. Но не видеть ее, когда она здесь... Я предпочитаю уехать.

Ольга, обжигаясь, пила кофе. Она не спросила, куда Дювернуа собирается уехать, а продолжала говорить о своем:

— Вы не были знакомы с Сент-Экзюпери, полковник? «Письмо к заложнику». Маленькая книжечка... В ней больше сказано об эмиграции, чем...

Она не сказала, чем где... Ее мало было убить! Все еще мечтательно, с рассеянным взором она продолжала:

*«Я согласен быть путешественником, но я не хочу быть эмигрантом. У себя на родине я научился многому, что в другом месте мне вовсе не пригодится».* Вы не ответили

---

<sup>1</sup> «Бико» — презрительная кличка алжирцев во Франции.

мне, полковник, читали ли вы эту книжечку? Дело происходит в 1940 году, беглецы, спасаясь от нацистов, плывут на пароходе... Они достают из карманов записные книжки с адресами. «Обломки их личности...» Сент-Экзюпери заметил эти книжки. В них было сосредоточено прошлое беглецов, прошлое, которое потонет, захлестнутое сомкнувшимися над ними волнами. У них еще были в этих книжках адреса друзей. Но они уже никогда не пойдут к ним в гости... Друзья, улицы, телефонные звонки... профессия, репутация... Все это исчезнет. *«Они были блудными детьми, которым некуда вернуться»*. Им надо было все начинать сначала, как будто они только что родились. Эмигрант, полковник, — Сент-Экзюпери это понимал, — эмигрант плачет и надеется... А для переселенца — все конечно, тут речь идет уже о мечтах не о прошлом, а о будущем... Нет, не в этом дело... Что я хотела сказать?.. Ах, да... Как он пишет о Франции, Сент-Экзюпери! Он, свободный боец, как он умеет рассказать о тех, кто погиб на этом пароходе, ушедшем без огней в темную французскую ночь... *«Нельзя сравнивать судьбу солдата с судьбой заложника. Святые — это вы...»* Я столько раз читала эту маленькую книжечку, что знаю ее наизусть...

Дювернуа зажег папиросу от той, которую курил.

— Какой крепкий кофе! — Ольга невольно поднесла руку к сердцу.

— Сент-Экс, — сказал Дювернуа, — был исключительным летчиком и исключительным человеком... Но написать тогда несколько страничек о том, что волновало нас всех... И писать сейчас... Это не одно и то же. Мне хочется попробовать...

— Вы правы, попытайтесь... Об алжирцах. Или о сборщиках свеклы... Я недавно видела их в Дурдане. Был базарный день... Вы знаете Дурдан?

— Еще бы. Я из тех краев.

— Вы знаете, где там рынок — большой, крытый? Так вот, сборщики свеклы собрались возле... толпой. Толпа была большая. Они пришли всем скопом... Они были похожи на ярмарочных плясунов. На старой площади... Около замка с башнями, наполовину вросшего в землю. Возле церкви. И большого крытого рынка с черепичной крышей... Средние века. Это были иностранцы... Эмигранты. На женщинах были резиновые сапоги, а между юбкой и сапогами виднелись голые колени. Одни лохмотья, причем

дохмотья настоящие, а не опереточные. А мужчины... На них было надето что-то невообразимо грязное... У всех у них, и у женщин и у мужчин, были красные, мокрые носы и посиневшие, распухшие руки... Они держались вместе, громко разговаривали и передавали из рук в руки бутылку. Пили они из горлышка... Я, как и все, боялась их. Люди глядели на них с осуждением, но никто не делал им замечаний. В них нуждаются... Из-за свеклы. Среди них была одна блондинка, совсем молоденькая, соблазнительная... ее голые коленки, между юбкой и сапогами, были неотразимы. Видны были и ляжки. Чтобы показать себя, она расхаживала взад и вперед, ни на кого не глядя... У нее был хриплый голос. Толпа расступилась.

— Почему бы вам самой не написать книгу об эмиграции,— сказал Дювернуа, сдерживаясь,— у вас столько материалов по этому вопросу... и по другим тоже.

Ольга реагировала не так, как он ожидал. Она все еще держалась рукой за сердце и опять улыбнулась ему смущенной полуулыбкой...

— Я вас попрошу отвезти меня домой,— сказала она,— кофе слишком взбудоражил мне сердце.

Они вышли. Улица, на которой находился бар, переkreщивалась с авеню Оперы. Дювернуа понадобилось развернуть машину, для этого ему пришлось объехать вокруг площади Оперы. Площадь была почти пустынная, только светящиеся рекламы бороздили небо перед Оперой, величественной, белой и неподвижной в свете прожекторов. Ольга опустила стекло:

— Вы не простудитесь? — спросила она. — Я себя плохо чувствую... Мне душно.

Дювернуа поглядел на нее сбоку: в ярком освещении она была бледна, неподвижна и как бы светилась изнутри.

— Вы похожи на Оперу,— сказал он,— белая, неподвижная, светящаяся...

— Вы мне напомнили одну вещь...— сказала она, и лицо ее вдруг исказилось...

— Вам нехорошо? — ласково спросил Дювернуа.

— Нет, ничего...

Однако, выходя из машины, она попросила его дать ей руку, Дювернуа открыл дверцу, и Ольга тяжело оперлась на него. Шла она с трудом, это было заметно. «Можно, я позову доктора, Ольга?» — спросил он, подводя ее к креслу в вестибюле. «Спасибо, это пустяки...» Но она

была бледна как смерть! Ноздри запали. «До свиданья, Доминик... Все в порядке, уверяю вас...» Ну, раз она его прогоняет, ничего не поделаешь... Но это было еще обиднее, чем ее дерзость. Дювернуа ушел, не обернувшись.

Белокурый молодой человек в светлом пальто из верблюжьей шерсти, разговаривавший с портье, смотрел ему вслед, пока он не исчез в дверях. Только тогда он кивнул на прощанье портье с крысиной мордочкой и, не сводя глаз с Ольги, сделав два-три концентрических круга, приблизился к ней.

— Мадам Геллер! — позвал он тихонько.

Ольга подняла глаза: Карлос — воплощенное здоровье, своего рода удача природы — во всем блеске своей молодости стоял перед ней, а она задыхалась от страшного удушья, стеснившего ей грудь.

— Карлос, — сказала она, — кажется, у меня сердечный припадок...

— Можете вы дойти до лифта или отнести вас? — Карлос был потрясен.

— Все обратят внимание... Дайте мне руку... вот ключ, вы мне откроете наверху...

Они дошли до лифта. На четвертом Карлосу едва удалось вывести ее на площадку, она была в полуобморочном состоянии. Он поднял ее и понес. Он был очень силен, но 417-й находился далеко, очень далеко. Два или три раза Карлос чуть не упал вместе с Ольгой, ему приходилось ставить ее на пол... потом снова нести. Ему казалось, что он никогда не дойдет... Открыть дверь 417-го, положить Ольгу на постель оказалось тоже делом нелегким. Надо было немедленно позвонить доктору, но Карлос сидел на кровати, не двигаясь, еле переводя дух. Ольга открыла глаза...

— Мне кажется, все кончилось, — сказала она, — спасибо, Карлос! Поцелуйте меня, я хочу вас поблагодарить...

Голос ее был еле слышен. Карлос склонился над нежным, теплым, бездыханным телом. Губы Ольги слабо зашевелились под его губами:

— Спасибо, Карлос... Прощайте, Карлос... вы — на страже моих ночей...

Она снова закрыла глаза. Карлос в ужасе бросился к телефону. «Нет, — сказала Ольга, — не хочу никого... Оставайтесь... Прощайте, Карлос...»

Он вышел, побежал в бельевую этажа: никого! Было

почти одиннадцать часов... Карлос позвонил в ресторан: «Это ты, Пьер? Мадам Геллер больна, принеси ей горячего чаю. Послушай, может быть, кто-нибудь еще есть на кухне? Сделай это для меня, уверяю тебя, она плохо себя чувствует... Прямо умирает, клянусь тебе! Значит, я могу рассчитывать на тебя? Привет, старина...»

Дело было вовсе не в чае, Карлос просто хотел, чтобы кто-нибудь зашел в комнату к Ольге: вдруг с ней опять случится припадок... Карлос жил теперь в Университетском городке и каждый день работал в лаборатории. В январе Карлос должен был уехать в Скандинавию. Норвежский ученый обо всем подумал, обо всем позаботился. Карлос был счастлив, жизнь уже не поворачивалась к нему спиной, она исполняла все его желания. Откуда же это внезапное отчаянье, которое охватило его на лестнице «Терминюса», о котором он нимало не сожалел! Отчаянье затмило весь мир. Карлос остановился на лестнице... Это тело, слишком тяжелое и более недоступное, чем звезда на другом конце телескопа... чем настоящая покойница... чем сновиденье... Карлос спускался по лестнице. Внизу он уже не понимал, что с ним стряслось. Он зашел в «Терминюс» повидаться с Фернандо, но Фернандо как раз не было... О мадам Геллер он и не думал, пока не увидел ее, и даже тогда он не решился с ней поздороваться. Что же это? Что такое с ним приключилось? Но он опаздывает, Мартина ждет его. Его ждет жизнь. Тайны науки, большие и малые загадки, которые он должен решать, как кроссворды, должен раскрывать, как раскрывают преступления в детективном романе. Карлос был очень занятой человек, у него было множество дел, и многое ему предстояло свершить в жизни. Он не мог терять время.

## XXVIII

Елка была большая, стройная, она выглядела совсем как живая, как будто у нее были корни в паркете. Агнесса, в брюках и свитере, стоя на верху стремянки, развешивала украшения; волосы у нее растрепались, и вся она была осыпана стружками. Фред подавал ей звезды и бумажные цепи.

Ольга и Элизабет вошли, нагруженные пакетами: «Посмотрите, как они дружны...» — тихонько сказала Элизабет Ольге.

Агнесса присела на верхушке лестницы:

— Здравствуйте, мадам Геллер! Красиво снизу? Мама, скажи, где пусто?

— Сейчас... Где Олаф? Он пришел?

— Вот он!

Муж Элизабет появился в дверях. Элизабет и он посмотрели друг на друга глазами-близнецами, она взяла его под руку и увела.

— Отец плохо себя чувствует, — сказала Агнесса, — он с вами даже не поздоровался, мадам Геллер, извините его... Вы знаете, он странный человек. Где пусто, мадам Геллер?

Ольга села на диван, чтобы оценить елку... Была хорошая погода, и комната, как всегда была насыщена солнцем, проникавшим в окна. Рождественская елка, свежая и зеленая, сверкала золотом и серебром.

— Пустых мест нет, — сказала Ольга, — красиво со всех сторон.

— Тогда я слезаю. Фред, сними меня.

Фред протянул к ней руки и легко снял ее. Агнесса отбежала в другой конец комнаты и оттуда любовалась елкой. Было красиво со всех сторон.

— Теперь надо прибрать, — Агнесса поглядела на мусор у подножья елки, — Фред, надо прибрать...

— Один? Ни за что! Всегда так — ты забавляешься, а я должен потом отдуваться...

Ольга слушала, как они препирались. Агнессе пришлось помочь ему собрать коробки, стружки, оберточную бумагу. Ворча, она принесла пылесос и веник; Фред вынес несколько корзин бумаги. Наконец все было кончено. Агнесса бросилась на диван, Фред отошел к стене.

— Ну как? Ничего? Неплохо, правда?

Еще некоторое время они любовались великолепием елки, потом Фред сказал серьезно:

— Агнесса, твоя Армения...

— Может быть, сначала я оденусь?

— Нет! Уже три часа... Мосье Тавиан придет к чаю, ты прекрасно знаешь. Ты сама хотела доставить ему удовольствие.

— Мадам Геллер! — Агнесса призывала в свидетели Ольгу, — Фред сочиняет тексты, а я должна их декламировать...

— Как тебе не стыдно! Обманщица! Ты сама сказала, что хочешь приветствовать мосье Тавиана...

— Неправда. Я хотела подарить ему армянские миниатюры...

— Агнесса! Это чудовищно! Ты сказала, что нам ни за что не найти армянских миниатюр и что мосье Тавиану будет не менее приятно, если ты продекламируешь ему композицию, составленную из различных эпизодов истории Армении... Ведь изучение истории потребует усилий и явится доказательством дружбы! У тебя нет ни воли, ни последовательности...

— Ссориться вы сможете потом, — сказала Ольга, — Агнесса, помните вы текст вашего приветствия?

— Сейчас, только устроюсь поудобнее.

Агнесса заерзала на диване, поджала ноги, потом села прямо и начала, не глядя на Фреда, но подражая его манере чтения:

— Армина, Арминайя, Армения... Они пришли на высокое плоскогорье Передней Азии с запада, как завоеватели, как зерна, развеянные ветром войны. Здесь пришельцы осели и постепенно смешались с местными племенами. В результате сложился мирный народ, возделывавший землю, а земля стала называться Арминой, Арминайей, Арменией... Что дальше, Фред?

Фред, приготовившийся слушать, нетерпеливо сказал:

— Ты прекрасно знаешь, что дальше! Логика должна бы подсказать тебе продолжение! Что происходит со страной, которая зажата между сражающимися армиями? Она становится полем сражения и неизбежно должна оказаться под властью тех, кто подминает ее под себя...

— Кто подминает ее под себя... — повторила Агнесса.

— Незачем повторять именно это выражение! — прервал ее Фред с раздражением, — Агнесса, ты сегодня просто невыносима и выставляешь меня в смешном виде перед мадам Геллер...

У Агнессы вдруг стало жалобное личико:

— Я устала, — сказала она. — Слушай, я лучше сразу начну с искусства и литературы... Ты написал об этом замечательно — получилась настоящая «Ода Армении». Я скажу об армянской архитектуре и миниатюрах, о большой средневековой культуре Армении... а о резне говорить не буду... Я только назову тех, кто пытался стереть армян с лица земли: Персию, Рим, арабов, сельджуков, монголов, турок и младотурок... Я никого не забыла? Я скажу о том, как турки в 1915 году решили покончить с армянским вопросом путем истребления всех армян... И о том, как те армяне, которые избежали резни, принуждены были бежать из Армении — из Турции, как говорят некоторые...

Фред хмуро перебил ее:

— Я напоминаю тебе еще раз, Агнесса, слушай меня хорошенько: прошу тебя, не говори мосье Тавиану, что армяне страдали меньше, чем евреи, оттого что они христиане и что христианский мир несколько раз заступался за них, чтобы спасти их от турок. В то время как никто никогда не заступался за евреев... Не говори ему этого, потому что заступничество не мешало туркам периодически разрешать армянский вопрос резней; этот народ — жертва, как и евреи, и нет такой меры, которой можно было бы точно измерять степень несправедливости и страданий.

Фред невольно перешел на проповеднический тон, каким он всегда говорил об Израиле. Агнесса с жалобно-покорным видом сказала:

— Да, Фред, я прекрасно понимаю. Я не до такой степени глупа. Сейчас я оденусь, и мы пойдем пройдемся до прихода мосье Тавиана. Я совсем отупела. Хорошо, Фред?

— Хорошо... Из тебя никогда ничего не выйдет. Иди, одевайся.

Когда Агнесса ушла, Ольга и Фред некоторое время молчали. Потом Фред уселся у ног Ольги:

— Я давно хотел вам рассказать, мадам... Странную историю, как раз по поводу армян...

Фред был одним из тех людей, у которых всегда есть тема для разговора. Ему всегда было что сказать; во-первых, он был человеком светским, а во-вторых, обладал горячим темпераментом, и в разговоре с ним никогда не наступало провалов. С Ольгой ему было особенно легко, он мог говорить с ней о том, что было для него и объектом изучения и страстью, об истории притесненных народов. А он только что открыл еще один притесненный народ! Во Франции... Странная история. Фред рассказывал...

Недалеко от Марселя живут ассиро-халдейские эмигранты, которых часто путают с армянами. Они говорят на арамейском языке — на языке Христа. Они потомки Навуходоносора, Семирамиды, жителей Вавилона и Ниневии. Вероятно, некогда, в средние века, им пришлось бежать из своей страны, и они нашли прибежище в Армении, но курды и турки притесняли их, и им пришлось опять бежать — в Грецию, Египет, Сирию и Ливан. И повсюду их периодически вырезали. Есть народы, которые извечно подвергаются гонениям. Народы-жертвы. После поражения Турции, во время войны 1914 года, там вырезали все национальные меньшинства. Но ассиро-халдеи — христианской веры, и поэтому корабли всех стран средиземноморского бассейна принимали на борт несчастных, чтобы спасти их, перевезти к другим берегам... В 1921 году они прибыли и во Францию. «Я не знаю, сколько их было тогда, теперь их осталось сотни две, — рассказывал Фред, — они живут «на птичьих правах», как вы часто говорите, мадам! Они не заботятся ни о документах, ни о законах, ни о разрешениях или запрещениях... Они просто живут... Если это можно назвать жизнью! Кем были они до того, как превратились в сегодняшних бродяг? Вы только представьте себе: в XX веке — старики спят под открытым небом, питаются корнями, пьют настой из трав! А говорят они только на своем языке и не хотят жить в домах — под кровлей... Что происходит у них в голове, кем они были, какие у них воспоминания? Им осталось только одно: смерть!»

Ольга слушала так, как если бы ей необходимо было пополнить свои знания историей ассиро-халдеев.

— У самых молодых, — продолжал Фред, — у тех,

с которыми еще можно сговориться, есть иногда документы... может быть, полученные их родителями при высадке. Они их не возобновляют, не занимаются этим. В документах их называют армянами, турками, сирийцами, греками, ливанцами... и только некоторых правильно — ассиро-халдеями. Они готовы быть кем угодно, они признают любые наклейки, и имена их пишутся бог знает как... Они сами себе выдумывают... У четырех братьев разные фамилии! Попробуйте разберитесь во всем этом...

— Действительно... наверное, нелегко «навести порядок»...— Ольга повторила выражение Фрэнка и испытала при этом горькое удовольствие,— ...среди людей, вывалившихся из ящиков больших комодов, называемых континентами»,— продолжала она, снова повторяя слова из разговора с Френком на зеленой лужайке.— Война — это бредовый порядок. Да, наверное, трудно разместить людей в таком порядке, чтобы в случае надобности каждого можно было немедленно найти... Для этого нужна большая картотека: целые километры, тонны карточек. А молодые ассиро-халдеи что они делают? Они так и остаются ассиро-халдеями.

Фред ответил со знанием дела: тут уже навели порядок: некоторые молодые натурализовались. Среди молодежи есть портняжки, сапожники, бухгалтеры, торговцы... Но произошла невероятная вещь: эти люди осознали нелепость своего положения, и их уже считают «беженцами Нансена», они обратились за покровительством в Женевское «Международное общество помощи беженцам», они хотят быть, и все, я хочу сказать — как все беженцы! Но сознательное потомство, не имеющее ничего общего с предками, питающимися кореньями в окрестностях Марселя... эта молодежь объявляет себя ассиро-халдеями. Они — совершенные французы, они могли бы натурализоваться без особого труда, они конечно, ничего не знают о своей родине, да и где, кстати, их родина? И почему не быть ею Францией, где они родились?.. Так вот, они создали в 1947 году «Общество сирийской взаимопомощи», они гордятся тем, что принадлежат к такому благородному племени, и не хотят, чтобы их путали с другими народами ни с этнической, ни с политической точки зрения... И в особенности с армянами. Во Франции их всего только двести человек, но, по-видимому, они есть еще в США, и там даже выходил журнал на языке — языке Христа, — начиная с кануна войны 1914 года и до 1930 года или около того... И их «Общество» воз-

мопомощи» добивалось, чтобы «Международное общество помощи беженцам» признало его как Комитет этнического меньшинства... Признаете же вы армян, говорили они... почему в таком случае вы не признаете нас? И Фред заключил: «Я не знаю, чем это кончилось, надо будет выяснить».

Ольга рассмеялась. Фред с удивлением взглянул на нее.

— Прекрасно, прекрасно, — сказала она, — мы не анархисты. Нам нужны карточки и организации. Мне нравится ваша история, Фред, ведь это «история», не правда ли? Ассирио-халдеи, пришедшие из тьмы веков и поселившиеся без домов, прямо под открытым небом Франции, чтобы под конец стать требовательными бухгалтерами... Зачем им быть французами, если они ассирийцы? Они требуют возврата в Вавилон и Ниневию!

Появилась Агнесса, в меховой шапочке и высоких башмаках (модель Тавиана), потому что на улице было холодно.

— Мама не приходила? Но, мадам Геллер, как же мы вас оставим одну! Наверное, отцу плохо...

Ольга подождала, пока они ушли, и, не дождавшись Элизабет, вышла вслед за ними. С тех пор как у Ольги был сердечный припадок, на нее часто находила тоска, заставлявшая ее поспешно возвращаться домой, как будто кто-то гнался за ней по пятам.

На Острове было тихо. Спускались сумерки... Ей было приятно идти по улице. Она шла вдоль каменного парапета, вдоль тяжелых вод Сены... Молодой посыльный проехал на велосипеде с прицепной коляской. Ольга поглядела ему вслед и вдруг почувствовала, что ее охватывает нежность к этой спине... к этому мальчику французу. Французы — их манера разговаривать, смеяться, их жареная картошка, их фамильярное отношение к любви, их находчивость, эгоизм, всегда готовое вспыхнуть чувство справедливости, ум, тонкость, доброжелательность, велосипедные гонки, народные танцульки, обилие общих мест в разговоре... Ольга почувствовала, как ее охватывает жалость к этой мальчишеской спине, которую поглотила спускавшаяся на Париж ночь. Она хотела бы сейчас же, немедленно, отдать свою жизнь, чтобы защитить этого мальчика, чтобы убрать с его дороги все плохое, чтобы его никто не обижал, не обманывал, чтобы он смог стать мужем и отцом, смог учиться тому, что он хочет знать, чтобы продолжала существовать Франция, чтобы не загдох этот старый сад, в котором

растут самые разнообразные деревья и цветы... чтобы никогда, даже через две тысячи лет, не могло случиться, что от французов осталось всего несколько сот даже не людей, а «экземпляров», как это произошло с ассиро-халдеями...

Ольга, французская патриотка, могла любить Францию на Острове Сен-Луи так же, как на зеленой лужайке в воскресный августовский день. Это было ее личное дело.

## XXIX

Родители Патриса, как и обещали, занялись домиком тетки Марты. К возвращению Патриса ремонт был закончен, и он, непрерывно восторгаясь, расставлял привезенную им «китайщину» и в большой комнате первого этажа, где сняли перегородки, и на втором — в своей спальне и в двух добавочных комнатах, выкроенных из чердака и обшитых деревянными панелями. Теперь в доме была ванная. Сад был вскопан, фруктовые деревья ухожены.

Тридцать первого декабря весь дом был перевернут вверх дном: Патрис пригласил встречать Новый год Сержа, Альберто, кузена Дэдэ, еще одного кузена — красивого Граммона Недвижимщика с его невестой, маленькой Мари, и Ольгу. Патрис пригласил также Ива, с которым он был едва знаком, но надо же было, чтобы кто-нибудь привез Ольгу, Альберто и Сержа. Сам Патрис был в Ваузен-ле-Нобле с сочельника — Граммоны всегда праздновали рождество всей семьей. Если бы ему пришлось ехать за гостями в Париж, он не мог бы приготовить все к тридцать первому.

После возвращения Патрис, радостно устраиваясь в обновленном доме, то возился с домашними поделками, то писал статьи о Китае. Путешествие подействовало на него, как переливание крови: Патрис был человеком здоровым и энергичным, а Китай восстановил частично утерянные им в лагере жизнеспособность и жизнерадостность. Сейчас он был что называется в полной форме.

Настоящая рождественская погода — солнечно, холодно. От новой печки пышет жаром. Патрису хотелось погладить блестящие бока этой новой печки, рождественского подарка его родителей. Дэдэ, Граммон Недвижимщик — то есть Рожэ — и маленькая Мари пришли после завтрака, чтобы помочь Патрису по хозяйству. Дэдэ

принес скатерть, тарелки, приборы: когда собирались одни мужчины, «сервировка» не играла роли, а маленькая Мари была ведь всего лишь маленькой Мари; но сегодня будет еще и Ольга... Придется менять тарелки и приборы. Вместо рождественской елки поставили просто букет еловых веток, которые Дэдэ срезал в соседнем лесу; вышло очень красиво. За стол сядут около десяти часов. Стенные часы тетки Марты, лениво раскачивая маятник, отбивали четверти и половины... часы же они отбивали по два раза, настойчиво взывая к рассеянным и забывчивым. Время проходит, оно идет, идет. Вот уже восемь часов. В девять Дэдэ пошел под навес во дворе открывать устрицы. Мари гремела духовкой старой плиты: индюшка, громадное животное с фермы Граммона Большого, потихоньку подрумянивалась... Патрис, расколов пленку льда, спускал шампанское в колодец. Все были полумертвыми от усталости, а надо было еще успеть привести себя в порядок, переодеться. К счастью, существовала ванная, правда холодная, но с электрическим рефлектором, и если не слишком задерживаться...

Присутствие Ольги меняло атмосферу, несколько стесняло, но это было даже к лучшему, вносило торжественность. Ольга и не подозревала, какую она вызвала суматоху. Как всегда, может быть, даже еще больше, чем обычно, она нисколько не старалась произвести впечатление... Сидя впереди, рядом с Ивом, она промолчала всю дорогу, а сзади Альберто и Серж оживленно разговаривали на политические темы. Ив вел машину и был так же молчалив, как Ольга. Обледеневшая, совершенно пустынная дорога, «дворники» скрипели, счищая хлопья снега, как зимние бабочки, летавшие по ветровому стеклу и клубившиеся в свете фар. Ольга почти дремала, убаюканная мягким снегом, напоминавшим ей детство. Время от времени раздавался голос Сержа: «А вы двое все молчите?..» Они не отвечали.

Домик тетки Марты встретил их гостеприимно. Все успели навести красоту, маленькая Мари сделала себе прическу в виде лошадиного хвоста, надела платье с вырезом, щеки у нее пылали из-за индейки... Как только послышался шум подъезжавшей машины, бросились зажигать свечи на еловых ветвях. Гости поднялись наверх, чтобы снять пальто и теплые вещи. Альберто и Серж восхищались: с тех пор как они вчетвером — Патрис, Дэдэ,

Альберто и Серж — провели здесь весенний вечер, дом изменился до неузнаваемости. Патрис тогда только что получил в наследство этот домик и успел всего лишь перекрасить ставни... И вишни тогда только начинали зацветать...

Они сели за стол. Ольга — между Патрисом и Альберто, маленькая Мари — между Сержем и своим женихом, а на двух узких концах стола, друг против друга, Ив и Дэдэ. На Ольге было облегающее синее платье цвета яркой неоновой лампы: тридцать первого декабря нельзя надевать черного — это приносит несчастье. Весна... Помните мы говорили об Ольге, о Монике... О ней наговорили столько, что Дэдэ влюбился в прекрасную незнакомку... таинственную, как он решил, он во что бы то ни стало хотел, чтобы она была таинственной. «Но она такая и есть!» — сказал Дэдэ с горячностью, вызвавшей общий смех. Ольга улыбалась, здесь ей было хорошо, гораздо лучше, чем в рождественский сочельник у Элизабет, где была толпа незнакомых людей, шведы и шведки из посольства и французы, неизвестные Ольге, как и шведы. Рядом с ней сидел Олаф, муж Элизабет, вежливый и рассеянный. Он разговаривал только междометиями. Напротив них — Элизабет. Она не спускала глаз с мужа, как будто поддерживая его взглядом, улыбкой, чтобы помешать ему упасть, не дать рассыпаться в прах, в пепел... Из соседней комнаты, где стоял стол молодежи, доносились крики, смех. Музыка, замечательный джазовый пианист — Элизабет знала в этом толк. После двенадцати пришли другие музыканты — целый маленький оркестр. Лакеи быстро убрали стол, и молодежь наводнила, захватила комнату. Агнесса в белом тюле, как новобрачная, девочка-новобрачная; ее треугольная мордочка, золотистая, как мед, кожа и хрупкое тело, еще не перешедшее границу, отделяющую детство от созревающей женственности, — все в ней было пленительно. Ее окружали Фред и счастье. Сионизм Агнессы тоже носил имя Фред. Элизабет и ее друзья отправились в турне по ночным кабакам. Ольга вернулась к себе и легла спать...

Разговор шел все еще о том весеннем дне, когда приятели побывали у Патриса... Альберто рассказал тогда о своей первой встрече с Ольгой в вагоне-ресторане и о второй встрече с ней в ту ночь, когда он приземлился на парашюте на каком-то поле где-то во Франции и потом его привели на ночлег в дом Ольги. В январе 1954 года —

чудно говорить о тысяча девятьсот пятьдесят четвертом, еще не привычно, — Альберто уезжает в Мексику.

— Хотите поехать со мной, Ольга?

— Друзья, как вы относитесь к такому предложению, сделанному публично? — сказал Серж. — И кто делает предложение? Альберто, самый скромный из мужчин. И кому он его делает? Ольге, самой скрытной из женщин!

— Я бы мог повторить то же самое на площади под звуки фанфар и цимбал...

— А она в ответ — молчит!

Ольга молчала. Она только подняла бокал. За нее высказался Ив:

— Я пью за путешественников, за изгнанников, за лишенных родины, за беженцев, за принесенных в жертву, за вечных иностранцев, я пью за вечно скитающихся...

— Ну тебя, — сказал Серж, — нашел тоже над чем смеяться! Я тебя убью!

Патрис осторожно откупоривал новую бутылку шампанского. Вина было достаточно, каждый из гостей привез с собой одну или две бутылки. Занятый обязанностями хозяина дома, Патрис почти не следил за разговором.

— Мы никого не будем убивать, — сказал он, разливая вино, — жизнь прекрасна, и мы друг друга очень любим. Мы больше никогда и никого не будем убивать. Я послал к черту консульства и все прочие управления. Статьями я прокормлюсь не хуже, чем жалованьем чиновника. И я буду путешествовать не меньше. Немедленно поеду с добрым словом к первобытным народам: англичанам, швейцарцам, скандинавам... Да, да...

— А твое доброе слово будет теперь китайским!

Никогда нельзя было догадаться, понимает ли сам Дэдэ смысл того, что говорит. Патрис чуть было не рассердился, но передумал, засмеялся и попробовал объяснить:

— Китайское... что же, это было бы неплохо! Я без ума от Китая! Какой народ, какая культура! Какая нищета! Если вы помножите надежду на число мужчин и женщин, населяющих эту страну, вы поймете ее необъятность! Я договорился с «Альянс франсез»<sup>1</sup> относительно турне с докладами о Китае.

---

<sup>1</sup> «Альянс франсез» — официальная организация по распространению знаний и культурному обмену.

— Выдумываешь! У нас даже нет дипломатических отношений с Китаем, а «Альянс франсез» вдруг возьмется за организацию такого пропагандистского турне.

— Я хитрее, чем ты думаешь, душа моя Серж: я буду говорить о китайском искусстве. Я знаю все династии как свои пять пальцев. Буду показывать цветные диафильмы... А в промежутки вставлю все остальное.

— Просто поразительно, как Патрис умеет всему придавать официальный характер... «Альянс франсез»! Даже их обошел! Даже «Альянс франсез»!

— Я республиканец, Серж,— сказал Патрис,— француз и республиканец, я не плюю на наши учреждения, в них много хорошего. Я пользуюсь ими. И ты увидишь, что я принесу пользу Китаю... Потом я постараюсь поехать в Советский Союз, и, поскольку сейчас не те времена, что при Сталине, я буду давать подробный репортаж. Без всякой предвзятости, только правду...

— Правду? — прервал его Граммон Недвижимщик, которого звали Рожэ.— Я не уверен, что ты напишешь правду, правда — вещь очень сложная. Предположим, что ты сегодня поедешь в Москву, увидишь, что люди там живут плохо, и, возвратившись, скажешь: они живут плохо. Так вот, может случиться, что, говоря так, ты соврешь, потому что главное не в том, что они сейчас живут плохо, а в том, что со временем они будут жить гораздо лучше. Чтобы написать настоящую правду, надо понять, что они будут жить лучше и почему и как это произойдет... И если ты скажешь: они живут плохо, ты исказишь истину. Вот для примера сравнение: я привожу покупателя осматривать дом — дом красивый, крыша в порядке, все безукоризненно... Это — сушая правда. Но балки изъедены термитами, и через год крыша обвалится. Это тоже сушая правда! Но если я ничего не буду знать о термитах, я ведь не обману моих клиентов, не сказав им о них.

— Я думаю,— сказал Патрис серьезно,— что я увижу правду, как бы глубоко она ни была запрятана. У меня есть здравый смысл и немного знаний... хотя я и не марксист! Но, знаешь ли, марксизм — это ведь тоже здравый смысл.

— Больного нельзя вылечить с помощью одного только здравого смысла,— возразил Рожэ Недвижимщик,— тут требуется нечто большее...

— Вы сектанты,— прервала маленькая Мари,— не мешайте ему поступать по-своему... то, что он собирается делать, все же лучше, чем воспевать американские холодильники.

Некоторые слова обязательно напоминали Ольге о Фрэнке: слово «холодильники» было как раз таким. Ольга горестно обвела взглядом комнату и встретила глазами с Альберто.

— Мы что, Новый год встречаем или митингуем? — спохватился Патрис.— За здоровье дам! Серж, где ты был в сочельник?

За Сержа ответил Ив.

— Далеко,— сказал он,— Серж так страстно увлекается историей польских шахтеров, что проводит все субботные вечера и воскресенья в угольном районе... Будь уверен, что и в сочельник он был там же.

— Мои дорогие друзья...— Серж встал, постучал ножом по бокалу.— Мои дорогие друзья, я должен сообщить вам о счастливом событии... собственно, о двух счастливых событиях: женитьбе музыканта Сержа Кремена на мадемуазель Анель Проквич, работнице-текстильщице... это во-первых, а во-вторых, что они надеются через несколько месяцев приветствовать появление на свет ребенка пока еще неизвестного пола, но которому они будут одинаково рады — будь то мальчик или девочка!

Больше всех эта новость взволновала Патриса. По его мнению, женитьба была героическим подвигом... Ведь для того, чтобы женитьба не оказалась безрассудством и безумием, требуется почти невероятное стечение обстоятельств: любовь, разнообразные качества — характер, культура, возраст... Ив коротко поздравил Сержа и снова насупился. Альберто встал, чтобы обнять Сержа и пожелать ему счастья. Маленькая Мари и Рожэ, ее жених, выпили за свадьбу с видом заговорщиков. А Дэдэ погрузился в мечты... Ольга подняла бокал: «За невесту!»

— Расскажи, старик,— просил взволнованный Патрис,— кто она, как ее зовут, как все случилось?..

— Ее зовут Анелька, она полька, работница текстильной фабрики, она хороша собой, и я встретил ее на балу, в поселке, где Фанни и Ив организовали праздник... В угольном районе...

Патрис был потрясен. Работница, полька! Но ведь Серж наверняка столкнется с трудностями, взаимным не-

пониманием. Серж, улыбаясь глазами, признал, что все может стать, что, так или иначе, недоразумения всегда бывают, но он влюблен, счастлив, у них будет ребенок, а у его матери внук. Анель умна, с характером, и он надеется сделать из нее активного члена партии... Патрис всегда восхищался разумной храбростью Сержа, но на этот раз, по его мнению, Серж проявлял дурацкое безрассудство, ну разве так женятся!

— А ты, Патрис,— вмешался Рожэ,— ты похож на тех невыносимых покупателей, которые целых пять лет взвешивают, какой им купить дом. Они не хотят ничем поступиться—ни мечтой, ни практическими выгодами, но в конце концов даже их терпение истощается и они приходят в такое иступленное состояние, что соглашаются на что попало... Дома и женщины никогда не совпадают с мечтой, мой дорогой Патрис! Предугадать, что именно ты найдешь,—невозможно. Все происходит наоборот: действительность становится твоей мечтой, а не мечта—действительностью. Сейчас моя мечта как две капли воды похожа на Мари, а вовсе не Мари на мою мечту...

— Эх вы, женихи и невесты...—сказал Патрис снисходительно и печально,—выпьем еще раз за счастье всех женихов и невест в мире. Они в этом нуждаются, не сомневайтесь!

— Ты не знаешь, что такое любовь, бедный Патрис,—сказала маленькая Мари, и Патрис почувствовал себя уязвленным.

— Внимание!—закричал Дэдэ.—Сейчас пробьет двенадцать, мы из-за вас пропустим бой часов!

Он побежал включить радиоприемник, Патрис стал ловко откупоривать бутылку, пустил пробку в потолок, разлил вино... Пена переливалась через край, радио наполнило комнату смутным шумом, и первый удар полуночи раздался на часах тетки Марты. Маятник ходил взад и вперед и резал время на ломтики, как машинка бакалейщика режет ветчину.

Все встали, поцеловались по кругу, чокнулись, снова сели. Радио что-то говорило, потом началась музыка...

— Теперь...—сказала Ольга, ставя бокал.

— Что теперь?—Альберто положил руку на руку Ольги, стараясь заглянуть ей в глаза.—Что же? Скажите...

— Простите, ничего...

— Теперь... — повторил Альберто.

— Патрис, можно встать из-за стола?

Мари и Рожэ хотели подняться наверх: навести красоту тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, — сказала она; вымыть руки, — сказал он.

— Мы были здесь весной вчетвером, — опять напомнил Патрис, — и мы говорили об Ольге. Мы вас очень любим, Ольга, для нас вы навсегда останетесь нашей Моникой...

— Мы вас очень любим, — повторил Альберто, — не думайте, что в мире одни только враги, посмотрите на нас и забудьте обо всем остальном.

Серж встал, бросил салфетку — сегодня он надел свой хороший синий костюм, белую рубашку, волосы у него были коротко подстрижены — и, обращаясь к Дэдэ, торжественно сказал:

— Посмотри на Ольгу, Дэдэ... Ведь Рожэ прав: у твоей мечты теперь черты Ольги. Может быть, ты представлял ее себе совсем другой, но теперь ты будешь мечтать о высокой светловолосой женщине...

Казалось, что все они сговорились окружить Ольгу теплом и лаской. Понимали ли они, что она погибает, подобно одинокому путнику, застигнутому снежным бураном и морозом? Устав бороться с непогодой, путник ложится в снег и уже не ощущает холода, сон обволакивает его, погружая в мягкую снежную могилу. В эту новогоднюю ночь с тысяча девятьсот пятьдесят третьего на тысяча девятьсот пятьдесят четвертый все собравшиеся в домике тетки Марты сбросили свою защитную оболочку. Они, подобно правоверным, оставляющим обувь у входа в мечеть, оставили за дверью всё то, что разделяет людей. Все, кроме Ольги. Сидя в кресле с высокой спинкой, она, как всегда, была укутана в молчание, как бы окружена рвом, наполненным прозрачной водой, по которой плывут водяные лилии...

У ее ног расположились на подушках вернувшиеся сверху Рожэ и Мари.

— ...сколько порчи зря... Сколько зла люди сами себе приписывают! Но придет время, когда не будет больше ни заповор, ни ключей, дни доверия настанут...

Кто мог говорить так, кроме Рожэ — самого красивого из Граммонов? И кто мог подхватить эту тему, как не Серж?

— Дни доверия настанут,— повторил он,— ты говоришь это так, как поют: «День славы настал!» Кровавое знамя поднято против дней доверия! Вот в чем дело, дети мои... Когда ты говорил мне, Патрис, о твоём друге Дювернуа, который хотел написать роман об эмигрантах, я подумал, что в его писательской игре у него был только один козырь: врожденное недоверие! Твой Дювернуа недоверчив от природы, так же как люди бывают от природы блондинами или брюнетами... Может быть, такой Дювернуа и сумел бы выразить вечное недоверие; тяготеющее над иностранцами. Это он, может быть, сумел бы сделать превосходно! Так что у него могла бы получиться удивительная книга! Он создал бы прозу, сам того не зная<sup>1</sup>... Но это все, что ему удалось бы выразить, и не больше! Если бы я был писателем, я написал бы о несчастье людей, которые живут не там, где они родились... Такая формулировка уже сама по себе изобличает кроющееся в ней безумие. *Несчастье людей, которые живут не там, где они родились*... Всем известно, что такое тоска по родине, но это только малая часть их несчастья, основное то, что человеку приходится жить там, где в нем не нуждаются. Не только на чужой земле, но и чужим для этой земли. Пусть кто-нибудь хоть расскажет об этом несчастье, пусть хоть песни об этом споют... Секрет поэзии Сопротивления именно в том, что она говорила о людях. Люди чувствовали ее, она помогала им жить. Но после того, как я написал бы такую книгу, все на меня тотчас же ополчились бы, требуя ответа на все поставленные мною вопросы... Мне лично кажется, что поставить вопрос, обратиться на что-то внимание само по себе не так уж плохо, но от нас всегда требуют, чтобы поставленные нами вопросы мы же и решали! Безвыходных положений, видите ли, не должно существовать даже временно, и если писатель не в состоянии дать ответ на вопрос, то пусть сидит смирно и не путается не в свое дело. Демагогия, пустословие, что угодно, но только не нерешенные вопросы. Нет, нет... это невозможно, нетерпимо, нет крепостей, которых мы не могли бы взять... Будьте любезны, мосье, ответить на все поставленные вами вопросы! Я предлагаю, чтобы изгнанникам, людям, лишенным родимой почвы,

---

<sup>1</sup> Намек на мосье Журдена (Мольер, «Мещанин во дворянстве»), который «говорил прозой, сам того не зная».

которых невозможно излечить от тоски по родине, было по крайней мере дано моральное и материальное благополучие на чуждой им земле. Когда настанут дни доверия, различие в языке, религии, нравах уже не сможет служить поводом к ненависти и презрению.

— Я полагаю, что ты умолчал о белоэмигрантах всех стран только потому, что мы собрались здесь для встречи Нового года,— заметил Рожэ.

— Я тебя убью,— ответил Серж с сияющей улыбкой,— я не произнес слов «пролетарский интернационализм», потому что сразу запахло бы митингом, а мне хотелось романтики. Как бы то ни было, не все эмигранты — политические эмигранты, а ведь и те, что живут в чужой стране, потому что у себя они подошли бы с голоду, так сказать, эмигранты нищеты, разве они не вызывают то же недоверие, подозрительность, презрение и ненависть, что и политические эмигранты? Даже еще в большей степени, потому что политэмигранты находят за границей друзей и единомышленников, а эмигранты нищеты одиноки, всеми отвержены... Я перескакиваю через века, пропускаю первую стадию социализма, без которой ничто дальнейшее невозможно, то есть стадию уничтожения причин эксплуатации человека человеком и смертельной борьбы, которая при этом неизбежна, и вот я уже подхожу к стадии уничтожения причин недоверия, которые порождены эксплуатацией и борьбой против этой эксплуатации... Я достигаю стадии, когда социалистический человек уже сложился. И вот наступают дни, когда доверие, гостеприимство и солидарность являются неперменными правилами игры...

— Прошлым летом я был в Венгрии...— сказал Альберто.— Проезжая на машине через деревушку, мы — я и один мой венгерский друг — остановились на рынке... Я хотел купить персики у торговки, очень старой крестьянки, и мой друг сказал старухе, что я не говорю по-венгерски... Тогда она протянула мне корзину и со слезами на глазах сказала: «О, бедняга, он не говорит по-венгерски! Пусть он возьмет персики даром!»

— Вот случай, какой не выдумать даже поэту, какой и я не сумел бы выдумать, если бы был писателем! — обрадованно сказал Серж.— А твой Дювернуа, Патрис, засадил бы под замок и Альберто и его венгерского друга, чтобы им не повадно было покупать персики на рынке!

— Бдительность...— уронила Ольга, полузакрыв глаза.

— Бдительность... да, да, бдительность...— Серж встал, сунул руки в карманы.— Да, да, бдительность... Кто знает, где она начинается и где кончается... Мы только что развязались с так называемой бдительностью. Ведь всем ясно, что идеальное и единственно счастливое будущее, которое можно себе представить, это — доверие...

— Столько порчи зря...— повторил еще раз Рожэ,— люди сами причиняют себе зло...

— Зря...— подхватил Ив, — в связи с этим я вспомнил совсем о другом, потому что, по существу, корень один... На днях я пошел вечером в «Зал Плейель» на советский фильм... Там было полно русских, русских белогвардейцев. Они пришли послушать родную речь и посмотреть, хотя бы на экране, пейзажи своей родины. Некоторые из них плакали, когда в фильме молодые советские герои умирали, защищая родную землю от фашистов. А ведь зал, наверно, был полон русскими фашистами, и вот они тоже проливали слезы, гордясь храбростью своих соотечественников... Тоска по родине... По-видимому, она неутолима, как зубная боль. В ней и зависть, и горечь, и отчаянье... Те, на экране, были у себя, а эти — в зале... всегда на откидных местах, в проходе, вечно принужденные вставать, чтобы пропустить других, имеющих неоспоримое право сидеть в креслах...

Наступило молчание, во время которого вдруг оглушительно заговорило радио... «Мы находимся сейчас в кабаре на Елисейских полях... Танцующих так много, что я едва пробрался со своим микро...» Музыка заглушила голос диктора. Ив собрался продолжать, но из глубины молчания, над водяными лилиями ее скорби, возник голос Ольги, и каждый ощутил его почти физически:

— Я тоже была как-то в толпе парижских русских... Я пошла послушать советского пианиста... Ничто так не возбуждает страсти, как музыка... Какие аплодисменты разразились по окончании концерта! Люди бросились за кулисы к пианисту! Я была с Элизабет Крюгер, и она обязательно хотела лично выразить музыканту свой восторг. Мне пришлось пойти вместе с ней. Около взмыленного пианиста была настоящая давка. Русские Парижа... старые, молодые... Они пытались тут же, не сходя с места, объяснить, что они истинно русские люди... проявить свою привязанность, привести доказательства... Они смотрели на советских русских, норовили дотронуться до них... Им было

все равно, посольский ли то шофер, телохранитель или первый советник... лишь бы он был советский! Советские русские держались вежливо и отчужденно. Они не говорили ничего, что могло бы навести на мысль... Они слушали тех не моргнув глазом... их чудовищный русский язык... бедняги так гордились тем, что не совсем забыли родной язык, и говорили, говорили, с американским, еврейским, немецким акцентом. Они были сентиментальны и жалки! Боже мой!..—Ольга сжала руки на коленях.—Пианисту очень польстили похвалы Элизабет, ведь у этой великосветской шведки есть родина, не то что у бездомных беглых русских... Я оставила Элизабет и поскорее ушла...

«Мосье Морис Шевалье скажет несколько слов нашим слушателям!» — взвизгнуло радио.

Альберто тоже было что сказать:

— Когда в Париж приехала франкистская футбольная команда и проиграла матч, некоторые испанские республиканцы были в отчаянии. Фашистская или нет, команда была все-таки испанская! А когда в другой раз команда выиграла, все испанские республиканцы ей аплодировали, несмотря на то, что испанские футболисты салютовали публике по-фашистски. Все, что имеет отношение к нашей родине, кажется нам теперь прекрасным. Пока мы были там, мы все критиковали, но из изгнания Испания кажется нам чудом из чудес... Я не хочу сказать — режим Франко, но Испания!.. Мы покончили наконец с местным патриотизмом — мадридским или севильским... Испанцы в изгнании обрели подлинный испанский патриотизм, они поняли, что их судьба неразрывно связана с судьбой Испании.

Иву тоже наконец удалось вставить слово:

— Это только одна сторона... Работа с испанскими эмигрантами очень сложна. Есть среди них и такие, которые привязались к Франции и потеряли национальное чувство...

— Bravo! — сказал Патрис.

— ... Особенно часто это наблюдается среди молодежи. Среди них много французских патриотов. Но, с другой стороны, у испанцев, как и у всех изгнанников, встречается неистовый патриотизм, который идет вразрез с пролетарским интернационализмом... Я, мой дорогой Серж, называю вещи своими именами. Я встречал испанцев, которые не желают читать «Юманите», они не согласны с рабочим классом Франции, они обвиняют французских рабочих в пассив-

ности и не читают ничего, кроме нелегальной «Мундо обреро».

Патрис загоготал:

— Бедный пролетарский интернационализм! К тому же ведь не все испанские республиканцы — коммунисты, а послушать вас, так все они читают «Юманите» или «Мундо обреро». Я знаю одного испанского республиканца, который вовсе не коммунист и мог бы вернуться в Испанию, если бы захотел...

— Наверное, это тот же самый, которого знаю и я... — сердито сказал Альберто, — наверное, это тот самый, который говорит: «Я предпочитаю, чтобы меня зарыли в землю Испании, чем быть *desterrado*<sup>1</sup> здесь — изгнанником поневоле...»

— Да, может быть, это тот же самый. Что делать, они не в силах больше терпеть... Изгнанники, которые способны «продолжать», обладают «спортивным духом», как они говорят... Вам известна также история испанского епископа, который поехал в Испанию и умер на границе своей родины... Правда, он не собирался останавливаться на границе; он хотел жить в своей стране. И в результате он действительно навеки вернулся в испанскую землю.

Дэдэ, положив свои большие руки на колени, сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Объясните мне... вы говорите о патриотизме... Я думал, что наш идеал заключается в том, чтобы вся земля стала одной большой страной, одной большой родиной... Где все будут говорить на одном языке. И где не будет больше поводов для войны, раз не будет больше границ...

— Мой бедный Дэдэ! На, выпей-ка...

Патрис протянул ему полный бокал.

— Нет, объясните мне, — повторил Дэдэ. — Я не хочу пить...

— Все это верно в идеале, но идеал этот так же далек от нас, как бессмертие, — сказал Рожэ, Граммон Недвижимщик. — В ожидании времен доверия...

— Ты ведь любишь Вуазен-ле-Нобль, Дэдэ? — спросил Серж. — Люби его, ты принесешь ему пользу, если будешь его любить. Тебе захочется, чтобы в Вуазен-ле-Нобле была спортивная площадка и водопровод... А если

---

<sup>1</sup> *Desterrado* (исп.) — отрытый, вынутый из земли, а также — оторванный от родины, изгнанник.

ты не будешь его любить, то ты будешь заниматься только увеличением своего собственного участка и его процветанием за счет других жителей Вуазена.

— Значит, все, кто не патриоты,— эгоисты?

— Отчасти... Космополиты, бездушные люди. Космополитизм только в весьма редких случаях объясняется тем, что одни люди дальше ушли в своем развитии, чем другие.

— Нацисты были патриотами...— начал Дэдэ, но Серж его прервал:

— Это неправда! Они предпочли погубить свою родину, но не допустить падения фашизма. Если бы они ее любили... Мать отдает своего ребенка, чтобы спасти его от гибели. Но предположим, что они были патриотами, поскольку они называли себя сверхлюдьми. Мать любит своего ребенка. Прекрасно. Но если она учит его, что только один он умен и велик и что поэтому он вправе отнимать у других — у ничтожеств — все, что захочет, тогда ее любовь преступна.

— И все же мальчик прав,— сказала Ольга, и Дэдэ страшно покраснел,— мне кажется, что он прав. Патриотизм свойствен нашей природе, как инстинкт любви. Но мы-то — цивилизованные люди, а ведь только первобытный человек дрался за обладание самкой...

— И это было куда проще и понятнее...— вдруг заметил Патрис.

— Ты всегда был реакционером...— отпарировал Серж.

— Да, я реакционер. Мы присутствуем при вырождении простых и ясных чувств. У меня впечатление, что я участвую в игре, где все плутуют...

— Возможно, что просто не у всех те же правила игры, что у тебя.

— Именно. У первобытного человека, который дрался за свою самку, были одинаковые правила игры с противником, оба испытывали одни и те же чувства. У них не могло быть разных правил игры.

Все эти рассуждения не устраивали Дэдэ, он хотел, чтобы ему дали исчерпывающий ответ:

— В 1939 году около Вуазена забросали камнями немца-антифашиста, который всю жизнь прожил во Франции. Его заподозрили в том, что он немецкий патриот. Вот вам ваш патриотизм!

Этим «ваш» Дэдэ разоблачил себя.

— Послушай, мой милый Дэдэ,— сказал Серж,— обычно все люди — патриоты. Этот немец был антифашистом, он хотел поражения фашистской Германии, потому что он был патриотом. А другие не могли этого понять.

— От ваших разговоров у меня голова идет кругом,— маленькая Мари вскочила.— Давайте потанцуем немножко... Пойдем, Рожэ...

Снова включили радио, и джаз ворвался в домик тетки Марты.

— Я знал когда-то на Монпарнасе одного испанского художника,— сказал Серж,— недавно я его опять встретил... Он очень постарел за то время, что мы с ним не видались. Узнав, что он собирается съездить в Перпиньяк, я, как идиот, сказал ему: «Вы хотите быть поближе к Испании, наверное, вам бы очень хотелось туда вернуться?» Он покраснел от злости и начал выкрикивать: «А зачем мне туда возвращаться, в Испанию? Я с удовольствием проведу там недельки две, но я ведь художник, и я хочу писать в Париже, только в Париже я у себя дома!» Он был в бешенстве оттого, что я заподозрил его в испанском патриотизме, тогда как в действительности он патриот живописи, а следовательно, Парижа!

— Хотелось бы мне знать, что думают местные жители... Считают ли парижане, что этот испанец в Париже — у себя дома! Боюсь, что это еще один случай любви без взаимности...

— Простите, что я осмеливаюсь вам противоречить, мадам,— сказал Дэдэ, вытирая лоб,— но любовь без взаимности — это все-таки любовь.

Наступило молчание. Рожэ и Мари продолжали вертеться вокруг стола. Наконец Патрис сказал со смехом:

— Твой художник, должно быть, неплохо уживается с другим старым монпарнасцем — поэтом... Несколько дней тому назад я был вместе с этим поэтом в гостях, там говорили о поэзии, спорили, он был очень весел, стучал кулаком по столу и кричал: «Вы говорите о национальной поэзии? А мне нравится поэзия «метеков!» Чудак!..

Все, кроме Дэдэ, рассмеялись. Альберто встал.

— Прогуляемся, на улице, наверное, хорошо...

Никто не помешал Альберто и Ольге выйти вместе, никто не вызвался их сопровождать.

Была неправдоподобно лунная ночь, вся окрестность, все поля были залиты светом. Там, где лежал снег, сверкали ледяные блески. Бок о бок, они шли по широкой магистрали... Испанский генерал в изгнании и русская эмигрантка шли вдвоем по французской земле. По земле приютившей их Франции, по чужой земле.

— Ольга, сегодня мы встречаемся в третий раз... Как в сказке... в сказках все повторяется три раза. Третий раз... и последний! Я должен ехать в Мексику. Если вас не пугает бродячая жизнь... Если бы вы не побоялись... Я превратился в интернационального странника, я блуждаю повсюду, где происходят революции или возникает очаг фашизма... Такая жизнь не для меня, я не профессиональный революционер. Я всего только солдат. Побитый генерал. Я превратился в простого солдата. Есть такие трибуны, вожди, ведущие за собой народы, которые ютятся сейчас в меблированных комнатах. На что может надеяться какой-нибудь Керенский? Его даже никто не хочет убить... Я должен ехать в Мексику, но долго ли я там пробуду? Может быть, мне снова придется уехать куда-нибудь, например в Южную Америку... Если вы не боитесь...

— Я боюсь...

— Ольга!

Альберто остановился, положил руку на рукав Ольги, встал перед ней, посмотрел ей прямо в лицо; лицо Ольги было обесцвечено светом луны, точно светом газового фонаря. Альберто сжал ее руку, он словно обезумел...

— Я вам не нужен? Да? Скажите!

— Я — как Патрис, — ответила Ольга, улыбаясь. Они стояли среди огромных холодных полей, освещенных синеватым газовым светом луны.

— Ольга, не смейтесь. Ваше горе — мое горе. То же самое горе...

Они продолжали стоять лицом к лицу. На голове у Ольги был белый шерстяной платок, она куталась в котиковое мантио, душистое и мягкое.

Альберто взял ее руки в свои. Он ждал:

— Это третий раз, Ольга, — последний...

Что хотел от нее этот незнакомец с изможденным лицом, орлиным носом, горящими глазами... Что знала она о нем? Что он знал о ней? Ольга подумала, что если безумная идея последовать за ним... Ей надо будет укладывать

чемоданы, ей, может быть, придется вставать чуть свет, чтобы успеть на самолет... С этим незнакомцем. А Агнеса? Бедная маленькая Агнесса... Элизабет... Разве военный имеет право связывать себя с женщиной, да еще с женщиной такой репутации, как у Ольги?

— То, о чем вы думаете сейчас, Ольга, не имеет значения,— Альберто склонил к ней свое пылающее лицо.— Вы устали... Скажите мне, что это только потому, что вы устали, а не потому, что я вам не нужен! Скажите мне «до завтра».

— До завтра...— сказала Ольга.— Но вы не можете знать...

Альберто целовал ей руки, он был не в силах оторваться от этих рук, таких теплых, несмотря на сильный мороз.

— Идемте,— сказала она и взяла Альберто под руку.

Они пошли бок о бок по широкому шоссе, маленькие фигурки, затерявшиеся среди бескрайних полей. О чем они говорили? Они удалялись так быстро, что слов нельзя было различить.

В домике тетки Марты их, казалось, не ждали, даже не заметили их отсутствия. Жених с невестой — Рожэ и Мари — поднимались и спускались по лестнице, выходили в маленький лунный сад с черными скелетами деревьев, возвращались, принося с собой белый туман, танцевали, шептались... Ив, Серж и Патрис спорили, пили. Расстроенный Дэдэ сидел молча, неуклюжий, как персонаж с лубочной картинки, и только поглядывал на дверь. Наконец она открылась: появились Ольга и Альберто.

— Уже четвертый час, дети мои,— заметил Серж,— не пора ли домой?

— Подожди, Серж, подожди! — Патрис разошелся.— Сейчас мы выпьем горяченького. У вас еще есть время... так грустно расставаться...

— Тогда скорее, и поехали! — У Ива прикрытые очками глаза слипались от усталости.

Они снова сели за стол.

— Мы все вместе...— сказал Дэдэ. Он просто констатировал факт, но никто не засмеялся.

Еще раз выпили за здоровье каждого. И за здоровье президента Коти тоже: раз имеется совсем новенький

президент, его надо sprыснуть... Ели с аппетитом. Это очень вкусно — холодная индюшка с салатом.

— Остается только продекламировать наш прощальный гимн...

— Песню надо петь, — Граммон Недвижимщик встал, одним прыжком одолел лестницу и вернулся с гитарой. — Это мой сюрприз, напоследок...

Он настроил гитару, откашлялся, запел было... остановился...

— Волнуюсь, — сказал он. — Я попросил одного венгерского товарища положить это на музыку... Дело ответственное! Песня-то ведь не простая...

Он опять откашлялся:

— «Гренада, Гренада...» вы подхватите хором. Не подведите меня.

И вполголоса, робко, он начал...

Мы ехали шагом,  
Мы мчались в боях  
И «Яблочко»-песню  
Держали в зубах.  
Ах, песенку эту  
Доныне хранит  
Трава молодая —  
Степной малахит...

Он спел все куплеты полностью. Остальные подхватывали хором:

Гренада, Гренада,  
Гренада моя.

Но последние строфы они спели все вместе, теперь они уже запомнили мотив, и всем им захотелось петь...

...Я хату покинул,  
Пошел воевать,  
Чтоб землю в Гренаде  
Крестьянам отдать.  
Прощайте, родные!  
Прощайте, семья!  
Гренада, Гренада,  
Гренада моя!

Они пели:

...Мы мчались, мечтая  
Постичь поскорей  
Граматику боя —  
Язык батарей.  
Восход поднимался  
И падал опять...

Они пели:

...Не надо, ребята,  
О песне тужить.  
Не надо, не надо,  
Не надо, друзья...  
Гренада, Гренада,  
Гренада моя!

Они аплодировали самим себе; устроили овацию Рожэ, целовали его и благодарили... Мотив был легкий, казалось, он всегда существовал! «Знакомый мотив!..» Но ведь его сочинил приятель Рожэ! Серж был потрясен, сам он умел сочинять только сложные вещи... Откуда он взялся, твой венгр? Давайте еще раз! Последний раз, надо ехать.

Они спели все до конца, так же как отряд спел «Яблочко». Потом встали, пошли за пальто. Теперь все были молчаливы, как бы боясь развеять отзвуки песни. Пожали друг другу руки. «Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать!»

Мотор, тепло укутанный в одеяло, завелся сразу. И машина Ива унесла гостей в ночную даль.

Буазен-ле-Нобль спал. Дэдэ Граммон пошел на ферму своего отца, Граммона Большого...

Я видел: над трупом  
Склонилась луна,  
И мертвые губы  
Шепнули: «Грена...»

— пел Дэдэ. Рожэ, Граммон Недвижимщик, проводил маленькую Мари до дома ее тетки Граммон и вернулся домой к своей матери, вдове Граммон... Он весь горел. Ему было жарко, несмотря на мороз. Мари! Песня...

Он песенку эту  
Твердил наизусть...  
Откуда у хлопца  
Испанская грусть?

Сам для себя он пел по-другому:

...Ответь мне, Париж,  
И Марсель, мне ответь,  
Давно ль по-испански  
Вы начали петь?..

Он толкнул калитку в заборе, собака тихонько залаяла...

Патрис Граммон поднялся по лестнице и лег в постель тетки Марты Граммон. Он думал о том, что ему повезло, как ему когда-то сказал Альберто, ему повезло, что он

родился во Франции и может умереть там, где родился, что, наверное, так оно и будет и что в общем это естественно. «Хорошую музыку сочинил венгр», — Патрис погасил лампу, а песня все еще звучала у него в ушах...

...С тех пор не слышали

Родные края:

«Гренада, Гренада,

Гренада моя!»

Если весь год будет таким, как новогодняя ночь, то это будет хороший, превосходный год.

Выходной день Фернандо приходился на середину недели, когда все его товарищи были на работе, и чтобы встретиться с ними, нужно было дожидаться вечера. Фернандо жил в меблированных комнатах, в Обервилье<sup>1</sup>. Это было далеко от его работы, но попробуйте найти комнату за пять тысяч франков в месяц рядом с «Гранд-отелем Терминюс», в центре Парижа, в роскошных кварталах. К тому же в Обервилье жило много испанцев, и в том доме, где квартировал Фернандо, все пять комнат на его этаже были заняты испанцами. Только первый этаж, заселенный до отказа, был предоставлен алжирцам. Испанцы, особенно когда они жили семьями, спешили вернуть хозяину его грязную рухлядь, оклеивали стены, белили потолки и заводили собственную мебель в ожидании того времени, когда найдут себе квартиру. Каждый мечтал избавиться от надзора хозяина, от полицейских инспекторов меблированных комнат, от «запрещений» перечисленных у входа... Правда, на эти запрещения никто не обращал внимания, а уж Фернандо они и вовсе не касались: он не ел у себя в комнате и, следовательно, не нуждался в запрещенной газовой плитке, он никого не принимал после десяти вечера, у него не было детей... А последняя стычка произошла как раз из-за того, что хозяин вознамерился взимать четыреста франков ежемесячно за детскую коляску, которую поставили в комнате, где родился ребенок. Жилец и хозяин подрались на лестничной площадке между этажами, около уборных. Они прижали к стене женщину, которая шла за водой — кран находился на площадке, — она не могла тронуться с места, и ее крики придавали драке особый драматизм. Появилась полиция

---

<sup>1</sup> Обервилье — район на окраине Парижа.

и разняла дерущихся, захватив с собой для порядка алжирца, немного свидетеля всех этих волнений. Было вынесено решение, что за «постой» детской коляски на лестнице или во дворе жилец должен платить четыреста франков в месяц, но в своей комнате он может держать ее бесплатно. Хозяин не настаивал: выставить за дверь испанца, женатого на француженке, значило восстановить против себя весь квартал. Он удовольствовался тем, что ежедневно подстерегал мать, когда она вывозила ребенка на прогулку, поэтому все жильцы — алжирцы, французы и испанцы — всегда были наготове быстро поднять или спустить коляску, так как малейшая задержка могла привести к новым притеснениям. Дело было не в четырехстах франках — отец, квалифицированный рабочий, достаточно зарабатывал, — но они не хотели подчиняться хозяину, этому кровопийце, этой пиявке.

Хозяин приехал в Париж из колоний в надежде составить себе состояние, с такой же целью его отец уехал когда-то из Парижа в колонии. Вместо состояния и тот и другой заполучили болезнь печени и едкий, как желчь, характер. Хозяин меблированных комнат был холост, с него хватало пяти братьев и сестер, оставшихся в Алжире. Ему пришлось их воспитывать, так как родители давно умерли. Ради братьев и сестер он вложил все свои сбережения в меблированные комнаты и еще влез в долги. Однако, вместо того чтобы давать прибыль, это предприятие его разоряло — налоги, ремонт, хищения, а тут еще и эти свиньи — жильцы... Людям с чувствительной душой больно было на него глядеть... В Париже он был совсем одинок и всегда дрожал от холода, как настоящий алжирец. Каждую копейку он отсылал своим в Алжир, изворачиваясь, чтобы свести концы с концами. О «бико» лучше было не упоминать при нем! Когда он приобрел это заведение, он и в мыслях не имел сдавать им комнаты, но позднее он понял, что помещения первого этажа, темные и сырые, можно сдать только алжирцам, он понял также, что, сдавая их по койкам, он извлечет максимальную прибыль: алжирцы набивались по четыре, шесть и даже по восемь человек в одну комнату, в то время как французы и испанцы, даже самые неприятельные, соглашались спать в таких комнатах разве что вдвоем. И вот хозяин предоставил первый этаж алжирцам и совсем забросил его, перестав производить хоть какой-нибудь ремонт. С памятной ночи, когда там про-

изошла драка и один из алжирцев выпрыгнул в окно, оно так и стояло разбитым, и через него видна была занавеска, развевающаяся, как знамя мерзости и запустения.

Но все это мало трогало Фернандо. Теперь, когда его друг Карлос — ночной дежурный «Терминюса», где Фернандо был коридорным, — оставил службу в отеле, чтобы посвятить себя науке, и в частности звездам, Фернандо уже не с кем было проводить ночи в «Терминюсе». После собраний, не имевших никакого отношения к его работе в «Терминюсе», он возвращался в свою комнату, только чтобы переночевать, а на заре снова отправлялся на работу. В свой выходной он долго спал и поднимался лишь к тому времени, когда люди возвращаются с работы. За вечер выходного дня он успевал сделать все, что накапливалось за неделю. Он даже мог пойти прогуляться, побродить, если ему заблагорассудится зайти к тому, к другому, без всякой определенной цели, чтобы повидать друзей, услышать язык своей страны, своего сердца. У него было много знакомых, живших в Обервилье и на Плен Сен-Дени, испанском районе Парижа.

На Плен Сен-Дени с конца XIX века поселились испанцы, которых выгнала из Испании нищета. Первые были из Бургоса, они работали на стекольном заводе Легра и жили на авеню де Пари, переименованной в авеню Президента Вильсона, недалеко от места работы. Между 1911 и 1921 годами их становилось все больше, они заняли проезд Буаз и улицу Жюстис, которая называется теперь улицей Кристино Гарсиа... Они приезжали из Саморы, Карраля, Касереса, Навалморала, Оргаса, Силио, Робледильо, Альседы, Гисоны... Они приезжали с семьями и работали поденщиками, чернорабочими на проволочном заводе Мутона, на химических заводах Кульмана, на стекольном заводе Сен-Гобэн, в Газовой компании... После 1937 года здесь появились испанские республиканцы. Плен Сен-Дени стал настоящей испанской колонией, со своим особым языком, пищей, песнями и обычаями. На Плен старики, так давно живущие во Франции, почти не говорят по-французски и даже молодые, хотя и они говорят по-французски, как французы, мечтают об Испании и твердят печально: «Ведь здесь мы навсегда останемся незванными гостями...» Чтобы побыть в испанской атмосфере, Фернандо посещал Плен Сен-Дени даже тогда, когда ему там совсем нечего было делать.

Вечер был очень холодный. Фернандо поднялся с железной кровати, которая скрипела, скрежетала и пищала при малейшем его движении. В комнате не было холодно, она, казалось, согревалась от стен, которые ее окружали, так согреваются, прижимаясь друг к другу, тела людей в лагере, например. В этот час в меблированных комнатах царил особая, успокаивающая тишина, необычная для этого места, всегда полного голосов, хлопанья дверей, шума шагов... Люди еще не вернулись с работы, а хозяйки ушли за покупками. Фернандо пошел на площадку за водой, вымылся, побрился почти на ощупь — лампочка светила, точно свечка, — надел свой воскресный костюм, канадку. Теперь в маленьком Фернандо ничего не осталось от коридорного, одетого в полосатый жилет, он стал элегантным на южный манер господином в нейлоновой рубашке с узкими манжетами и плотно обхватывающим шею воротничком, подчеркивавшим его выступающий кадык, в брюках со складкой, в туго натянутых носках, в блестящих, как зеркало, ботинках... Слегка припудренные синие щеки, густые, резко очерченные брови делали его похожим на маленького кабальеро. Ему только не следовало поднимать веки с короткими густыми черными ресницами: в глазах его было слишком напряженное выражение, они выдавали слишком живучую внутреннюю силу... То была сама Испания огня и серы. Фернандо решил пойти прогуляться, он ведь редко бывал на воздухе. Еще не было шести часов... Товарищ, которого он хотел навестить, болен, надо дожидаться часа, когда возвращаются его домашние. Даже если постучать условленным образом, больной все равно не сможет встать с постели, чтобы открыть дверь.

На улице царил шестичасовое оживление. Магазины закрывались, только гастрономические работали вовсю, на остановках автобусов стояли очереди, лестницы метро превратились в людские водопады. Тепло, выдыхаемое людьми и исходящее от их тел, образовывало белый пар, висевший в морозной синеве воздуха, окружая каждый фонарь лунным ореолом. Прогуливавшегося не спеша Фернандо задевали люди, которые торопились кто домой, кто купить чего-нибудь поесть — спускались в метро, выходили оттуда или вскакивали на ходу в автобус. Фернандо попадал в различные встречные течения, его толкали со всех сторон... Он наугад свернул в какую-то улицу, которая показалась ему менее людной... Это была бесконечно длинная улица.

Мало-помалу он углубился в квартал депо и рельсов, глухих стен и железных строений... Шум и суматоха замирали медленным диминуэндо, и, когда Фернандо вышел к каналу, вселенная совсем замерла, немая и неподвижная, как вода, покрывшаяся льдом.

Канал, вытянувшийся на уровне земли, лежал неподвижно, точно дохлая рыба. Заводы, которые он обычно обслуживал, пребывали в мрачном безмолвии. Фернандо перешел через мост... Отсюда была видна насыпь укреплений<sup>1</sup>; среди высоких стен, кирпича и цемента городского пейзажа странно выглядела голая земля, сухая и затвердевшая от мороза. Фернандо не столько видел, сколько угадывал насыпь укреплений... Он хорошо знал эту местность, и, попади он сюда темной, непроглядной ночью, он все равно узнал бы ее по запаху химических продуктов, который все усиливался, становился все гуще. Фернандо шел вдоль канала, ему было знакомо однообразие этой стены цвета запекшейся крови, на которой гигантскими буквами запрещалось клеить афиши. А для кого стали бы клеить афиши в этой пустыне, где только один газовый фонарь освещал всю длинную улицу, между глухой стеной и спящим каналом?.. Но напротив, на другой стороне канала, был завод, рабочие, и днем можно было ясно прочесть слова: «Мир Вьетнаму!», написанные суриком, растекшимися от спешки буквами... Следуя изгибам улицы, Фернандо повернул в сторону от застывшего канала. Перед ним в небе цвета бумажного абажура, над огнями Парижа появились громадные круги, черные, тонкие, прозрачные: это были резервуары газового завода. Их каркасы возвышались над баллонами с газом, и от всего этого исходил запах смерти, взрыва, опасности. Фернандо почувствовал себя очень маленьким и очень одиноким. Да он и на самом деле был совсем одинок и не велик ростом. Два велосипедиста огибали второй поворот дороги — юноша и девушка... Как когда-то Долорес и он. Ведь Фернандо совершал сейчас паломничество к местам, где он был некогда счастлив. Где теперь эта дружинница, носившая когда-то синий комбинезон<sup>2</sup>, ставшая потом работницей парижской фабрики... Она лежит в земле Франции, убитая где-то в маки. Фернандо

<sup>1</sup> Вокруг Парижа сохранились еще в некоторых местах старые земляные укрепления.

<sup>2</sup> Испанки, сражавшиеся на республиканском фронте, носили синие комбинезоны.

повернул назад, он замерз. Опять канал, газовый фонарь, стена... запрещение клеить афиши... Фернандо направился по авеню Президента Вильсона к Плен Сен-Дени. Вот и она, эта равнина<sup>1</sup>.

Казалось, она несет на себе следы всего своего прошлого. Плоская, огромная, она была когда-то полем битвы: здесь некогда принц Кондэ во главе протестантов встретился с коннетаблем Ан де Монморенси, командовавшим католиками, и был здесь же убит. Потом, в течение трех столетий, эта земля, вспаханная битвой, взрыхлялась только мотыгой земледельца, и лишь в середине XX века сюда пришла промышленность и стерла следы его труда, поглотив целые гектары пашни. И вот теперь сохранились только жалкие клочки зелени, похожие на голую кожу, виднеющуюся сквозь панцирь из цемента и кирпича. Промышленность взяла все в свои руки. Уже в 1847 году для ее нужд был построен канал, к нему прибавилась специальная железнодорожная ветка, которая соединила заводы с железнодорожной магистралью, с каналом, с товарной станцией и со станцией Пантен. Рельсы железным каблукom наступили на зелень, на жилища рабочих. Потом, в сороковых годах, война разразилась над этой равниной, ранила заводы, железную дорогу, домики и все живое, что встречалось на ее пути. Мужчины из испанской колонии вступили в движение Сопротивления, и смерть вошла в Плен со всех концов, сверху и снизу...

Улица, на которой жил его друг, на этот раз показалась Фернандо очень длинной и жалкой. Все на ней стоит вкривь и вкось, шрамы войны словно заклеены грязным пластырем — заделаны старыми досками, толем, дырявыми листами рифленого железа, положенными один на другой так, чтобы дыры не совпадали, подобно тому как один приятель Фернандо надевал несколько пар носков. Когда заборы и стены окружали заводской двор, сквозь них видны были во тьме кучи то ли тряпок, то ли бумаги, иногда эти заборы и стены выглядели как бы домиками, а пустоты между ними — двориками... Во всем этом хаосе только шоссе было прямым и чистым. Звонки велосипедистов, проезжавших по мостовой, звенели, как расколотый лед.

На углах улиц женщины болтали по-испански, под-

---

<sup>1</sup> Плен (plain) — равнина.

жидая, пока их кувшины наполняются водой, непрерывно текшей из кранов колонок; стекая ручейками на землю, вода тут же замерзала... Теперь Фернандо торопился, как все,— у него замерзли ноги. Улицу пересекали рельсы, на рельсах стояли без движения товарные вагоны.. Пузатые, высокие, они прибыли с железнодорожных магистралей и, величественные и важные, стали вплотную к хрупким строениям, чтобы выгрузить товары в самом центре завода, на котором работали все эти люди, жившие в своих домиках, как улитки в раковинах... Не вынимая рук из карманов, Фернандо толкнул животом жалитку и, не сбавляя шага, вошел в узкий проход между покосившимися заборами и низкими стенами, поднялся по наружной деревянной лестнице, начинавшейся во дворе и ведущей на балкон, тоже деревянный. Испанцы старались иногда придать своим жилищам сходство с домиками их родины... Фернандо постучал в дверь.

— ¿ Quién? es<sup>1</sup>? — спросил изнутри женский голос.

В окне приподнялась занавеска, кто-то прижался лбом к стеклу, освещенному изнутри, стараясь во тьме разглядеть посетителя. Светлые локоны... Это Анита. Дверь открылась.

— Salud<sup>2</sup>, Фернандо!

Дверь тотчас же закрыли, подтолкнув свернутый ковер, положенный там, чтобы не дуло из щели. В комнате находились две женщины и мужчина. Они только что начали ужинать — суповая миска стояла на столе... У них тут было холодно, воздух насыщен испарениями, как в нетопленной ванной, когда пустят горячую воду. Неровная поверхность стен, недавно заново оклеенных обоями в цветочках, зеркало над бутафорским камином из поддельного мрамора, новая газовая плитка и белая клеенка на столе — все было мокро, все вспотело, и пот этот был холодным.

— Ну, как он себя чувствует? — спросил Фернандо.

Испанская речь наполнила комнату как бы торопливым хлопаньем крыльев; он чувствует себя плохо, говорили обе женщины, и мужчина им вторил, доктор приходил два раза... «Какой доктор, — воскликнул Фернандо, — надеюсь, что это был товарищ — коммунист?» Да, конечно, товарищ,

---

<sup>1</sup> Кто там? (исп.).

<sup>2</sup> Привет (исп.).

какой-то француз, они не запомнили фамилии... Ему ничего не объясняли, просто посоветовали молчать. Но главное и самое ужасное это то, что больного придется перевезти в больницу. Доктор сказал, что необходима операция. «В больницу? — повторил Фернандо. — Но это же невозможно!» Они поглядели друг на друга: да, это невозможно, но если он умрет из-за того, что его вовремя не оперируют... А это разве возможно?! Мужчина — стеклодув, седой, высохший, горбоносый, его жена, с красивым лицом, в очках, и сестра жены Анита, двадцати лет, со светлыми, как рожь, волосами, кудрявая и кокетливая... Все трое стояли, с тоской и ожиданием глядя на Фернандо. Ведь Фернандо — политический комиссар, он должен найти какой-то выход, как же иначе... «Можно мне к нему?» — спросил Фернандо, и остальные почувствовали облегчение.

Он прошел через темную холодную комнату, в которой угадывалась большая постель и платяной шкаф, толкнул перед собой дверь; во тьме электрический рефлектор установился на него круглым воспаленным глазом... лампа у постели, закрытая газетой, почти не освещала комнату... Человек в постели не шевелился, как мертвый. Фернандо закрыл дверь и позвал тихонько: «Руис». Больной ответил не сразу, и в течение секунды, которая показалась ему вечностью, Фернандо думал, что перед ним мертвец.

— Salud, Фернандо...

Фернандо подошел к постели, дотронулся до влажной руки:

— Ты себя плохо чувствуешь, Руис? Ты страдаешь? Доктор сказал, что тебя надо перевезти в больницу...

— Я не поеду в больницу... Ты прекрасно знаешь, что, если я туда поеду, нас всех посадят в тюрьму...

— Как-нибудь устроимся... Все уладится. Ты поедешь в частную клинику к французским товарищам...

Больной поднял подбородок.

— Нет... Я не затем вышел из мадридской тюрьмы, чтобы попасть в тюрьму в Париже, да еще завалить всю организацию. Я не поеду ни в больницу, ни в клинику к товарищам... Что они будут делать, если я умру и им начнут задавать вопросы? Если я умру здесь, вы бросите мое тело в канал...

Было темно, и Руис не видел слез, текших по щекам Фернандо.

— Ты передал поручение Луиса товарищам? — спросил больной через некоторое время. — Они согласны?

Фернандо передал поручение, и товарищи согласны. Он не осмелился добавить, что времени в обрез и что теперь, когда Руис болен, ответ мог прийти в Мадрид слишком поздно... Он только спросил Руиса, может ли кто-нибудь другой перейти вместо него границу в том же месте и обратиться к тем же людям? Может быть, товарищи на границе не поверят другому, несмотря на условленный пароль... Они ведь знают только Руиса.

Вдруг в темную комнату донеслись приглушенные нежные звуки гитары... Фламенко. Они слушали молча.

— В следующий раз надо будет сделать мотив фламенко нашим паролем. Скажи им также, Фернандо, что на заводе все готово... большая стачка почти созрела... Люди дольше не могут терпеть!

Они снова замолчали.

— Руис, ты должен согласиться на операцию! — умолял Фернандо.

— Оставь... Скажи лучше, как поживает наша старушка Тереса?

— Сейчас я тебя рассмешу... Вчера Тереса пошла покупать рыбу, и около нее очутились два парня, только что приехавшие из Испании, которые не знали, как объясниться... и вот Тереса помогла им купить кусок судака, а торговка всучила им и голову впридачу... Ты ведь знаешь, какая Тереса, она никогда не упустит случая... «Ну, а наш Франко, как он поживает?» Вообрази, что они ей ответили: «Франко? Пусть он подавится этой рыбьей головой!»

— Да,— сказал Руис и, может быть, даже улыбнулся в темноте,— дела идут неплохо... Еще лет пять-шесть — и на месте Франко окажется какая-нибудь хунта... И все смогут вернуться домой, жить и бороться у себя на родине, вздохнуть наконец свободно...

Фернандо снова не сумел сдержать слез. Руис слегка застонал и сказал с трудом:

— Если я потеряю сознание, помни, Фернандо: никакой больницы — канал... Вас никто не заподозрит в том, что вы меня убили, потому что с точки зрения закона я не существую. Повтори мне маршрут и имя товарища на границе, я хочу удостовериться, что ты все запомнил...

вать, туалетный столик с зеркалом... Фернандо поставил чашку на камин.

— Руис смертельно болен,— сказал он, не садясь, сразу же, как только Хуан закрыл за ним дверь,— его надо перевезти от Хосе, он совсем один весь день, и там нет даже воды... уборная во дворе... стоят холода, ты представляешь себе, такому больному... к тому же Хосе на подозрении, а кюре в двух шагах от него... Ты понимаешь, Руис очень, очень болен...

— Не может быть! Очень болен?... Ты думаешь, что он умрет?— По выражению лица Фернандо Хуан понял... Он закашлялся, прочистил горло и тогда только смог сказать: — Придется пойти к Дюранам. Старик Дюран не откажется. Кроме него, в данный момент не к кому обратиться.

— А если Руис умрет?

Оба замолчали.

— Это такие товарищи, которые согласятся на все,— сказал в конце концов Хуан.— Я пойду позволю им...

— Я подожду тебя здесь, а то по моему виду могут заметить, что что-то неладно.

Фернандо остался один. Сидя на диване, он размышлял. Если Дюраны возьмут Руиса к себе, условия для больного улучшатся. Папаша Дюран был отставной почтовый служащий, старый член партии... А его жена так и осталась маленькой бретонкой, приехавшей в Париж искать работы сорок лет тому назад. Ни Париж, ни идеи мужа не оказали на нее никакого влияния... Она продолжала быть католичкой на бретонский лад. И хотя их единственный сын пошел в отца, мать считала, что его устами глаголят ангелы и сам господь бог... Этот единственный сын погиб в Испании на Гвадалахарском фронте. Дюраны будут ухаживать за Руисом. Фернандо размышлял, разглядывая «Человека с гвоздикой» — рисунок Пикассо, висевший напротив него на стене в маленькой золотой раме... Белоянис... Фернандо гордился тем, что он принадлежит к семье Белояниса, он мог пересечь весь мир, и повсюду нашлись бы члены этой семьи. Повсюду, во всем мире, существовали такие Дюраны, всегда готовые принять у себя этого или другого Руиса, оплакать Белояниса, постичь улыбку «Человека с гвоздикой», запах цветка, оценить чувство собственного достоинства, превращающее побеж-

денного в победителя. Фернандо встал, чтобы подкинуть в огонь полено, он напевал...

Чтоб землю в Гренаде  
Крестьянам отдать.

Накануне вечером он видел Альберто, а Альберто не переставая напевал эту песню, вот и заразил его. Фернандо чувствовал себя сродни бойцу из песни: он оставил и семью и деревню и вот оказался здесь, в Париже, всем чужой... А между тем рядом слышались испанские голоса и можно было подумать... И вдруг Фернандо до боли захотелось очутиться в родной деревне. Он видел перед собой своего отца, кузнеца, слышал удары молота о наковальню, видел мать, маленькую сестру... Ах, это из-за Руиса у него сердце переворачивается! Сердце, которое отбивало песню, как колеса поезда, неутомимо повторяющие один и тот же мотив на протяжении километров...

Он песенку эту  
Твердил наизусть...  
Откуда у хлопца  
Испанская грусть?  
Ответь, Александровск,  
И Харьков, ответь:  
Давно ль по-испански  
Вы начали петь?

Открылась дверь.

— Мы договорились, — сказал Хуан, — папаша Дюран отправится за Руисом завтра утром. Он знает одного шофера грузовика, вполне надежного. Они установят постель в грузовике. Руису там будет не хуже, чем в карете скорой помощи. С ними поедет профессор Мартин, у него своя клиника, и если дело обернется плохо... Мы не в пустыне живем, уверяю тебя...

### XXXI

Фернандо пришлось дожидаться следующего выходного, чтобы отправиться в Префектуру за продлением удостоверения о праве на жительство. Оно было просрочено, и Фернандо опасался неприятностей. Но это не нарушало хорошего расположения духа, в котором он проснулся: Руис чувствовал себя лучше, надеялись, что можно будет обойтись без операции. Бреясь, Фернандо уговаривал себя, что опасность «высылки», должно быть, прошла для него, иначе полицейские инспектора уже давно появились бы у него на рассвете — в час, когда развозят молоко. Они бы погрузили его вместе с чемоданом в крытую машину и отвезли бы на улицу Соссэ, заставили бы заполнить анкету и — на вокзал! В путь, в Канталь, в Вож, на Корсику или в Африку! Они не давали себе труда предварительно вызывать и допрашивать испанцев, потому что боялись, как бы после такого предупреждения опрошенный не сбежал и не скрылся в Париже, среди своих единомышленников. Испанцев высылали без промедления.

Фернандо одевался так, как будто шел на любовное свидание; ему хотелось произвести хорошее впечатление на чиновника в Префектуре, показаться ему «господином» в несчастье, а не человеком, который рожден быть коридорным в отеле. Напоследок он еще раз погляделся в зеркало, проверил в бумажнике документы; все в порядке: удостоверение о национальности, выданное французским отделением «Общества защиты беженцев и апатридов», удостоверение о праве на жительство, выданное Префектурой, трудовая книжка, выданная Министерством труда... Ну, с богом! Фернандо вышел и запер свою комнату на ключ.

Этажом ниже он постучал в дверь и крикнул: «Педро!»

Комната безмолствовала; ответила соседка из-за своей двери: «Педро вернется только в десять часов, он сегодня в ночной смене...» Открылась третья дверь, появился заспанный человек:

— Как дела, Фернандо?.. Я хотел тебе сказать, что мы устроили вчера вечером собрание в гостинице «Модерн»...

— В Бельвиле?

— Да... Получилось очень здорово! Там живут одни испанцы... Мы устроили массовое собрание, не выходя из дома! Да! — человек тихонько засмеялся. — Ты знаешь, Фернандо, они все будут с нами! Почва под Франко колеблется, уверяю тебя! Ты бы поглядел на них вчера... Там, в гостинице, живут не только республиканцы, там разный народ... И все были заодно! Но куда ты идешь так рано, Фернандо?

— В Префектуру, за удостоверением о праве на жительство.

— Бедняга! Помни, ждать нам остается куда меньше, чем мы ждали... Уверяю тебя! Иду спать, я еще дежурил ночью после собрания. Желаю счастья, Фернандо...

Фернандо спустился по лестнице и сел в метро.

Перед Префектурой былолюдно. Прежде чем углубиться под своды, Фернандо, чувствуя себя неловко в этой толпе, остановился на тротуаре. Начиная отсюда, каждый прохожий попадал под подозрение. Фернандо не знал, кто их подозревал и в чем... Каждый был на подозрении у каждого, каждый думал, что за ним следят, что он сам следит, что у него не может быть чиста совесть. Никогда Фернандо к этому не привыкнуть... «Этому»? Чему «этому»? Но разве не было вокруг него глаз, спин, лиц, которые следили за любым его движением? И затылок Фернандо и его плечи чувствовали, что того гляди на них опустится рука и огромная махина поглотит его... Машина была плохо склепана, не отвечала правилам безопасности, и стоило только сунуть в нее палец, чтобы она добралась до вашего сердца, до вашего мозга. И все-таки надо было войти.

Фернандо вошел в ворота и, остановившись, стал искать на развешанных по стенам громадных досках, где, как в оглавлении, были перечислены все отделы этого учреждения, на каком этаже, в каком коридоре находится тот, который ему нужен. Ага, вот... Во внутреннем дворе

сомкнутыми рядами стояли полицейские машины. Фернандо отвернулся: слишком хорошо были знакомы ему эти машины — как их внутренность, так и наружный вид... На больших мемориальных досках из белого мрамора были перечислены имена полицейских, погибших «жертвами долга»... Странное выражение, хоть и ходячее: разве можно быть «жертвой» добродетели? К слову жертва напрашивается определение — невинная... Невинные жертвы долга! Как будто бы долг — это палач. Фернандо блуждал по квадратному двору. Камни окружали его со всех сторон, но над головой сияло небо, голубое зимнее небо. Пусть в этом направлении и нельзя было сбежать без посторонней помощи, все же небо есть небо. Сколько раз глядел вот так Фернандо на небо в тюрьме, в лагере... А в тот день, когда у человека будут собственные крылья, наверное, придумают что-нибудь такое, что и небо загородит решеткой.

Во дворе кишмя кишело, так же как и на улице. Что делают здесь все эти люди? Фернандо вошел в одну из дверей, лифт показался ему клеткой — он решил подняться пешком. Этаж, еще один... Ведь ему на четвертый? Широкая лестница, широкий коридор были почти пусты... Странно, обычно в отделах, где продлевают удостоверения о праве на жительство, бывает очередь. Особая очередь, состоящая из смуглых людей с курчавыми волосами: мужчин, одетых в мятые пиджаки, кожаные куртки, клетчатые рубашки, без галстуков, в сандалиях... женщин с золотыми кольцами в ушах, с локонами на голове... А здесь, в широком коридоре четвертого этажа, не было никого. Фернандо медленно продвигался между двустворчатыми дверьми, наглухо закрытыми, как в отелях, больницах, тюрьмах... Им не было конца. Пахло штемпельной краской. Наконец открытая дверь. Над ней надпись: «Зал ожидания». Фернандо вошел, одним взглядом окинул железные скамейки, расчертившие комнату черными полосами, на стене печатный список «присяжных переводчиков»... худой человек одиноко сидел в углу, три женщины сидели вместе — молодая тучная матрона и еще две. Они похожи на хозяйку публичного дома и двух ее подопечных... Фернандо подошел к окну, его всегда тянуло к выходу. Из окна были видны пристройки, где помещались отделы этого же учреждения. Узкий проход между двумя домами, а над ним соединяющий их воздушный мост. На всех этажах в

окна видны были безостановочно стучавшие машинистки, и даже было слышно, как щелкают их машинки и звенят, передвигаясь, каретки. А надо всем простиралось небо, и в нем одиноко развевался сине-бело-красный флаг, как надпись: Франция. Немного сбоку, выступая за крышу Префектуры, над прекрасной старинной каменной стеной крупным планом на фоне голубого неба стояли спина к спине античные торсы в латах, безрукие, безногие, безголовые, изваянные из подернутого копотью светло-серого камня, того самого камня, из которого сделаны все скульптуры Парижа. Фернандо перевел взор в зал ожидания, и он показался ему еще более безобразным со своими тяжелыми железными скамейками, сделанными по образцу деревянных деревенских и отполированными дочерна теми, кто, сидя на них, ждал, ждет и будет ждать... Эти скамейки навели на мысль о цепях, пытках, колодках, кандалах... Фернандо нерешительно сел на одну из них: он, наверное, попал не в тот отдел. В здании напрстив, на другой стороне узкого прохода, машинистки, все повернутые лицом в одну сторону — чтобы свет падал слева, — стучали на своих машинках... В небе флаг... Свобода, Равенство и Братство... Фернандо встал, вышел в коридор, и ему сразу бросилась в глаза надпись на двери напротив: «Высылка. Действительная служба». Как мог он не заметить этого! Но такие же надписи были на всех дверях!.. Высылка, действительная служба. Ему вовсе не хотелось здесь задерживаться. Но этот коридор никогда не кончится! Вот углубление... Клетка лифта за решеткой. Нет, это не выход. На клетке лифта криво повешенный картон гласил: «Лифт не работает»... А внизу было прибавлено еще что-то на другой бумаге... Фернандо подошел ближе: печатным шрифтом, вырезанным из какого-то циркуляра, было написано: «во время беременности». «Лифт не работает во время беременности»... Фернандо улыбнулся: ну и весельчак тот, кому пришло в голову пошутить в таком месте. Значит, не все еще потеряно! Он продолжал свой путь. Некоторые люди, сидевшие вдоль стен, провожали его взглядом — наверное, это были шпики в штатском... Вот наконец площадка, громадная как зал, коридор впадал в нее, как в озеро, и выходил снова под прямым углом... Но Фернандо не обязан был следовать дальше по всем извилинам коридора, перед ним оказалась лестница. За большим столом что-то усердно строчил дежурный по этажу,

не обращая никакого внимания на Фернандо, остановившегося у справочной доски этого этажа:

«Управление справок по игорным учреждениям, иностранный отдел...»

«Браки иностранок с французами».

«Натурализация».

«Кочевники».

«Персонал посольств и консульств».

«Почтовые голуби».

«Репатриация неимущих».

«Восстановление во французском гражданстве».

Все это не имело никакого отношения к Фернандо, ему нечего было здесь делать. Ни игорные дома... Ни браки, поскольку он не был французом... Он не требовал натурализации, он — испанец, испанцем и останется. Кочевник? Возможно, если этим займется действительная служба высылки... Нет, он не принадлежал ни к посольству, ни к консульству Франко. А! Почтовые голуби... Какое они имеют сюда отношение? Может быть, их арестовывают, чтобы им не повадно было передавать секретные сведения, шпионить? А дальше? Неимущие... восстановление... Фернандо, несомненно, ошибся, и ему следовало спуститься во двор и начать все сначала.

После полутьмы длинного коридора Фернандо с удовольствием вышел на свет, и движение толпы и даже вид черных машин были ему приятны. У входа, под сводами, он снова стал изучать указатель: лестница... этаж... отдел...

— Signor!<sup>1</sup> — раздался рядом с ним голос. — Мосье...

Фернандо обернулся и увидел обращенный к нему взор, черный, горящий; огромные глаза, как бы покрытые лаком слез. Глаза немножко косили, может быть, от этого казались они такими трогательными? Молодой паренек, почти ребенок, в берете, в светлом непромокаемом пальтишке. Губы его посинели от холода, потерявшие от худобы детскую округлость щеки были бледны.

— Signor! — умоляюще повторил мальчик и с сильным иностранным акцентом продолжал по-французски: — Я не знаю, как заполнить бумагу... Мне ее дали наверху... Я испортил бумагу и боюсь возвращаться... Дадут ли мне другую?.. Если я ошибусь опять... Не можете ли вы мне ее заполнить?

---

<sup>1</sup> Господин! (итал.)

Он протянул Фернандо желтый лист.

— Успокойся,— сказал Фернандо,— ты можешь, ничего не спрашивая, взять сколько хочешь таких листков прямо на столе.

— Вы не можете мне ее заполнить, мосье?

— Ну конечно... Но здесь неудобно, к тому же и холодно. Ну-ну, не расстраивайся! Мы пойдем в кафе рядом, выпьем горячего грога, и я сделаю тебе черновик на этом листке. А потом ты поднимешься вместе со мной и аккуратно перепишешь все на другой листок... Чего ты плачешь?

— Я раньше хорошо писал, signor, но теперь у меня болит рука...

Он протянул руку к Фернандо: запястье распухло, на нем вздулась толстая синяя жила.

— Отчего это у тебя?

— Я работаю у красильщика, приходится целый день переворачивать ткани в котле... Врач сделал мне перевязку, и я не работал целую неделю... Но только приступил, опять все началось сначала! Хозяину придется меня расчитать...

— А где твои родители?

Фернандо с его способностью переживать чужие несчастья уже страдал вместе с этим ребенком.

— В Милане... Я приехал с одним рабочим-каменщиком... Подручным...— горделиво сказал мальчик.

— Тогда почему же ты работаешь у красильщика? И еще вот что, ты ведь несовершеннолетний, а наверху выдают бумаги только взрослым. Зачем ты пришел сюда?

— Он упал с лесов. Я пришел за него.

— За каменщика? Ничего не выйдет. Послушай, надо начать с того, о чем я только что говорил... грог и все прочее... Ну-ка, пошли!

Пока они объяснялись друг с другом, ужасающе коверкая каждый по-своему французский язык, вокруг них люди входили и выходили, толкали и пихали их. Фернандо взял мальчика под руку, и они вышли на широкий тротуар перед Префектурой, пробрались между автомобилями, стоявшими здесь в несколько рядов, и вышли на Цветочный рынок. И вдруг это соседство цветов с Префектурой предстало перед Фернандо во всей своей необычности, которую он по-новому осмыслил... Почти так же, как гвоздику на портрете Белояниса. Рынок был полон первых гиацинтов, кругом стоял их опьяняющий аромат...

— Сейчас, мальчуган,— сказал Фернандо,— мы вместе напишем наше *Demanda de cédula de residencia para extranjero*...<sup>1</sup> *Domanda per il titolo di soggiorno di straniero*... — повторил Фернандо на ломаном итальянском языке.— Ты видишь, я могу объясняться и по-итальянски! Тебе смешно, а? Потом я отведу тебя к своим испанским друзьям, где бывают и французские друзья. У нас есть также итальянские друзья. Мы тебе все устроим. ¡ *Todo se arreglará!* <sup>2</sup> Ты доволен?

— Я доволен,— сказал маленький итальянец и устремил на Фернандо пристальный взгляд своих косящих глаз. Улыбка обнажила голодный оскал отличных зубов.— Мы поедем чего-нибудь?

— Будь спокоен! — сказал Фернандо.— Конечно, мы поедем! С друзьями, знаешь, с теми людьми, которым доверяют — люди одной страны доверяют людям другой, один человек другому... Доверие! Стоит только довериться, и тебя научат многому, всему, что только известно о людях, о звездах. Тебя интересуют звезды?

— Звезды? Путешествие на Луну?

— Если хочешь, и на Луну, будем жить на Луне без «*titolo di soggiorno di straniero*». Если заблагорассудится, мы отправимся и на Луну; нигде мы не будем незваными гостями, а всюду будем желанными. Законы гостеприимства станут законами, которыми никто не сможет пренебрегать. Только представь себе, брат, такую жизнь, такой рай, где люди будут доверять друг другу!

Тем, кто хорошо знал Фернандо, известно было, что он мечтатель, но его мечты сослужили ведь неплохую службу Карлосу. Маленькому итальянцу повезло.

— Я доверился вам,— сказал серьезно мальчик,— я с вами заговорил... Я сразу понял, что к вам можно обратиться...

— Прекрасно! Подведем итог — как тебя зовут? Анджелло? Так вот, Анджелло, ничего не случится, если я полезу на рожон и попозже, мне ведь не к спеху. Префектура подождет. К тому же сейчас полдень, и все отделы все равно закрылись. Итак, вместо того чтобы пить грог в этих сомнительных местах, мы с тобой отлично позавтра-

---

<sup>1</sup> Заявление о выдаче удостоверения на право жительства иностранца (исп.).

<sup>2</sup> Все уладится! (исп.).

каем подальше отсюда, в бистро, где мне надо встретиться с одним другом... Бежим! Вон автобус!

Автобус был набит битком, толпа их сейчас же разъединила, и Анджело со своего места с беспокойством следил за Фернандо, чтобы не проморгать своего счастья и не прозевать, когда тот будет выходить. Но вот они оба уже на тротуаре... Бистро находилось у самой остановки...

— За десертом я научу тебя одной песенке, — сказал Фернандо, толкая дверь. — Ты любишь песни?

В бистро было тепло и тихо, печка раскалена докрасна. На черной доске мелом было написано дежурное меню. Сидевшие за столиками рабочие закусывали, перед каждым стоял литр красного вина.

— Эй! Фернандо! — позвал один из каменщиков, одетый в белую блузу. — Привет, Фернандо! Садись сюда... Это что за сосунок? Твой?

— Здравствуй, Анри... Да все равно что мой. Ты не видел Педро?.. Мы с ним должны были здесь встретиться...

— Он еще не пришел. Садись пока здесь, мы с тобой давно не видались.

Фернандо усадил Анджело за столик с Анри и заказал начала колбасу и дежурное блюдо.

— Я нашел мальчонку в Префектуре, у него неприятности, — объяснил Фернандо.

Анри наливал вино; руки его были испещрены морщинами, белыми от цемента и штукатурки. Он спросил:

— А как тебя зовут, сынок?

— Анджело.

— Прекрасно, Анджело, ты мне нравишься... Раз ты итальянец, ты, наверное, каменщик?

Анджело утвердительно кивнул, но, прежде чем разговаривать, он хотел поесть...

— Вот и Педро. Педро! — позвал Фернандо. — Анри, я тебе сставляю мальчика, тем более что вы с ним одной профессии. Мне надо обсудить кое-что с Педро.

Фернандо перебрался со своей колбасой и четвертой красного за столик в глубине, где его ждал Педро, господин в поношенном, но добротном пальто и мягкой шляпе; подавальщица принесла Педро салфетку в кольце с номером:

— Что вам подать, мосье Педро? Есть хороший паштет...

— Тогда принесите паштет...

Подавальщица удалилась, тяжело ступая на распухшие ноги, а Педро, приблизив свое широкое, смуглое, слегка рябое лицо к Фернандо, приглушенно заговорил:

— Я отказываюсь! Невозможно найти парня, чтобы заменить Руиса... Один болен, другой женится, и говорят, что послать его было бы бесчеловечно... Все разваливается! И это тянется уже целую неделю! Позор! Вдруг взяли да и отправили в Аргентину Антонио, на которого за неимением никого другого я твердо рассчитывал. Взяли и отправили, даже не предупредив меня! Полный беспорядок! Черт знает что! Все командуют, все — начальники! Все хотят роскошной жизни в Южной Америке... А попав туда, ни один рабочий, конечно, не останется рабочим... Человек из партийных кадров не станет работать, как индеец, не так ли? Они обзаводятся машинами и ворочают делами! В Южной Америке испанец по-прежнему ходит победителем, не правда ли? А когда нужен парень для выполнения ответственного поручения — никого! Это вырождение партии, это конец всему...

Педро ругался, понижая голос, а Фернандо ел и помалкивал, он к этому привык, Педро не был бы Педро, если бы он не громил всех и вся... Подавальщица принесла еду. Педро подождал, пока она отошла, и возобновил свои яростные жалобы...

— Послушай, Педро, — сказал в конце концов Фернандо, — хватит шуметь... Что мы будем делать?

— Сам не знаю...

Фернандо допил вино:

— У меня есть предложение...

— Предложение! Ну говори...

— Я сам пойду вместо Руиса.

Педро сделал жест, означавший: «Ну вот! Только этого еще не доставало!» — и сказал:

— А кто будет работать вместо тебя здесь?

— Все уладится. Поговорим о самом спешном. Через неделю я вернусь... и начну ездить взад и вперед. Хватит с меня «Терминюса». Таким образом я избавлюсь от Префектуры. Мне не хочется туда идти, не хочется лезть на рожон.

Педро вздохнул.

— Хорошо, я согласен... Ты неутомим, Фернандо...

— Нет, я устал. Но отдохну во время поездки, это будет для меня прогулкой. Прощай, Педро, — раз мне не надо

идти в Префектуру, я могу отправиться в дорогу немедленно. Вот только попрощаюсь с Анри и мальчонкой.

— Что это еще за малыш?

— Я подобрал его во дворе Префектуры... Он был немного растерян.

— А что случилось с твоим подопечным Карлосом?

— Карлос? Он среди звезд. Теперь он нас опекает... Когда ты поешь, выпьем вместе кофе.

Фернандо вернулся за столик к Анри и итальянскому пареньку.

— Оказывается, ты обещал Анджело отправиться с ним на Луну и научить его петь какую-то песню? — сказал Анри. — Так вот, с Луной можно и подождать, а песню подавай немедленно.. У тебя довольный вид, Фернандо!

— Я доволен, что мне не надо идти в Префектуру за паспортом. Ну их к чертям! В честь этого я заказываю кофе с ликером и плачу за всех. Педро, ты кончил? Иди пить с нами кофе... Я угощаю...

Педро перекинув пальто через руку, сел рядом с Фернандо, не сводя с него прояснившегося взгляда.

— Прежде всего, — сказал Фернандо, — я тебе представлю Анджело. Я обещал научить его одной песне... Серж, Альберто и их друг Патрис Граммон вывезли из лагеря стихотворение, которое положено теперь на музыку...

.. Гренада, Гренада,  
Гренада моя...

Фернандо остановился, отпил глоток кофе с ликером:

— Прошу вас как следует оценить песню: слова сочинил русский, музыку — венгр, а поет ее по-французски испанец для итальянского паренька... Послушайте и вы, о чем в ней говорится...

Париж, 1956.

22/IV-63  
17/6

Э. Триоле  
НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ

Книга изда на по оригиналу-макету

Редактор И. Н. Гаврилов  
Техн. редактор Н. Г. Азовкин

Сдано в набор и печать 10/11-60 г. Тираж 75 000 экз.  
Формат 84×108 1/32. У ч-изд. л. 19,876. Цена 11 р. 45 к.  
Заказ 100

Книжное издательство  
г. Рязань, ул. Ленина, 35

Московская типография № 5 Мосгоссовнархоза,  
Москва, Трёхпрудный пер., 9.